

Джек Лондон

Морской волк

ДЖЕК ЛОНДОН

МОРСКОЙ ВОЛК

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ЛУМИНА" КИШИНЕВ 1969

И (Англ.)
Л 76

«Морской волк» (1904) — увлекательный приключенческий роман, за внешними чертами морской романтики которого надо видеть его идейную сущность — борьбу против ницшеанства, пламенную критику воинствующего индивидуализма.

Капитан Вульф Ларсен, «сильный человек» в ницшеанском понимании этого слова, установивший на своем судне тиранический режим, терпит глубокое и полное моральное поражение, платит жизнью за свои поступки, продиктованные презрением к другим людям, основанном на слепой вере в себя как в исключительную личность.

Перевод с английского
Д. Горфинкеля и *Л. Хвостенко*

7—6—3
69м

КИЕВСКАЯ КНИЖНАЯ ФАБРИКА

Глава первая

Не знаю, право, с чего начать, хотя иногда, в шутку, я сваливаю всю вину на Чарли Фэрасета. У него была дача в Милл-Вэлли, под сенью горы Тамальпайс, но он жил там только зимой, когда ему хотелось отдохнуть и почитать на досуге Ницше или Шопенгауэра. С наступлением лета он предпочитал изнывать от жары и пыли в городе и работать не покладая рук. Не будь у меня привычки навещать его каждую субботу и оставаться до понедельника, мне не пришлось бы пересекать бухту Сан-Франциско в это памятное январское утро.

Нельзя сказать, чтобы «Мартинес», на котором я плыл, был ненадежным судном; этот новый пароход совершал уже свой четвертый или пятый рейс на переправе между Саусалито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, окутавшем бухту, но я, ничего не смысля в мореходстве, и не догадывался об этом. Хорошо помню, как спокойно и весело расположился я на носу парохода, на верхней палубе, под самой рулевой рубкой, и таинственность нависшей над морем туманной пелены мало-помалу завладела моим воображением. Дул свежий бриз, и некоторое время я был один среди сырой мглы — впрочем, и не совсем один, так как я смутно ощущал присутствие рулевого и еще кого-то, по-видимому капитана, в застекленной рубке у меня над головой.

Помнится, я размышлял о том, как хорошо, что существует разделение труда и я не обязан изучать туманы, ветры, приливы и всю морскую науку, если хочу навестить друга, живущего по ту сторону залива. Хорошо, что существуют специалисты — рулевой и капитан, думал я, и их профессиональные знания служат тысячам людей, осведомленным о море и мореплавании не больше моего. Зато я не трачу своей энергии на изучение множества предметов, а могу сосредоточить ее на некоторых специальных вопросах, например — на роли Эдгара По в истории американской литературы, чему, кстати сказать, была посвящена моя статья, напечатанная в последнем номере «Атлантика». Поднявшись на пароход и заглянув в салон, я не без удовлетворения отметил, что номер «Атлантика» в руках у какого-то дородного джентльмена раскрыт как раз на моей статье. В этом опять сказывались выгоды разделения труда: специальные знания рулевого и капитана давали дородному джентльмену возможность — в то время как его благополучно переправляют на пароходе из Саусалито в Сан-Франциско — ознакомиться с плодами моих специальных знаний о По.

У меня за спиной хлопнула дверь салона, и какой-то краснолицый человек затопал по палубе, прервав мои размышления. А я только что успел мысленно наметить тему моей будущей статьи, которую решил назвать «Необходимость свободы. Слово в защиту художника». Краснолицый бросил взгляд на рулевую рубку, посмотрел на окружавший нас туман, проковылял взад и вперед по палубе — очевидно, у него были протезы — и остановился возле меня, широко расставив ноги; на лице его было написано блаженство. Я не ошибся, предположив, что он провел всю свою жизнь на море.

— От такой мерзкой погоды недолго и поседеть! — проворчал он, кивая в сторону рулевой рубки.

— Разве это создает какие-то особые трудности? — отозвался я.— Ведь задача проста, как дважды два — четыре. Компас указывает направление, расстояние и скорость также известны. Остается простой арифметический подсчет.

— Особые трудности! — фыркнул собеседник.— Просто, как дважды два — четыре! Арифметический подсчет!

Слегка откинувшись назад, он смерил меня взглядом.

— А что вы скажете об отливе, который рвется в Золотые Ворота? — спросил или, вернее, пролаял он.— Какова скорость течения? А как относит? А это что — прислушайтесь-ка! Колокол? Мы лезем прямо на буй с колоколом! Видите — меняем курс.

Из тумана доносился заунывный звон, и я увидел, как рулевой быстро завертел штурвал. Колокол звучал теперь не впереди, а сбоку. Слышен был хриплый гудок нашего парохода, и время от времени на него откликались другие гудки.

— Какой-то еще пароходишко! — заметил краснолицый, кивая вправо, откуда доносились гудки.— А это! Слышите? Просто гудят в рожок. Верно, какая-нибудь шаланда. Эй, вы, там, на шаланде, не зевайте! Ну, я так и знал. Сейчас кто-то хлебнет лиха!

Невидимый пароход давал гудок за гудком, и рожок вторил ему, казалось, в страшном смятении.

— Вот теперь они обменялись любезностями и стараются разойтись,— продолжал краснолицый, когда тревожные гудки стихли.

Он разъяснил мне, о чем кричат друг другу сирены и рожки, а щеки у него горели и глаза сверкали.

— Слева пароходная сирена, а вон там, слышите, какой хрипун,— это, должно быть, паровая шхуна; она ползет от входа в бухту навстречу отливу.

Пронзительный свисток неистовствовал как одержимый где-то совсем близко впереди. На «Мартинесе» ему ответили ударами гонга. Колеса нашего парохода остановились, их пульсирующие удары по воде замерли, а затем возобновились снова. Пронзительный свисток, напоминавший стрекотанье сверчка среди рева диких зверей, долетал теперь из тумана, откуда-то сбоку, и звучал все слабее и слабее. Я вопросительно посмотрел на своего спутника.

— Какой-то отчаянный катерок,— пояснил он.— Прямо стоило бы потопить его! От них бывает много бед, а кому они нужны? Какой-нибудь осел заберется на этакую посудину и носится по морю, сам не зная зачем, да свистит как полоумный. А все должны сторониться, потому что, видите ли, он идет и сам-то уж никак посторониться не умеет! Прет вперед, а вы

смотрите в оба! Обязаиность уступать дорогу! Элементариая вежливость! Да оии об этом иикакого представлеиия ие имеют.

Этот иеобъясиимый гиев иемало меия позабавил: пока мой собеседиик возмущеиио ковылял взад и вперед, я снова поддался ромаитическому обаяиию тумаиа. Да, в этом тумаие, иесомиеиио, была своя ромаитика. Словио серый, исполиеииый таииствеииости призрак, иавис ои иад крошечиым земиым шаром, кружащимся в мировом простраистве. А люди, эти искорки или пылиики, гоиимые иеиасытиой жаждой деятельности, мчались иа своих деревяииых и стальных коиях сквозь самое сердце тайиы, ощупью прокладывая себе путь в Незримом, и шумели и кричали самоиадеяиио, в то время как их души замирали от иеувереииости и страха!

Голос моего спутиика вериул меия к действительиости и заставил усмехиуться. Разве я сам ие блуждаю ощупью, думая, что мчусь увереиио сквозь тайиу?

— Эге! Кто-то идет иам иавстречу,— сказал красиолицый.— Слышите, слышите? Идет быстро и прямо иа иас. Должио быть, ои иас еще ие слышит. Ветер отиосит.

Свежий бриз дул иам в лицо, и я отчетливо различил гудок сбоку и иемиого впереди.

— Тоже пассажирский? — спросил я.

Красиолицый кивиул:

— Да, иначе ои ие летел бы так, сломя голову. Наши там забеспокоились! — хмыкиул он.

Я посмотрел вверх. Капитаи высуиулся по грудь из рулевой рубки и иапряжеиио вглядывался в туман, словно стараясь силой воли проиикиуть сквозь иего. Лицо его выражало тревогу. И иа лице моего спутиика, который проковылял к поручиям и пристальио смотрел в стороиу иезримой опасиости, тоже была иаписана тревога.

Все произошло с непостижимой быстротой. Тумаи раздался в стороиы, как разрезаииый иожом, и перед иами возиик иос парохода, тащивший за собой клочья тумана, словио Левиафаи — морские водоросли. Я разглядел рулевую рубку и белобородого старика, высуиувшегося из нее. Он был одет в синюю форму, очень ловко сидевшую на нем, и, я помию, меня поразило, с каким хладиокровием ои держался. Его спокойствие

при этих обстоятельствах казалось страшным. Он подчинился судьбе, шел ей навстречу и с полным самообладанием ждал удара. Холодно и как бы задумчиво смотрел он на нас, словно прикидывая, где должно произойти столкновение, и не обратил никакого внимания на яростный крик нашего рулевого: «Отличились!»

Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что восклицание рулевого и не требовало ответа.

— Цепляйтесь за что-нибудь и держитесь крепче,— сказал мне краснолицый.

Весь его задор слетел с него, и он, казалось, заразился тем же сверхъестественным спокойствием.

— Ну, сейчас женщины поднимут визг! — сердито, почти злобно проворчал он, словно ему уже приходилось когда-то все это испытывать.

Суда столкнулись прежде, чем я успел воспользоваться его советом. Должно быть, встречный пароход ударил нас в середину борта, но это произошло вне поля моего зрения, и я ничего не видел. «Мартинес» сильно накренился, послышался треск ломающейся обшивки. Я упал плашмя на мокрую палубу и не успел еще подняться на ноги, как услышал крик женщин. Это был неописуемый, душераздирающий вопль, и тут меня объял ужас. Я вспомнил, что спасательные пояса хранятся в салоне, кинулся туда, но у дверей столкнулся с толпой обезумевших пассажиров, которая отбросила меня назад. Не помню, что затем произошло,— в памяти моей сохранилось только воспоминание о том, как я стаскивал спасательные пояса с полок над головой, а краснолицый человек надевал их на бившихся в истерике женщин. Это я помню отчетливо, и вся картина стоит у меня перед глазами. Как сейчас вижу я зазубренные края пробоины в стене салона и вползавший в это отверстие клубящийся серый туман; пустые мягкие диваны с разбросанными на них пакетами, саквояжами, зонтами и пледами, брошенными во время внезапного бегства; полного джентльмена, не так давно мирно читавшего мою статью, а теперь напялившего на себя пробковый пояс и с монотонной настойчивостью вопрошавшего меня (журнал с моей статьей все еще был у него в руке), есть ли опасность; краснолицего человека, бодро ковылявшего на своих искусственных

ногах и надевавшего пояса на всех, кто появлялся в каюте... Помню дикий визг женщин.

Да, этот визг женщин больше всего действовал мне на нервы. По-видимому, страдал от него и краснолицый, ибо еще одна картина навсегда осталась у меня в памяти: плотный джентльмен засовывает журнал в карман пальто и с любопытством озирается кругом; сбившиеся в кучу женщины, с бледными, искаженными страхом лицами, пронзительно кричат, словно хор погибших душ, а краснолицый человек, теперь уже совсем багровый от гнева, стоит в позе громовержца, потрясая над головой кулаками, и орет:

— Замолчите! Да, замолчите же!

Помню, как, глядя на это, я вдруг почувствовал, что меня душит смех, и понял, что и я впадаю в истерику; ведь предо мною были женщины, такие же, как моя мать или сестры,— женщины, охваченные страхом смерти и не желавшие умирать. Их крики напомнили мне визг свиней под ножом мясника, и это потрясло меня. Эти женщины, способные на самые высокие чувства, на самую нежную привязанность, вопили, разинув рты. Они хотели жить, но были беспомощны, как крысы в крысоловке, и визжали, не помня себя.

Это было ужасно, и я опрометью бросился на палубу. Почувствовав дурноту, я опустился на скамью. Смутно видел я метавшихся людей, слышал их крики,— кто-то пытался спустить шлюпки... Все происходило так, как описывается в книгах. Тали заедало. Все было неисправно. Одну шлюпку спустили, забыв вставить пробки; когда женщина и дети сели в нее, она наполнилась водой и перевернулась. Другую шлюпку удалось спустить только одним концом: другим она повисла на талях, и ее бросили. А парохода, который был причиной бедствия, и след простыл, но кругом говорили, что он, несомненно, вышлет нам спасательные шлюпки.

Я спустился на нижнюю палубу. «Мартинес» быстро погружался, вода подступала к краю борта. Многие пассажиры стали прыгать за борт. Другие, уже барахтаясь в воде, кричали, чтобы их подняли обратно на пароход. Никто не слушал их. Все покрыл общий крик: «Тонем!» Поддавшись охватившей всех панике, я вместе с другими бросился за борт. Я не отдавал себе отчета в том, что делаю, но, очутившись в воде, мгновенно

понял, почему люди кругом молили, чтобы их подняли обратно на пароход. Вода была холодная, нестерпимо холодная. Когда я погрузился в нее, меня обожгло, как огнем. Холод проникал до костей; казалось, смерть уже заключает меня в свои ледяные объятия. Я захлебнулся от неожиданности и страха и успел набрать в легкие воды прежде, чем спасательный пояс снова поднял меня на поверхность. Во рту у меня было солоно от морской воды, и я задыхался от ощущения чего-то едкого, проникшего мне в горло и в легкие.

Но особенно ужасен был холод. Мне казалось, что я этого не выдержу, что минуты мои сочтены. Вокруг меня в воде барахтались люди. Они что-то кричали друг другу. Я слышал также плеск весел. Очевидно, потопивший нас пароход выслал за нами шлюпки. Время шло, и меня изумляло, что я все еще жив. Но мои ноги уже утратили чувствительность, и онемение распространялось дальше, подступало к самому сердцу. Мелкие сердитые волны с пенистыми хребтами перекатывались через меня; я захлебывался и задыхался.

Шум и крики становились все глуше; последний отчаянный вопль донесся до меня издали, и я понял, что «Мартинес» пошел ко дну. Потом — сколько прошло времени, не знаю,— я очнулся, и ужас снова овладел мной. Я был один. Я не слышал больше голосов, криков о помощи — только шум волн, которому туман придавал какую-то таинственную, вибрирующую гулкость. Паника, охватывающая человека, когда он в толпе и разделяет общую участь, не так ужасна, как страх, переживаемый в одиночестве. Куда несли меня волны? Краснолицый говорил, что отлив уходит через Золотые Ворота. Неужели меня унесет в открытое море? А ведь мой спасательный пояс может развалиться в любую минуту! Я слышал, что эти пояса делают иногда из картона и тростника, и тогда, намокнув, они быстро теряют пловучесть. А я совсем не умел плавать. Я был один, и меня несло неведомо куда, среди извечной серой безбрежности. Признаюсь, мной овладело безумие, и я кричал, как кричали женщины, и бил по воде окоченевшими руками.

Не знаю, как долго это тянулось. Потом я впал в забытье и вспоминаю об этом только, как о тревожном, мучительном сне. Когда я очнулся, казалось, прошли

века. Почти над самой головой я увидел выступавший из тумана нос судна и три треугольных паруса, заходящие один за другой и наполненные ветром. Вода пенилась и клокотала там, где ее разрезал нос корабля, а я был как раз на его пути. Я хотел крикнуть, но у меня не хватило сил. Нос судна скользнул вниз, едва не задев меня, и волна перекатилась над моей головой. Затем мимо меня начал скользить длинный черный борт судна — так близко, что я мог бы коснуться его рукой. Я сделал попытку ухватиться за него, я готов был впиться в дерево ногтями, но руки мои были тяжелы и безжизненны. Я снова попытался крикнуть, но голос изменил мне.

Промелькнула мимо корма, нырнув в пучину между волнами, и я мельком увидел человека у штурвала и еще одного, спокойно курившего сигару. Я видел дымок, поднимавшийся от его сигары, когда он медленно повернул голову и скользнул взглядом по воде в мою сторону. Это был случайный, рассеянный взгляд, случайный поворот головы, одно из тех движений, которые люди делают машинально, когда они ничем не заняты,— просто из потребности в движении.

Но для меня в этом взгляде была жизнь или смерть. Я видел, как туман уже снова поглощает судно. Я видел спину рулевого и голову того, другого, когда он медленно, очень медленно обернулся и его взгляд скользнул по воде. Это был отсутствующий взгляд человека, погруженного в думу, и я с ужасом подумал, что он все равно не заметит меня, даже если я попаду в поле его зрения. Но вот его взгляд упал на меня, и его глаза встретились с моими глазами. Он увидел меня. Прыгнув к штурвалу, он оттолкнул рулевого и сам быстро завертел колесо, выкрикивая в то же время какую-то команду. Судно начало отклоняться в сторону и почти в тот же миг скрылось в тумане.

Я почувствовал, что снова впадаю в беспамятство, и напряг все силы, чтобы не поддаться пустоте и мраку, стремившимся поглотить меня. Вскоре я услышал быстро приближавшийся плеск весел и чей-то голос. Потом, уже совсем близко, раздался сердитый окрик:

— Какого черта вы не откликаетесь?

Это мне кричат, подумал я, и тут же провалился в пустоту и мрак.

Глава вторая

Мне казалось, что какая-то сила качает и несет меня в мировом пространстве, подчинив мощному ритму. Мерцающие искорки вспыхивали и пролетали мимо. Я догадывался, что это звезды и огненные кометы, сопровождающие мой полет среди светил. Когда в своем качании я снова достиг вершины амплитуды и уже готов был пуститься в обратный путь, где-то ударил и загудел громадный гонг. Неисчислимо долго, целые столетия, безмятежно канувшие в вечность, наслаждался я своим исполинским полетом.

Но сон мой начал меняться,— а я уже понимал, что это сон. Амплитуда моего полета становилась все короче и короче. Меня начало бросать из стороны в сторону с раздражающей быстротой. Я едва успевал перевести дух — с такой стремительностью мчался я в небесном пространстве. Гонг грохотал все чаще и яростнее. Я ждал каждого его удара с невыразимым ужасом. Потом мне показалось, что меня тащат по хрустящему, белому, раскаленному солнцем песку. Это причиняло мне невыносимые муки. Мою кожу опалял огонь. Гонг гудел, как похоронный колокол. Сверкающие точки мчались мимо нескончаемым потоком, словно вся звездная система проваливалась в пустоту. Я вздохнул, с трудом перевел дыхание и открыл глаза. Два человека, стоя на коленях, хлопотали надо мной. То, что качало меня в мощном ритме и несло куда-то, оказалось качкой судна на волнах океана, а вместо ужасного гонга я увидел висевшую на стене сковороду, которая бренчала и дребезжала при каждом наклоне судна. Хрустящий, опалявший меня огнем песок превратился в жесткие ладони какого-то человека, растиравшего мою обнаженную грудь. Я застонал от боли, приподнял голову и посмотрел на свое красное, воспаленное тело, покрытое капельками крови, проступившими сквозь расцарапанную кожу.

— Хватит, Ионсон,— сказал второй.— Не видишь, что ли, совсем содрал с джентльмена кожу!

Тот, кого назвали Ионсоном,— человек могучего скандинавского типа,— перестал растирать меня и неуклюже поднялся на ноги. У второго — судя по выго-

вору, типичного кокни[1] — были мелкие, почти женственные черты лица; внешность его позволяла предположить, что он с молоком матери впитал в себя перезвон лондонских церковных колоколов. Грязный полотняный колпак на голове и грубый засаленный передник на узких бедрах изобличали в нем кока того чрезвычайно грязного камбуза, в котором я находился.

— Ну, как вы себя чувствуете, сэр? — спросил он с угодливой улыбкой, которая является наследием многих поколений, привыкших получать на чай.

Вместо ответа я с усилием приподнялся и сел, а затем с помощью Ионсона встал на ноги. Дребезжание сковороды ужасно действовало мне на нервы. Я не мог собраться с мыслями. Ухватившись, чтобы не упасть, за деревянную переборку, оказавшуюся настолько сальной и грязной, что я невольно стиснул зубы от отвращения, я потянулся к несносной посудине, висевшей над топившейся плитой, снял ее с гвоздя и швырнул в ящик с углем.

Кок ухмыльнулся при таком проявлении нервозности. Он сунул мне в руку дымящуюся кружку с какой-то бурдой и сказал:

— Хлебните-ка, это пойдет вам на пользу!

В кружке было отвратительное пойло — корабельный кофе,— но оно все же согрело и оживило меня. Прихлебывая этот напиток, я рассматривал свою разодранную, окровавленную грудь, а затем обратился к скандинаву:

— Благодарю вас, мистер Ионсон,— сказал я.— Но не кажется ли вам, что вы применили ко мне слишком уж героические меры?

Не знаю, почувствовал ли он упрек в моих словах, но во всяком случае взгляд, который я бросил на свою грудь, был достаточно, выразителен. В ответ он молча показал мне свою ладонь. Это была необыкновенно мозолистая ладонь. Я провел пальцами по ее роговым затвердениям, и у меня заныли зубы от неприятного ощущения шероховатой поверхности.

— Меня зовут Джонсон, а не Ионсон,— сказал он на правильном английском языке, медленно, но почти без акцента.

---

[1] Кокни — уроженец Лондона, так обычно называют простой лондонский люд.

В его бледно-голубых глазах я прочел кроткий протест; вместе с тем в них была какая-то застенчивая прямота и мужественность, которые сразу расположили меня к нему.

— Благодарю вас, мистер Джонсон,— поспешил я исправить свою ошибку и протянул ему руку.

Он медлил, смущенно и неуклюже переминаясь с ноги на ногу; потом решительно схватил мою руку и с чувством пожал ее.

— Не найдется ли у вас чего-нибудь, чтобы я мог переодеться? — спросил я кока, оглядывая свою мокрую одежду.

— Найдем, сэр! — живо отозвался тот.— Если вы не побрезгуете надеть мои вещи, я сбегаю вниз и притащу.

Он вышел, вернее выскользнул, из дверей с проворством, в котором мне почудилось что-то кошачье или даже змеиное. Эта его способность скользить ужом была, как я убедился впоследствии, весьма для него характерна.

— Где это я нахожусь? — спросил я Джонсона, которого не без основания принял за одного из матросов.— Что это за судно и куда оно идет?

— Мы около Фараллонских островов, на юго-запад от них,— неторопливо промолвил он, методично отвечая на мои вопросы и стараясь, по-видимому, как можно правильнее говорить по-английски.— Это шухна «Призрак». Идем к берегам Японии — бить котиков.

— А кто капитан шхуны? Мне нужно повидаться с ним, как только я переоденусь.

На лице Джонсона неожиданно отразилось крайнее смущение и замешательство. Он ответил не сразу; видно было, что он тщательно подбирает слова и мысленно составляет исчерпывающий ответ.

— Капитан — Волк Ларсен, так его все называют. Я никогда не слыхал его настоящего имени. Но говорите с ним поосторожнее. Он сегодня бешеный. Его помощник...

Он не докончил — в камбуз нырнул кок.

— Убирайся-ка лучше отсюда, Ионсон! — сказал тот.— Старик хватится тебя на палубе, а нынче, если ему не угодишь,— беда.

Джонсон послушно направился к двери, подмигнув мне из-за спины кока с необычайно торжественным и

значительным видом, словно желая выразить этим то, чего он не договорил, и внушить мне еще раз, что с капитаном надо разговаривать поосторожнее.

Через руку у кока было перекинуто какое-то грязное, мятое тряпье, от которого довольно скверно пахло.

— Оно было сырое, сэр, когда я его снял и спрятал,— почел он нужным объяснить мне.— Но вам придется пока обойтись этим, а потом я высушу ваше платье.

Цепляясь за переборки, так как судно сильно качало, я с помощью кока кое-как натянул на себя грубую фуфайку и невольно поежился от прикосновения колючей шерсти. Заметив, должно быть, гримасу на моем лице, кок осклабился.

— Ну, вам не навек привыкать к такой одежде. Кожа-то у вас нежная, словно у какой-нибудь леди. Я как увидал вас, так сразу понял, что вы — джентльмен.

Этот человек не понравился мне с первого взгляда, а когда он помогал мне одеваться, моя неприязнь к нему возросла еще больше. Его прикосновения вызывали во мне гадливость. Я сторонился его рук и вздрагивал, когда он дотрагивался до меня. Это неприятное чувство и запах, исходивший от кипевших и бурливших на плите кастрюль, заставили меня поспешить с переодеванием, чтобы поскорее выбраться на свежий воздух. К тому же мне нужно было еще договориться с капитаном относительно доставки меня на берег.

Дешевая сатиновая рубашка с обтрепанным воротом и подозрительными, похожими на кровяные, пятнами на груди, была надета на меня под аккомпанемент неумолчных пояснений и извинений. Туалет мой завершила пара грубых башмаков и синий выцветший комбинезон, у которого одна штанина оказалась дюймов на десять короче другой. Можно было подумать, что дьявол пытался цапнуть через нее душу лондонца, но, не обнаружив таковой, оторвал со злости кусок оболочки.

— Но я не знаю, кого же мне благодарить? — спросил я, облачившись в это тряпье. На голове у меня красовалась фуражка, которая была мне мала, а поверх рубашки я натянул еще грязную полосатую бумазейную куртку; она едва доходила мне до талии, а рукава чуть прикрывали локти.

Кок самодовольно выпрямился, и заискивающая улыбка расплылась по его лицу. У меня был некоторый опыт,— я знал, как ведет себя прислуга на атлантических пароходах, когда рейс подходит к концу, и мог поклясться, что кок ожидает подачки. Однако мое дальнейшее знакомство с этим субъектом показало, что поза была бессознательной. Это была врожденная угодливость.

— Магридж, сэр,— пробормотал он с елейной улыбкой на своем женственном лице.— Томас Магридж, сэр. К вашим услугам!

— Ладно, Томас,— сказал я.— Я не забуду вас, когда высохнет мое платье.

Его лицо просияло, глаза заблестели; казалось, голоса предков зазвучали в его душе, рождая смутные воспоминания о чаевых, полученных ими во время их пребывания на земле.

— Благодарю вас, сэр! — произнес он с чувством и почти искренним смирением.

Я отодвинул дверь, и кок, тоже как на роликах, скользнул в сторону; я вышел на палубу. Меня все еще пошатывало от слабости после долгого пребывания в воде. Порыв ветра налетел на меня, и я, сделав несколько нетвердых шагов по качающейся палубе до угла рубки, поспешил ухватиться за него, чтобы не упасть. Сильно накренившись, шхуна скользила вверх и вниз по длинной тихоокеанской волне. Если, как сказал Джонсон, судно шло на юго-запад, то ветер, по моим расчетам, дул примерно с юга. Туман рассеялся, и поверхность воды искрилась на солнце. Я повернулся к востоку, где должна была находиться Калифорния, но не увидел ничего, кроме низко стлавшихся пластов тумана, того самого тумана, который вызвал катастрофу «Мартинеса» и был причиной моего бедственного положения. К северу, неподалеку от нас, из моря торчала группа голых скал, и на одной из них я различил маяк. К юго-западу, там, куда мы держали курс, я увидел пирамидальные очертания парусов какого-то корабля.

Оглядев море, я перевел взгляд на более близкие предметы. Моей первой мыслью было, что человек, потерпевший кораблекрушение и бывший на волосок от смерти, заслуживает, пожалуй, большего внимания, чем то, которое было мне оказано. Никто, как видно, не

интересовался моей особой, кроме матроса у штурвала, с любопытством поглядывавшего на меня поверх рубки.

Все, казалось, были заняты тем, что происходило посреди палубы. Там, на крышке люка, лежал какой-то грузный мужчина. Он лежал на спине; рубашка на его груди, поросшей густыми, черными, похожими на шерсть волосами, была разодрана. Черная с проседью борода покрывала всю нижнюю часть его лица и шею. Борода, вероятно, была жесткая и пышная, но обвисла и слиплась, и с нее струйками стекала вода. Глаза его были закрыты — он, очевидно, находился без сознания,— но грудь тяжело вздымалась; он с шумом вбирал в себя воздух, широко раскрыв рот, борясь с удушьем. Один из матросов спокойно и методично, словно выполняя привычную обязанность, спускал за борт на веревке брезентовое ведро, вытягивал его, перехватывая веревку руками, и окатывал водой лежавшего без движения человека.

Возле люка расхаживал взад и вперед, сердито жуя сигару, тот самый человек, случайному взгляду которого я был обязан своим спасением. Ростом он был, вероятно, пяти футов и десяти дюймов, быть может десяти с половиной, но не это бросилось мне прежде всего в глаза,— я сразу почувствовал его силу. Это был человек атлетического сложения, с широкими плечами и грудью, но я не назвал бы его тяжеловесным. В нем была какая-то жилистая упругая сила, обычно свойственная нервным и худощавым людям, и она придавала этому огромному человеку некоторое сходство с большой гориллой. Я вовсе не хочу сказать, что он походил на гориллу. Я говорю только, что заключенная в нем сила, независимо от его внешности, вызывала в вас такие ассоциации. Подобного рода сила обычно связывается в нашем представлении с первобытными существами, с дикими зверями, с нашими предполагаемыми предками, жившими на деревьях. Это сила дикая, свирепая, заключающая в самой себе жизненное начало — самую сущность жизни, как потенции движения и первозданной материи, претворяющихся в различных видах живых существ; короче говоря, это та живучесть, которая заставляет змею извиваться, когда у нее отрубят голову, и которая теплится в бесформенном комке мяса убитой черепахи, содрогающемся при прикосновении к нему пальцем.

Таково было впечатление, которое производил этот человек, шагавший по палубе. Он крепко стоял на ногах, ступал твердо и уверенно; каждое движение его мускулов — то, как он пожимал плечами или стискивал в зубах сигару,— все было полно решимости и казалось проявлением избыточной, бьющей через край силы. Но эта внешняя сила, пронизывавшая его движения, казалась лишь отголоском другой, еще более грозной силы, которая притаилась и дремала в нем, но могла в любой миг пробудиться, подобно ярости льва или бешеному порыву урагана.

Кок высунул голову из двери камбуза и ободряюще улыбнулся мне, указывая большим пальцем на человека, прохаживавшегося около люка. Я понял, что это и есть капитан шхуны, или — на языке кока — «старик», то есть тот, к кому я должен обратиться, дабы потревожить его просьбой доставить меня каким-нибудь способом на берег. Я двинулся было вперед, предчувствуя, что мне предстоит бурное объяснение, но в эту минуту новый страшный приступ удушья овладел несчастным, лежавшим на палубе. Его стали корчить судороги. Спина его выгнулась дугой, голова совсем запрокинулась назад, а грудь расширилась в бессознательном усилии набрать побольше воздуха. Я не видел его лица, только мокрую черную бороду, но почувствовал, как багровеет его кожа.

Капитан — Волк Ларсен, как его называли,— остановился и посмотрел на умирающего. Жесткой и отчаянной была эта последняя схватка со смертью; охваченный любопытством матрос перестал лить воду, брезентовое ведро накренилось, и из него тонкой струйкой стекала вода. Умирающий судорожно бил каблуками по крышке люка; потом его ноги вытянулись и застыли в последнем страшном напряжении, в то время как голова еще продолжала метаться из стороны в сторону. Но вот мышцы ослабли, голова больше не двигалась, и вздох как бы глубокого облегчения слетел с его губ. Челюсть у него отвисла, верхняя губа приподнялась, и обнажились два ряда пожелтевших от табака зубов. Казалось, его черты застыли в дьявольской усмешке — словно он издевался над миром, который ему удалось перехитрить, покинув его.

И тут произошло нечто неожиданное. Капитан внезапно, подобно удару грома, обрушился на мертвеца. Поток ругани хлынул из его уст. И это не были обычные ругательства или непристойности. В каждом слове было богохульство, а слова так и сыпались. Они гремели и трещали, словно электрические разряды. Я в жизни не слыхал да и не мог бы вообразить себе ничего подобного. Обладая сам литературной жилкой и питая пристрастие к сочным словцам и оборотам, я, пожалуй, лучше всех присутствующих мог оценить своеобразную живость, красочность и в то же время неслыханную кощунственность его метафор. Насколько я мог понять, причиной этой вспышки было то, что умерший — помощник капитана — загулял перед уходом из Сан-Франциско, а потом имел неделикатность умереть в самом начале плавания и оставить Волка Ларсена без его, так сказать, правой руки.

Излишне упоминать,— во всяком случае мои друзья поймут это и так,— что я был шокирован. Брань и сквернословие всегда были мне противны. У меня засосало под ложечкой, заныло сердце, мне стало невыразимо тошно. Смерть в моем представлении всегда была сопряжена с чем-то торжественным и возвышенным. Она приходила мирно и священнодействовала у ложа своей жертвы. Смерть в таком мрачном, отталкивающем обличье явилась для меня чем-то невиданным и неслыханным. Отдавая, как я уже сказал, должное выразительности изрыгаемых Волком Ларсеном проклятий, я был ими чрезвычайно возмущен. Мне казалось, что их огненный поток должен испепелить лицо трупа, и я не удивился бы, если бы мокрая черная борода вдруг начала завиваться колечками и вспыхнула дымным пламенем. Но мертвецу уже не было до этого никакого дела. Он продолжал сардонически усмехаться — с вызовом, с цинической издевкой. Он был хозяином положения.

Глава третья

Волк Ларсен оборвал свою брань так же внезапно, как начал. Он раскурил потухшую сигару и огляделся вокруг. Взор его упал на Магриджа.

— А, любезный кок? — начал он ласково, но в голосе его чувствовались холод и твердость стали.

— Есть, сэр! — угодливо и виновато, с преувеличенной готовностью отозвался тот.

— Ты не боишься растянуть себе шею? Это, знаешь ли, не особенно полезно. Помощник умер, и мне не хотелось бы потерять еще и тебя. Ты должен очень беречь свое здоровье, кок. Понятно?

Последнее слово, в полном контрасте с мягкостью всей речи, прозвучало резко, как удар бича. Кок съежился.

— Есть, сэр! — послышался испуганный ответ, и голова провинившегося кока исчезла в камбузе.

При этом разносе, выпавшем на долю одного кока, остальной экипаж перестал глазеть на мертвеца и вернулся к своим делам. Но несколько человек остались в проходе между камбузом и люком и продолжали переговариваться вполголоса. Я понял, что это не матросы, и потом узнал, что это охотники на котиков, занимавшие несколько привилегированное положение по сравнению с простыми матросами.

— Иогансен! — позвал Волк Ларсен. Матрос тотчас приблизился.— Возьми иглу и гардаман и зашей этого бродягу. Старую парусину найдешь в кладовой. Ступай!

— А что привязать к ногам, сэр? — спросил матрос после обычного «есть, сэр».

— Сейчас устроим,— ответил Волк Ларсен и кликнул кока.

Томас Магридж выскочил из своего камбуза, как игрушечный чертик из коробки.

— Спустись в трюм и принеси мешок угля.

— Нет ли у кого-нибудь из вас, ребята, библии или молитвенника? — послышалось новое требование, обращенное на этот раз к охотникам.

Они покачали головой, и один отпустил какую-то шутку, которой я не расслышал; она была встречена общим смехом.

Капитан обратился с тем же вопросом к матросам. Библия и молитвенник были здесь, по-видимому, редкими предметами, но один из матросов вызвался спросить у подвахтенных. Однако минуты через две он вернулся ни с чем.

Капитан пожал плечами.

— Тогда придется бросить его за борт без лишней болтовни. Впрочем, может быть, выловленный нами молодчик знает морскую похоронную службу наизусть? Он что-то смахивает на попа.

При этих словах Волк Ларсен внезапно повернулся ко мне.

— Вы, верно, пастор? — спросил он.

Охотники — их было шестеро — все как один тоже повернулись в мою сторону, и я болезненно ощутил свое сходство с вороньим пугалом. Мой вид вызвал хохот. Присутствие покойника, распростертого на палубе и тоже, казалось, скалившего зубы, никого не остановило. Это был хохот грубый, резкий и беспощадный, как само море, хохот, отражавший грубые чувства людей, которым не знакомы чуткость и деликатность.

Волк Ларсен не смеялся, хотя в его серых глазах мелькали искорки удовольствия, и только тут, подойдя к нему ближе, я получил более полное впечатление от этого человека,— до сих пор я воспринимал его скорее как шагающую по палубе фигуру, изрыгающую поток ругательств. У него было несколько угловатое лицо с крупными и резкими, но правильными чертами, казавшееся на первый взгляд массивным. Но это первое впечатление от его лица, так же как и от его фигуры, быстро отступало на задний план, и оставалось только ощущение скрытой в этом человеке внутренней силы, дремлющей где-то в недрах его существа. Скулы, подбородок, высокий лоб с выпуклыми надбровными дугами, могучие, даже необычайно могучие сами по себе, казалось, говорили об огромной, скрытой от глаз жизненной энергии или мощи духа,— эту мощь было трудно измерить или определить ее границы, и невозможно было отнести ее ни под какую установленную рубрику.

Глаза—мне довелось хорошо узнать их,—были большие и красивые, осененные густыми черными бровями и широко расставленные, что говорило о недюжинности натуры. Цвет их, изменчиво-серый, поражал бесчисленным множеством оттенков, как переливчатый шелк в лучах солнца. Они были то серыми — темными или светлыми,— то серовато-зелеными, то принимали лазурную окраску моря. Эти изменчивые глаза, казалось,

скрывали его душу, словно непрестанно менявшиеся маски, и лишь в редкие мгновения она как бы проглядывала из них, точно рвалась наружу, навстречу какому-то заманчивому приключению. Эти глаза могли быть мрачными, как хмурое свинцовое небо; могли метать искры, отливая стальным блеском обнаженного меча; могли становиться холодными, как полярные просторы, или теплыми и нежными. И в них мог вспыхивать любовный огонь, обжигающий и властный, который притягивает и покоряет женщин, заставляя их сдаваться восторженно, радостно и самозабвенно.

Но вернемся к рассказу. Я ответил капитану, что я не пастор и, к сожалению, не умею служить панихиду, но он бесцеремонно перебил меня:

— А чем вы зарабатываете на жизнь?

Признаюсь, ко мне никогда еще не обращались с подобным вопросом, да и сам я никогда над этим не задумывался. Я опешил и довольно глупо пробормотал:

— Я... я — джентльмен.

По губам капитана скользнула усмешка.

— У меня есть занятие, я работаю,— торопливо воскликнул я, словно стоял перед судьей и нуждался в оправдании, отчетливо сознавая в то же время, как нелепо с моей стороны пускаться в какие бы то ни было объяснения по этому поводу.

— Это дает вам средства к жизни?

Вопрос прозвучал так властно, что я был озадачен — сбит с панталыку, как сказал бы Чарли Фэрасет,— и молчал, словно школьник перед строгим учителем.

— Кто вас кормит? — последовал новый вопрос.

— У меня есть постоянный доход,— с достоинством отвечал я и в ту же секунду готов был откусить себе язык.— Но все это, простите, не имеет отношения к тому, о чем я хотел поговорить с вами.

Однако капитан не обратил никакого внимания на мой протест.

— Кто заработал эти средства? А?.. Ну, я так и думал — ваш отец. Вы не стоите на своих ногах — кормитесь за счет мертвецов. Вы не смогли бы прожить самостоятельно и суток, не сумели бы три раза в день набить себе брюхо. Покажите руку!

Страшная сила, скрытая в этом человеке, внезапно пришла в действие, и, прежде чем я успел опомниться, он шагнул ко мне, схватил мою правую руку и поднес к глазам. Я попытался освободиться, но его пальцы без всякого видимого усилия крепче охватили мою руку, и мне показалось, что у меня сейчас затрещат кости. Трудно при таких обстоятельствах сохранять достоинство. Я не мог извиваться или брыкаться, как мальчишка, однако не мог и вступить в единоборство с этим чудовищем, угрожавшим одним движением сломать мне руку. Приходилось стоять смирно и переносить это унижение.

Тем временем у покойника, как я успел заметить, уже обшарили карманы, и все, что там сыскалось, сложили на палубе, а труп, на лице которого застыла сардоническая усмешка, обернули в парусину, и Иогансен принялся сшивать ее толстой белой ниткой, втыкая иглу ладонью с помощью особого приспособления, называемого гардаманом и сделанного из куска кожи.

Волк Ларсен с презрительной гримасой отпустил мою руку.

— Изнеженная рука — за счет тех же мертвецов. Такие руки ни на что, кроме мытья посуды и стряпни, не годны.

— Мне хотелось бы сойти на берег,— решительно заявил я, овладев, наконец, собой.— Я уплачу вам, сколько вы потребуете за хлопоты и задержку в пути.

Он с любопытством поглядел на меня. Глаза его светились насмешкой.

— У меня другое предложение — для вашего же блага. Мой помощник умер, и мне придется сделать кое-какие перемещения. Один из матросов займет место помощника, юнга отправится на бак — на место матроса, а вы замените юнгу. Подпишете условие на этот рейс — двадцать долларов в месяц и харчи. Ну, что скажете? Заметьте — это для вашего же блага! Я сделаю вас человеком. Вы со временем научитесь стоять на своих ногах и, быть может, даже ковылять немного.

Я не придал значения этим словам. Замеченные мною на юго-западе паруса росли; они вырисовывались все отчетливее и, видимо, принадлежали такой же шхуне, как и «Призрак», хотя корпус судна, насколько я мог его разглядеть, был меньше. Шхуна, покачиваясь,

скользила нам навстречу, и это было очень красивое зрелище. Я видел, что она должна пройти совсем близко. Ветер быстро крепчал. Солнце, послав нам несколько тусклых лучей, скрылось. Море приняло мрачный свинцово-серый оттенок, забурлило, и к небу полетели клочья белой пены. Наша шхуна прибавила ходу и дала больший крен. Пронесся порыв ветра, поручни исчезли под водой, и волна хлынула на палубу, заставив охотников, сидевших на закраине люка, поспешно поджать ноги.

— Это судно скоро пройдет мимо нас,— сказал я, помолчав.— Оно идет в обратном направлении, быть может — в Сан-Франциско.

— Весьма возможно,— отозвался Ларсен и, отвернувшись от меня, крикнул: — Кок! Эй, кок!

Томас Магридж вынырнул из камбуза.

— Где этот юнга? Скажи ему, что я его зову.

— Есть, сэр.

Томас Магридж бросился на корму и исчез в другом люке около штурвала. Через секунду он снова показался на палубе, а за ним шагал коренастый парень лет восемнадцати-девятнадцати, с лицом хмурым и злобным.

— Вот он, сэр,— сказал кок.

Но Ларсен, не обращая на него больше внимания, повернулся к юнге.

— Как тебя зовут?

— Джордж Лич, сэр,— последовал угрюмый ответ; видно было, что юнга догадывается, зачем его позвали.

— Фамилия не ирландская,— буркнул капитан.— О'Тул или Мак-Карти куда больше подошло бы к твоей роже. Верно, какой-нибудь ирландец прятался у твоей мамаши за поленницей.

Я видел, как у парня от этого оскорбления сжались кулаки и побагровела шея.

— Ну, ладно,— продолжал Волк Ларсен.— У тебя могут быть веские причины забыть свою фамилию,— мне на это наплевать, пока ты делаешь свое дело. Ты, конечно, с Телеграфной горы[1]. Это у тебя на лбу написано. Я вашего брата знаю. Вы там все упрямы, как ослы, и злы, как черти. Но можешь быть спокоен, мы

[1] **Телеграфная гора** — ирландский район в Сан-Франциско.

тебя здесь живо обломаем. Понял? Кстати, через кого ты нанимался?

— Агентство Мак-Криди и Свенсон.

— Сэр! — загремел капитан.

— Мак-Криди и Свенсон, сэр,— поправился юнга, и глаза его злобно сверкнули.

— Кто получил аванс?

— Они, сэр.

— Я так и думал. И ты небось был до черта рад. Спешил, знал, что за тобой кое-кто охотится.

Во мгновение ока юнга преобразился в дикаря. Он пригнулся, словно для прыжка, ярость исказила его лицо.

— Вот что...— выкрикнул было он.

— Что? — почти вкрадчиво спросил Ларсен, словно его одолевало любопытство.

Но юнга уже взял себя в руки.

— Ничего, сэр. Я беру свои слова назад.

— И тем доказываешь, что я прав,— удовлетворенно улыбнулся капитан.— Сколько тебе лет?

— Только что исполнилось шестнадцать, сэр.

— Врешь! Тебе больше восемнадцати. И ты еще велик для своих лет, и мускулы у тебя, как у жеребца. Собери свои пожитки и переходи в кубрик на бак. Будешь матросом, гребцом. Это повышение, понял?

Не ожидая ответа, капитан повернулся к матросу, который зашивал труп в парусину и только что закончил свое мрачное занятие.

— Иогансен, ты что-нибудь смыслишь в навигации?

— Нет, сэр.

— Ну, не беда! Все равно будешь теперь помощником. Перенеси свои вещи в каюту, на его койку.

— Есть, сэр! — весело ответил Иогансен и тут же направился на бак.

Но бывший юнга все еще не трогался с места.

— А ты чего ждешь? — спросил капитан.

— Я не нанимался матросом, сэр,— был ответ.— Я нанимался юнгой. Я не хочу служить матросом.

— Собирай вещи и ступай на бак!

На этот раз приказ звучал властно и грозно. Но парень угрюмо насупился и не двинулся с места.

Тут Волк Ларсен снова показал свою чудовищную силу. Все произошло неожиданно, с быстротой молнии.

Одним прыжком — футов в шесть, не меньше,— он кинулся на юнгу и ударил его кулаком в живот. В тот же миг я почувствовал острую боль под ложечкой, словно он ударил меня. Я упоминаю об этом, чтобы показать, как чувствительны были в то время мои нервы и как подобные грубые сцены были мне непривычны. Юнга,— а он, кстати сказать, весил никак не менее ста шестидесяти пяти фунтов,— согнулся пополам. Его тело безжизненно повисло на кулаке Ларсена, словно мокрая тряпка на палке. Затем я увидел, как он взлетел на воздух, описал дугу и рухнул на палубу рядом с трупом, ударившись о доски головой и плечами. Так он и остался лежать, корчась от боли.

— Ну как? — повернулся вдруг Ларсен ко мне.— Вы обдумали?

Я поглядел на приближавшуюся шхуну, которая уже почти поравнялась с нами; ее отделяло от нас не более двухсот ярдов. Это было стройное, изящное суденышко. Я различил крупный черный номер на одном из парусов и, припомнив виденные мною раньше изображения судов, сообразил, что это лоцманский бот.

— Что это за судно? — спросил я.

— Лоцманский бот «Леди Майн»,— ответил Ларсен.— Доставил своих лоцманов и возвращается в Сан-Франциско. При таком ветре будет там через пять-шесть часов.

— Будьте добры дать им сигнал, чтобы они переправили меня на берег.

— Очень сожалею, но я уронил свою сигнальную книгу за борт,— ответил капитан, и в группе охотников послышался смех.

Секунду я колебался, глядя ему прямо в глаза. Я видел, как жестоко разделался он с юнгой, и знал, что меня, быть может, ожидает то же самое, если еще не похуже что-нибудь. Повторяю, я колебался, а потом сделал то, что до сих пор считаю самым смелым поступком в моей жизни. Я бросился к борту и, размахивая руками, крикнул:

— «Леди Майн», эй! Свезите меня на берег. Тысячу долларов за доставку на берег!

Я впился взглядом в двоих людей, стоявших у штурвала. Один из них правил, другой поднес к губам рупор. Я не поворачивал головы и каждую секунду ждал,

что человек-зверь, стоявший за моей спиной, одним ударом уложит меня на месте. Наконец — мне показалось, что прошли века,— я не выдержал и оглянулся. Ларсен не тронулся с места. Он стоял в той же позе, слегка покачиваясь на расставленных ногах, и раскуривал новую сигару.

— В чем дело? Случилось что-нибудь? — раздалось с «Леди Майн».

— Да! Да! — благим матом заорал я.— Спасите, спасите! Тысячу долларов за доставку на берег!

— Ребята хватили лишнего в Фриско! — раздался голос Ларсена.— Этот вот,— он указал на меня,— допился уже до зеленого змия!

На «Леди Майн» расхохотались в рупор, и судно прошло мимо.

— Всыпьте ему как следует от нашего имени! — долетели напутственные слова, и стоявшие у штурвала помахали руками в знак приветствия.

В отчаянии я облокотился о поручни, глядя, как быстро ширится полоса холодной морской воды, отделяющая нас от стройного маленького судна. Оно будет в Сан-Франциско через пять или шесть часов! У меня голова пошла кругом, сердце отчаянно заколотилось и к горлу подкатил комок. Пенистая волна ударила о борт, и мне брызнуло в лицо соленой влагой. Ветер налетал порывами, и «Призрак», сильно кренясь, зарывался в воду подветренным бортом. Я слышал, как вода с шипением взбегала на палубу.

Оглянувшись, я увидел юнгу, который с трудом поднимался на ноги. Лицо его было мертвенно бледно и искажено от боли. Я понял, что ему очень плохо.

— Ну, Лич, идешь на бак? — спросил капитан.

— Есть, сэр,— последовал покорный ответ.

— А ты? — повернулся капитан ко мне.

— Я дам вам тысячу...— начал я, но он прервал меня:

— Брось это! Ты согласен приступить к обязанностям юнги? Или мне придется взяться за тебя?

Что мне было делать? Дать зверски избить себя, может быть даже убить — какой от этого прок? Я твердо посмотрел в жесткие серые глаза. Они походили на гранитные глаза изваяния — так мало было в них человеческого тепла. Обычно в глазах людей отражаются их

душевные движения, но эти глаза были бесстрастны и холодны, как свинцово-серое море.

— Ну, что?

— Да,— сказал я.

— Скажи: да, сэр.

— Да, сэр,— поправился я.

— Как тебя зовут?

— Ван-Вайден, сэр.

— Имя?

— Хэмфри, сэр. Хэмфри Ван-Вайден.

— Возраст?

— Тридцать пять, сэр.

— Ладно. Пойди к коку, он тебе покажет, что ты должен делать.

Так случилось, что я, помимо моей воли, попал в рабство к Волку Ларсену. Он был сильнее меня, вот и все. Но в то время это казалось мне каким-то наваждением. Да и сейчас, когда я оглядываюсь на прошлое, все, что приключилось тогда со мной, представляется мне совершенно невероятным. Таким будет это представляться мне и впредь — чем-то чудовищным и непостижимым, каким-то ужасным кошмаром.

— Подожди!

Я послушно остановился, не дойдя до камбуза.

— Иогансен, вызови всех наверх! Теперь все как будто стало на свое место и можно заняться похоронами и очистить палубу от ненужного хлама.

Пока Иогансен собирал команду, двое матросов, по указанию капитана, положили зашитый в парусину труп на лючину. У обоих бортов на палубе, днищами кверху, были принайтовлены маленькие шлюпки. Несколько матросов подняли доску с ее страшным грузом и положили на эти шлюпки с подветренной стороны, повернув труп ногами к морю. К ногам привязали принесенный коком мешок с углем.

Похороны на море представлялись мне всегда торжественным, внушающим благоговение обрядом, но то, чему я стал свидетелем, мгновенно развеяло все мои иллюзии. Один из охотников, невысокий темноглазый парень,— я слышал, как товарищи называли его Смоком,— рассказывал анекдоты, щедро сдобренные бранными и непристойными словами. В группе охотников поминутно раздавались взрывы хохота, которые напо-

минали мне не то вой волков, не то лай псов в преисподней. Матросы, стуча сапогами, собирались на корме. Некоторые из подвахтенных протирали заспанные глаза и переговаривались вполголоса. На лицах матросов застыло мрачное, озабоченное выражение. Очевидно, им мало улыбалось путешествие с этим капитаном, начавшееся к тому же при столь печальных предзнаменованиях. Время от времени они украдкой поглядывали на Волка Ларсена, и я видел, что они его побаиваются.

Капитан подошел к доске; все обнажили головы. Я присматривался к людям, собравшимся на палубе,— их было двадцать человек; значит, всего на борту шхуны, если считать рулевого и меня, находилось двадцать два человека. Мое любопытство было простительно, так как мне предстояло, по-видимому, не одну неделю, а быть может, и не один месяц, провести с этими людьми в этом крошечном пловучем мирке. Большинство матросов были англичане или скандинавы, с тяжелыми, малоподвижными лицами. Лица охотников, изборожденные резкими морщинами, были более энергичны и интересны, и на них лежала печать необузданной игры страстей. Странно сказать, но, как я сразу же отметил, в чертах Волка Ларсена не было ничего порочного. Его лицо тоже избороздили глубокие морщины, но они говорили лишь о решимости и силе воли. Выражение лица было скорее даже прямодушное, открытое, и впечатление это усиливалось благодаря тому, что он был гладко выбрит. Не верилось — до следующего столкновения,— что это тот самый человек, который так жестоко обошелся с юнгой.

Вот он открыл рот, собираясь что-то сказать, но в этот миг резкий порыв ветра налетел на шхуну, сильно ее накренив. Ветер дико свистел и завывал в снастях. Некоторые из охотников тревожно поглядывали на небо. Подветренный борт, у которого лежал покойник, зарылся в воду, и, когда шхуна выпрямилась, волна перекатилась через палубу, захлестнув нам ноги выше щиколотки. Внезапно хлынул ливень; тяжелые крупные капли били, как градины. Когда шквал пронесся, капитан заговорил, и все слушали его, обнажив головы, покачиваясь в такт с ходившей под ногами палубой.

— Я помню только часть похоронной службы,— ска-

зал Ларсен.— Она гласит: «И тело да будет предано морю». Так вот, и бросьте его туда.

Он умолк. Люди, державшие лючину, были смущены; краткость церемонии, видимо, озадачила их. Но капитан яростно на них накинулся:

— Поднимайте этот конец, черт бы вас подрал! Какого дьявола вы канителитесь?

Кто-то торопливо подхватил конец доски, и мертвец, выброшенный за борт, словно собака, соскользнул в море ногами вперед. Мешок с углем, привязанный к ногам, потянул его вниз. Он исчез.

— Иогансен,— резко крикнул капитан своему новому помощнику,— оставь всех наверху, раз уж они здесь. Убрать топселя и кливера, да поживей! Надо ждать зюйд-оста. Заодно возьми рифы у грота! И у стакселя!

Вмиг все на палубе пришло в движение. Иогансен зычно выкрикивал слова команды, матросы выбирали и травили различные снасти, а мне, человеку сугубо сухопутному, все это, конечно, представлялось сплошной неразберихой. Но больше всего поразило меня проявленное этими людьми бессердечие. Смерть человека была для них мелким эпизодом, который канул в вечность вместе с зашитым в парусину трупом и мешком угля, и корабль все так же продолжал свой путь, и работа шла своим чередом. Никто не был взволнован. Охотники уже опять смеялись какому-то непристойному анекдоту Смока. Команда выбирала и травила снасти, двое матросов полезли на мачту. Волк Ларсен всматривался в облачное небо с наветренной стороны. А человек, так жалко окончивший свои дни и так недостойно погребенный, опускался все глубже и глубже на дно.

Ощущение жестокости и неумолимости морской стихии вдруг нахлынуло на меня, и жизнь показалась мне чем-то дешевым и мишурным, чем-то диким и бессмысленным — каким-то нелепым барахтаньем в грязной тине. Я держался за фальшборт у самых вант и смотрел на угрюмые пенистые волны и низко нависшую гряду тумана, скрывавшую от нас Сан-Франциско и калифорнийский берег. Временами налетал шквал с дождем, и тогда и самый туман исчезал из глаз за плотной завесой дождя. А наше странное судно, с его чудовищным экипажем, ныряло по волнам, устремляясь на юго-запад, в широкие пустынные просторы Тихого океана.

Глава четвертая

Все мои старания приспособиться к новой для меня обстановке зверобойной шхуны «Призрак» приносили мне лишь бесконечные страдания и унижения. Магридж, которого команда называла «доктором», охотники — «Томми», а капитан — «коком», изменился, как по волшебству. Перемена в моем положении резко повлияла на его обращение со мной. От прежней угодливости не осталось и следа — теперь он только покрикивал да бранился. Ведь я не был больше изящным джентльменом, с кожей «нежной, как у леди», а превратился в обыкновенного и довольно бестолкового юнгу.

Кок требовал, как это ни смешно, чтобы я называл его «мистер Магридж», а сам, объясняя мне мои обязанности, был невыносимо груб. Помимо обслуживания кают-компании с выходившими в нее четырьмя маленькими каютами, я должен был помогать ему в камбузе, и мое полное невежество по части мытья кастрюль и чистки картофеля служило для него неиссякаемым источником изумления и насмешек. Он не желал принимать во внимание мое прежнее положение, вернее жизнь, которую я привык вести. Ему не было до этого никакого дела, и, признаюсь, что уже к концу первого дня я ненавидел его сильнее, чем кого бы то ни было в жизни.

Этот первый день был для меня тем труднее, что «Призрак», под зарифленными парусами (с подобными терминами я познакомился лишь впоследствии), нырял в волнах, которые насылал на нас «ревущий», как выразился мистер Магридж, зюйд-ост. В половине шестого я, по указанию кока, накрыл стол в кают-компании, предварительно установив по краям его решетку на случай бурной погоды, а затем начал подавать еду и чай. В связи с этим не могу не рассказать о своем первом близком знакомстве с сильной морской качкой.

— Гляди в оба, не то окатит! — напутствовал меня мистер Магридж, когда я выходил из камбуза с большим чайником в руке и с несколькими караваями свежеиспеченного хлеба под мышкой. Один из охотников, долговязый парень, по имени Гендерсон, направлялся в это время из «четвертого класса» (так называли они

в шутку свой кубрик) в кают-компанию. Волк Ларсен курил на юте свою неизменную сигару.

— Идет, идет! Держись! — закричал кок.

Я остановился, так как не понял, что, собственно, «идет». Дверь камбуза с треском затворилась за мной, а Гендерсон опрометью бросился к вантам и проворно полез по ним вверх, пока не очутился у меня над головой. И только тут я заметил гигантскую волну с пенистым гребнем, высоко взмывшую над бортом. Она шла прямо на меня. Мой мозг работал медленно, потому что все здесь было для меня еще ново и необычно. Я понял только, что мне грозит опасность и застыл на месте, оцепенев от ужаса. Тут Ларсен крикнул мне с юта:

— Держись за что-нибудь, эй, ты... Хэмп! [1]

Но было уже поздно. Я прыгнул к вантам, чтобы уцепиться за них, и в этот миг стена воды обрушилась на меня и все смешалось. Я был под водой, задыхался и тонул. Палуба ушла из-под ног, и я куда-то полетел, перевернувшись несколько раз через голову. Меня швыряло из стороны в сторону, ударяло о какие-то твердые предметы, и я сильно ушиб правое колено. Потом волна отхлынула, и мне удалось, наконец, перевести дух. Я увидел, что меня отнесло с наветренного борта за камбуз мимо люка в кубрик, к шпигатам подветренного борта. Я чувствовал острую боль в колене и не мог ступить на эту ногу, или так по крайней мере мне казалось. Я был уверен, что нога сломана. Но кок уже кричал мне из камбуза:

— Эй, ты! Долго ты будешь там валандаться? Где чайник? Уронил за борт? Жаль, что ты не сломал себе шею!

Я кое-как поднялся на ноги и заковылял к камбузу. Огромный чайник все еще был у меня в руке, и я отдал его коку. Но Магридж задыхался от негодования — то ли настоящего, то ли притворного.

— Ну и растяпа же ты! Куда ты годишься, хотел бы я знать? А? Куда ты годишься? Не можешь чай донести! А я теперь изволь заваривать снова!

— Да чего ты хнычешь? — с новой яростью набро-

---

[1] Сокращение имени Хэмфри (Humphrey). В то же время намек на сутулость (хумп — горб) людей умственного труда.

сился он на меня через минуту.— Ножку зашиб? Ах ты, маменькино сокровище!

Я не хныкал, но лицо у меня, вероятно, кривилось от боли. Собравшись с силами, я стиснул зубы и проковылял от камбуза до кают-компании и обратно без дальнейших злоключений. Этот случай имел для меня двоякие последствия: прежде всего, я сильно ушиб коленную чашечку и страдал от этого много месяцев — ни о каком лечении, конечно, не могло быть и речи,— а кроме того, за мной утвердилась кличка «Хэмп», которой наградил меня с юта Волк Ларсен. С тех пор никто на шхуне меня иначе и не называл, и я мало-помалу настолько к этому привык, что уже и сам мысленно называл себя «Хэмп», словно получил это имя от рождения.

Не легко было прислуживать за столом кают-компании, где восседал Волк Ларсен с Иогансеном и шестерыми охотниками. В этой маленькой, тесной каюте двигаться было чрезвычайно трудно, особенно когда шхуну качало и кидало из стороны в сторону. Но тяжелее всего было для меня полное равнодушие людей, которым я прислуживал. Время от времени я ощупывал сквозь одежду колено, чувствовал, что оно пухнет все сильнее и сильнее, и от боли у меня кружилась голова. В зеркале на стене кают-компании временами мелькало мое бледное, страшное, искаженное болью лицо. Сидевшие за столом не могли не заметить моего состояния, но никто из них не выказал мне сочувствия. Поэтому я почти проникся благодарностью к Ларсену, когда он бросил мне после обеда (я в это время уже мыл тарелки):

— Не обращай внимания на эти пустяки! Привыкнешь со временем. Немного, может, и покалечишься, но зато научишься ходить. Это, кажется, называется парадоксом, не так ли? — добавил он.

По-видимому, он остался доволен, когда я, утвердительно кивнув, ответил как полагалось: «Есть, сэр».

— Ты, должно быть, смыслишь кое-что в литературе? Ладно. Я как-нибудь побеседую с тобой.

Он повернулся и, не обращая на меня больше внимания, вышел на палубу.

Вечером, когда я справился, наконец, с бесчисленным количеством дел, меня послали спать в кубрик

к охотникам, где нашлась свободная койка. Я рад был лечь, дать отдых ногам и хоть на время избавиться от несносного кока. Одежда успела высохнуть на мне, и я, к моему удивлению, не ощущая ни малейших признаков простуды ни от последнего морского купанья, ни от более продолжительного пребывания в воде, когда затонул «Мартинес». При обычных обстоятельствах я после подобных испытаний лежал бы, конечно, в постели и около меня хлопотала бы сиделка.

Но боль в колене была мучительной. Насколько я мог понять — так как колено страшно распухло,— у меня была смещена коленная чашечка. Я сидел на своей койке и рассматривал колено (все шесть охотников находились тут же — они курили и громко разговаривали), когда мимо прошел Гендерсон и мельком глянул на меня.

— Скверная штука,— заметил он.— Обвяжи потуже тряпкой, пройдет.

Вот и все; а случись это со мной на суше, меня лечил бы хирург и, несомненно, прописал бы полный покой. Но следует отдать справедливость этим людям. Так же равнодушно относились они и к своим собственным страданиям. Я объясняю это привычкой и тем, что чувствительность у них притупилась. Я убежден, что человек с более тонкой нервной организацией, с более острой восприимчивостью страдал бы на их месте куда сильнее.

Я страшно устал, вернее совершенно изнемог, и все же боль в колене не давала мне уснуть. С трудом удерживался я от стонов. Дома я, конечно, дал бы себе волю, но эта новая грубая, примитивная обстановка невольно внушала мне суровую сдержанность. Окружавшие меня люди, подобно дикарям, стоически относились к важным вещам, а в мелочах напоминали детей. Впоследствии мне пришлось наблюдать, как Керфуту, одному из охотников, размозжило палец. Керфут не только не издал ни звука, но даже не изменился в лице. И вместе с тем я много раз видел, как тот же Керфут приходил в бешенство из-за сущих пустяков.

Вот и теперь он орал, размахивал руками и отчаянно бранился — и все только потому, что другой охотник не соглашался с ним, что тюлений белёк от рождения умеет плавать. Керфут утверждал, что этим умень-

ем новорожденный тюлень обладает с первой минуты своего появления на свет, а другой охотник, Лэтимер, тощий янки с хитрыми, похожими на щелочки глазками, утверждал, что тюлень именно потому и рождается на суше, что не умеет плавать, и мать обучает его этой премудрости совершенно так же, как птицы учат своих птенцов летать.

Остальные четыре охотника с большим интересом прислушивались к спору,— кто лежа на койке, кто приподнявшись и облокотясь на стол,— и временами подавали реплики. Иногда они начинали говорить все сразу, и тогда в тесном кубрике голоса их звучали подобно раскатам бутафорского грома. Они спорили о пустяках, как дети, и доводы их были крайне наивны. Собственно говоря, они даже не приводили никаких доводов, а ограничивались голословными утверждениями или отрицаниями. Уменье или неуменье новорожденного тюленя плавать они пытались доказать просто тем, что высказывали свое мнение с воинственным видом и сопровождали его выпадами против национальности, здравого смысла или прошлого своего противника. Я рассказываю об этом, чтобы показать умственный уровень людей, с которыми принужден был общаться. Интеллектуально они были детьми, хотя и в обличье взрослых мужчин.

Они беспрерывно курили — курили дешевый зловонный табак. В кубрике нельзя было продохнуть от дыма. Этот дым и сильная качка боровшегося с бурей судна, несомненно, довели бы меня до морской болезни, будь я ей подвержен. Я и так уже испытывал дурноту, хотя, быть может, причиной ее были боль в ноге и переутомление.

Лежа на койке и предаваясь своим мыслям, я, естественно, прежде всего задумывался над положением, в которое попал. Это же было невероятно, неслыханно! Я, Хэмфри Ван-Вайден, ученый и, с вашего позволения, любитель искусства и литературы, принужден валяться здесь, на какой-то шхуне, направляющейся в Берингово море бить котиков! Юнга! Никогда в жизни я не делал грубой физической, а тем более кухонной работы. Я всегда вел тихий, монотонный, сидячий образ жизни. Это была жизнь ученого, затворника, существующего на приличный и обеспеченный доход. Бурная деятель-

ность и спорт никогда не привлекали меня. Я был книжным червем, так сестры и отец с детства и называли меня. Только раз в жизни я принял участие в туристском походе, да и то сбежал в самом начале и вернулся к комфорту и удобствам оседлой жизни. И вот теперь передо мной открывалась безрадостная перспектива бесконечной чистки картофеля, мытья посуды и прислуживания за столом. А ведь физически я совсем не был силен. Врачи, положим, утверждали, что у меня великолепное телосложение, но я никогда не развивал своих мускулов упражнениями, и они были слабы и вялы, как у женщины. По крайней мере те же врачи постоянно отмечали это, пытаясь убедить меня заняться гимнастикой. Но я предпочитал упражнять свою голову, а не тело, и теперь был, конечно, совершенно не подготовлен к предстоявшей мне тяжелой жизни.

Я рассказываю лишь немногое из того, что передумал тогда, и делаю это, чтобы заранее оправдаться; ибо жалкой и беспомощной была та роль, которую мне предстояло сыграть.

Думал я также о моей матери и сестрах и ясно представлял себе их горе. Ведь я значился в числе погибших на «Мартинесе», одним из пропавших без вести. Передо мной мелькали заголовки газет, я видел, как мои приятели в университетском клубе покачивают головой и вздыхают: «Вот бедняга!» Видел я и Чарли Фэрасета в минуту прощания, в то роковое утро, когда он в халате на мягком диванчике под окном изрекал, словно оракул, свои скептические афоризмы.

А тем временем шхуна «Призрак», покачиваясь, ныряя, взбираясь на движущиеся водяные валы и скатываясь в бурлящие пропасти, прокладывала себе путь все дальше и дальше — к самому сердцу Тихого океана... и уносила меня с собой. Я слышал, как над морем бушует ветер. Его приглушенный вой долетал и сюда. Иногда над головой раздавался топот ног по палубе. Кругом все стонало и скрипело, деревянные крепления трещали, кряхтели, визжали и жаловались на тысячу ладов. Охотники все еще спорили и рычали друг на друга, словно какие-то человекоподобные земноводные. Ругань висела в воздухе. Я видел их разгоряченные лица в искажающем, тускло-желтом свете ламп, раскачивавшихся вместе с кораблем. В облаках дыма койки

казались логовищами диких зверей. На стенах висели клеенчатые штаны и куртки и морские сапоги; на полках кое-где лежали дробовики и винтовки. Все это напоминало картину из жизни пиратов и морских разбойников былых времен. Мое воображение разыгралось и не давало мне уснуть. Это была долгая, долгая, томительная и тоскливая, очень долгая ночь.

Глава пятая

Первая ночь, проведенная мною в кубрике охотников, оказалась также и последней. На другой день новый помощник Иогансен был изгнан капитаном из его каюты и переселен в кубрик к охотникам. А мне велено было перебраться в крохотную каютку, в которой до меня в первый же день плавания сменилось уже два хозяина. Охотники скоро узнали причину этих перемещений и остались ею очень недовольны. Выяснилось, что Иогансен каждую ночь вслух переживает во сне все свои дневные впечатления. Волк Ларсен не пожелал слушать, как он непрестанно что-то бормочет и выкрикивает слова команды, и предпочел переложить эту неприятность на охотников.

После бессонной ночи я встал слабый и измученный. Так начался второй день моего пребывания на шхуне «Призрак». Томас Магридж растолкал меня в половине шестого не менее грубо, чем Билл Сайкс[1] будил свою собаку. Но за эту грубость ему тут же отплатили с лихвой. Поднятый им без всякой надобности шум — я за всю ночь так и не сомкнул глаз — потревожил кого-то из охотников. Тяжелый башмак просвистел в полутьме, и мистер Магридж, взвыв от боли, начал униженно рассыпаться в извинениях. Потом в камбузе я увидел его окровавленное и распухшее ухо. Оно никогда уже больше не приобрело своего нормального вида, и матросы стали называть его после этого «капустным листом».

Этот день был полон для меня самых разнообразных неприятностей. Уже с вечера я взял из камбуза

---

[1] Бил Сайкс — персонаж из романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист».

свое высохшее платье и теперь первым делом поспешил сбросить с себя вещи кока, а затем стал искать свой кошелек. Кроме мелочи (у меня на этот счет хорошая память), там лежало сто восемьдесят пять долларов золотом и бумажками. Кошелек я нашел, но все его содержимое, за исключением мелких серебряных монет, исчезло. Я заявил об этом коку, как только поднялся на палубу, чтобы приступить к своей работе в камбузе, и хотя и ожидал от него грубого ответа, однако свирепая отповедь, с которой он на меня обрушился, совершенно меня ошеломила.

— Вот что, Хэмп,— захрипел он, злобно сверкая глазами.— Ты что, хочешь, чтобы тебе пустили из носу кровь? Если ты считаешь меня вором, держи это про себя, а не то крепко пожалеешь о своей ошибке, черт тебя подери! Вот она, твоя благодарность, чтоб я пропал! Я тебя пригрел, когда ты совсем подыхал, взял к себе в камбуз, возился с тобой, а ты так мне отплатил? Проваливай ко всем чертям, вот что! У меня руки чешутся показать тебе дорогу.

Сжав кулаки и продолжая кричать, он двинулся на меня. К стыду своему, должен признаться, что я, увернувшись от удара, выскочил из камбуза. Что мне было делать? Сила, грубая сила царила на этом подлом судне. Читать мораль было здесь не в ходу. Вообразите себе человека среднего роста, худощавого, со слабыми, неразвитыми мускулами, привыкшего к тихой, мирной жизни, не знакомого с насилием... Что такой человек мог тут поделать? Вступать в драку с озверевшим коком было так же бессмысленно, как сражаться с разъяренным быком.

Так думал я в то время, испытывая потребность в самооправдании и желая успокоить свое самолюбие. Но такое оправдание не удовлетворило меня, да и сейчас, вспоминая этот случай, я не могу полностью себя обелить. Положение, в которое я попал, не укладывалось в обычные рамки и не допускало рациональных поступков — тут надо было действовать не рассуждая. И хотя логически мне, казалось, абсолютно нечего было стыдится, я тем не менее всякий раз испытываю стыд при воспоминании об этом эпизоде, ибо чувствую, что моя мужская гордость была попрана и оскорблена.

Однако все это не относится к делу. Я удирал из камбуза с такой поспешностью, что почувствовал острую боль в колене и в изнеможении опустился на палубу у переборки юта. Но кок не стал преследовать меня.

— Гляньте на него! Ишь как улепетывает! — услышал я его насмешливые возгласы.— А еще с больной ногой! Иди назад, бедняжка, маменькин сынок! Не трону, не бойся!

Я вернулся и принялся за работу. На этом дело пока и кончилось, однако оно имело свои последствия. Я накрыл стол в кают-компании и в семь часов подал завтрак. Буря за ночь улеглась, но волнение было все еще сильное и дул свежий ветер. «Призрак» мчался под всеми парусами, кроме обоих топселей и бом-кливера. Паруса были поставлены в первую вахту, и, как я понял из разговора, остальные три паруса тоже решено было поднять сейчас же после завтрака. Я узнал также, что Волк Ларсен старается использовать этот шторм, который гнал нас на юго-запад в ту часть океана, где мы могли встретить северо-восточный пассат. Под этим постоянным ветром Ларсен рассчитывал пройти большую часть пути до Японии, спуститься затем на юг к тропикам, а потом у берегов Азии повернуть опять на север.

После завтрака меня ожидало новое и также довольно незавидное приключение. Покончив с мытьем посуды, я выгреб из печки в кают-компании золу и вынес ее на палубу, чтобы выбросить за борт. Волк Ларсен и Гендерсон оживленно беседовали у штурвала. На руле стоял матрос Джонсон. Когда я двинулся к наветренному борту, он мотнул головой, и я принял это за утреннее приветствие. А он пытался предостеречь меня, чтобы я не выбрасывал золу против ветра. Ничего не подозревая, я прошел мимо Волка Ларсена и охотника и высыпал золу за борт. Ветер подхватил ее, и не только я сам, но и капитан с Гендерсоном оказались осыпанными золой. В тот же миг Ларсен ударил меня ногой, как щенка. Я никогда не представлял себе, что пинок ногой может быть так ужасен. Я отлетел назад и, шатаясь, прислонился к рубке, едва не лишившись сознания от боли. Все поплыло у меня перед глазами, к горлу подступила тошнота. Я сделал над собой усилие и подполз к борту. Но Волк Ларсен уже забыл

про меня. Стряхнув с платья золу, он возобновил разговор с Гендерсоном. Иогансен, наблюдавший все это с юта, послал двух матросов прибрать палубу.

Несколько позже в то же утро я столкнулся с неожиданностью совсем другого свойства. Следуя указаниям кока, я отправился в капитанскую каюту, чтобы прибрать ее и застелить койку. На стене, у изголовья койки, висела полка с книгами. С изумлением прочел я на корешках имена Шекспира, Теннисона, Эдгара По и де-Куинси. Были там и научные сочинения, среди которых я заметил труды Тиндаля, Проктора и Дарвина, а также книги по астрономии и физике. Кроме того, я увидел «Мифический век» Булфинча, «Историю английской и американской литературы» Шоу, «Естественную историю» Джонсона в двух больших томах и несколько грамматик — Меткалфа, Гида и Келлога. Я не мог не улыбнуться, когда на глаза мне попался экземпляр «Английского языка для проповедников».

Наличие этих книг никак не вязалось с обликом их владельца, и я не мог не усомниться в том, что он способен читать их. Но, застилая койку, я обнаружил под одеялом томик Броунинга в кембриджском издании,— очевидно, Ларсен читал его перед сном. Он был открыт на стихотворении «На балконе», и я заметил, что некоторые места подчеркнуты карандашом. Шхуну качнуло, я выронил книгу, и из нее выпал листок бумаги, испещренный геометрическими фигурами и какими-то выкладками.

Значит, этот ужасный человек совсем не такой уж неуч, как можно было предположить, наблюдая его звериные выходки. И он сразу стал для меня загадкой. Обе стороны его натуры в отдельности были вполне понятны, но их сочетание казалось непостижимым. Я уже успел заметить, что Ларсен говорит превосходным языком, в котором лишь изредка проскальзывают не совсем правильные обороты. Если в разговоре с матросами и охотниками он и позволял себе жаргонные выражения, то в тех редких случаях, когда он обращался ко мне, его речь была точна и правильна.

Узнав его теперь случайно с другой стороны, я несколько осмелел и решился сказать ему, что у меня пропали деньги.

— Меня обокрали,— обратился я к нему, увидав, что он в одиночестве расхаживает по палубе.

— Сэр,— поправил он меня не грубо, но внушительно.

— Меня обокрали, сэр,— повторил я.

— Как это случилось? — спросил он.

Я рассказал ему, что оставил свое платье сушиться в камбузе, а потом кок чуть не избил меня, когда я заикнулся ему о пропаже.

Волк Ларсен выслушал меня и усмехнулся.

— Кок поживился,— решил он.— Но не кажется ли вам, что ваша жалкая жизнь стоит все же этих денег? Кроме того, это для вас урок. Научитесь в конце концов сами заботиться о своих деньгах. До сих пор, вероятно, это делал за вас ваш поверенный или управляющий.

Я почувствовал насмешку в его словах, но все же спросил:

— Как мне получить их назад?

— Это ваше дело. Здесь у вас нет ни поверенного, ни управляющего, остается полагаться только на самого себя. Если вам перепадет доллар, держите его крепче. Тот, у кого деньги валяются где попало, заслуживает, чтобы его обокрали. К тому же вы еще и согрешили. Вы не имеете права искушать ближних. А вы соблазнили кока, и он пал. Вы подвергли опасности его бессмертную душу. Кстати, верите ли вы в бессмертие души?

При этом вопросе веки его лениво приподнялись, и мне показалось, что отдернулась какая-то завеса и я на мгновение заглянул в его душу. Но это была иллюзия. Я уверен, что ни одному человеку не удавалось проникнуть взглядом в душу Волка Ларсена. Это была одинокая душа, как мне довелось впоследствии убедиться. Волк Ларсен никогда не снимал маски, хотя порой любил играть в откровенность.

— Я читаю бессмертие в ваших глазах,— отвечал я и для опыта пропустил «сэр»; известная интимность нашего разговора, казалось мне, допускала это.

Ларсен действительно не придал этому значения.

— Вы, я полагаю, хотите сказать, что видите в них нечто живое. Но это живое не будет жить вечно.

— Я читаю в них значительно больше,— смело продолжал я.

— Ну да — сознание. Сознание, постижение жизни. Но не больше, не бесконечность жизни.

Он мыслил ясно и хорошо выражал свои мысли. Не без любопытства оглядев меня, он отвернулся и устремил взор на свинцовое море. Глаза его потемнели и у рта обозначились резкие, суровые линии. Он явно был мрачно настроен.

— А какой в этом смысл? — отрывисто спросил он, снова повернувшись ко мне.— Если я наделен бессмертием, то зачем?

Я молчал. Как мог я объяснить этому человеку свой идеализм? Как передать словами что-то неопределенное, похожее на музыку, которую слышишь во сне? Нечто вполне убедительное для меня, но не поддающееся определению.

— Во что же вы тогда верите? — в свою очередь спросил я.

— Я верю, что жизнь — нелепая суета,— быстро ответил он.— Она похожа на закваску, которая бродит минуты, часы, годы или столетия, но рано или поздно перестает бродить. Большие пожирают малых, чтобы поддержать свое брожение. Сильные пожирают слабых, чтобы сохранить свою силу. Кому везет, тот ест больше и бродит дольше других,— вот и все! Вон поглядите — что вы скажете об этом?

Нетерпеливым жестом он показал на группу матросов, которые возились с тросами посреди палубы.

— Они копошатся, движутся, но ведь и медузы движутся. Движутся для того, чтобы есть, и едят для того, чтобы продолжать двигаться. Вот и вся штука! Они живут для своего брюха, а брюхо поддерживает в них жизнь. Это замкнутый круг; двигаясь по нему, никуда не попадешь. Так с ними и происходит. Рано или поздно движение прекращается. Они больше не копошатся. Они мертвы.

— У них есть мечты,— прервал я,— сверкающие, лучезарные мечты о...

— О жратве,— решительно прервал он меня.

— Нет, и еще...

— И еще о жратве. О большой удаче — как бы побольше и послаще пожрать.— Голос его звучал резко.

В нем не было и тени шутки.— Будьте уверены, они мечтают об удачных плаваниях, которые дадут им больше денег; о том, чтобы стать капитанами кораблей или найти клад,— короче говоря, о том, чтобы устроиться получше и иметь возможность высасывать соки из своих ближних, о том, чтобы самим всю ночь спать под крышей и хорошо питаться, а всю грязную работу переложить на других. И мы с вами такие же. Разницы нет никакой, если не считать того, что мы едим больше и лучше. Сейчас я пожираю их и вас тоже. Но в прошлом вы ели больше моего. Вы спали в мягких постелях, носили хорошую одежду и ели вкусные блюда. А кто сделал эти постели, и эту одежду, и эти блюда? Не вы. Вы никогда ничего не делали в поте лица своего. Вы живете с доходов, оставленных вам отцом. Вы, как птица фрегат, бросаетесь с высоты на бакланов и похищаете у них пойманную ими рыбешку. Вы — одно целое с кучкой людей, создавших то, что они называют «государством», и властвующих над всеми остальными людьми и пожирающих пищу, которую те добывают и сами не прочь были бы съесть. Вы носите теплую одежду, а те, кто сделал эту одежду, дрожат от холода в лохмотьях и еще должны вымаливать у вас работу — у вас или у вашего поверенного или управляющего,— словом, у тех, кто распоряжается вашими деньгами.

— Но это совсем другой вопрос! — воскликнул я.

— Вовсе нет! — Капитан говорил быстро, и глаза его сверкали.— Это свинство и это... жизнь. Какой же смысл в бессмертии свинства? К чему все это ведет? Зачем все это нужно? Вы не создаете пищи, а между тем пища, съеденная или выброшенная вами, могла бы спасти жизнь десяткам несчастных, которые эту пищу создают, но не едят. Какого бессмертия заслужили вы? Или они? Возьмите нас с вами. Чего стоит ваше хваленое бессмертие, когда ваша жизнь столкнулась с моей? Вам хочется назад, на сушу, так как там раздолье для привычного вам свинства. По моему капризу я держу вас на этой шхуне, где процветает мое свинство. И буду держать. Я или сломаю вас, или переделаю. Вы можете умереть здесь сегодня, через неделю, через месяц. Я мог бы одним ударом кулака убить вас — ведь вы жалкий червяк. Но если мы бессмертны, то какой во всем этом смысл? Вести себя всю жизнь

по-свински, как мы с вами,— неужели это к лицу бессмертным? Так для чего же это все? Почему я держу вас тут?

— Потому, что вы сильнее,— выпалил я.

— Но почему я сильнее? — не унимался он.— Потому что во мне больше этой закваски, чем в вас. Неужели вы не понимаете? Неужели не понимаете?

— Но жить так — это же безнадежность! — воскликнул я.

— Согласен с вами,— отвечал он.— И зачем оно нужно вообще, это брожение, которое и есть сущность жизни? Не двигаться, не быть частицей жизненной закваски,— тогда не будет и безнадежности. Но в этом-то все и дело: мы хотим жить и двигаться, несмотря на всю бессмысленность этого, хотим, потому что это заложено в нас природой,— стремление жить и двигаться, бродить. Без этого жизнь остановилась бы. Вот эта жизнь внутри вас и заставляет вас мечтать о бессмертии. Жизнь внутри вас стремится быть вечной. Эх! Вечность свинства!

Он круто повернулся на каблуках и пошел на корму, но, не дойдя до края юта, остановился и подозвал меня.

— Кстати, на какую сумму обчистил вас кок? — спросил он.

— На сто восемьдесят пять долларов, сэр,— отвечал я.

Он молча кивнул. Минутой позже, когда я спускался по трапу накрывать на стол к обеду, я слышал, как он уже разносит кого-то из матросов.

Глава шестая

Наутро шторм, обессилев, стих, и «Призрак» тихо покачивался на безбрежной глади океана. Лишь изредка в воздухе чувствовалось легкое дуновение, и капитан не покидал палубы и все поглядывал на северо-восток, откуда должен был прийти пассат.

Весь экипаж тоже был на палубе — готовил шлюпки к предстоящему охотничьему сезону. На шхуне имелось семь шлюпок: шесть охотничьих и капитанский тузик. Команда каждой шлюпки состояла из охотника,

гребца и рулевого. На борту шхуны в команду входили только гребцы и рулевые, но вахтенную службу должны были нести и охотники, которые тоже находились в распоряжении капитана.

Все это я узнавал мало-помалу — это и многое другое. «Призрак» считался самой быстроходной шхуной в промысловых флотилиях Сан-Франциско и Виктории. Когда-то это была частная яхта, построенная с расчетом на быстроходность. Ее обводы и оснастка — хотя я и мало смыслил в этих вещах — сами говорили за себя. Вчера во время второй вечерней полувахты мы с Джонсоном немного поболтали, и он рассказал мне все, что ему было известно о нашей шхуне. Он говорил восторженно, с такой любовью к хорошим кораблям, с какой иные говорят о лошадях. Но от плавания он не ждал добра и дал мне понять, что Волк Ларсен пользуется очень скверной репутацией среди прочих капитанов промысловых судов. Только желание поплавать на «Призраке» соблазнило Джонсона подписать контракт, но он уже начинал жалеть об этом.

Джонсон сказал мне, что «Призрак» — восьмидесятитонная шхуна превосходной конструкции. Наибольшая ширина ее — двадцать три фута, а длина превышает девяносто. Необычайно тяжелый свинцовый фальш-киль (вес его точно неизвестен) придает ей большую устойчивость и позволяет нести огромную площадь парусов. От палубы до клотика грот-стеньги больше ста футов, тогда как фок-мачта вместе со стеньгой футов на десять короче. Я привожу все эти подробности для того, чтобы можно было представить себе размеры этого пловучего мирка, носившего по океану двадцать два человека. Это был крошечный мирок, пятнышко, точка, и я дивился тому, как люди осмеливаются пускаться в море на таком маленьком, хрупком сооружении.

Волк Ларсен славился своей безрассудной смелостью в плавании под парусами. Я слышал, как Гендерсон и еще один охотник — калифорниец Стэндиш — толковали об этом. Два года назад Ларсен потерял мачты на «Призраке», попав в шторм в Беринговом море, после чего и были поставлены теперешние — более прочные и тяжелые. Когда их устанавливали, Ларсен заявил, что предпочитает перевернуться, нежели снова потерять мачты.

За исключением Иогансена, упоенного своим повышением, на борту не было ни одного человека, который не подыскивал бы оправдания своему поступлению на «Призрак». Половина команды состояла из моряков дальнего плавания, и они утверждали, что ничего не знали ни о шхуне, ни о капитане; а те, кто был знаком с положением вещей, потихоньку говорили, что охотники — прекрасные стрелки, но такая буйная и продувная компания, что ни одно приличное судно не взяло бы их в плавание.

Я познакомился еще с одним матросом, по имени Луис, круглолицым и веселым ирландцем из Новой Шотландии, который всегда был рад поболтать, лишь бы его слушали. После обеда, когда кок спал внизу, а я чистил свою неизменную картошку, Луис зашел в камбуз «почесать языком». Этот малый объяснял свое пребывание на судне тем, что был пьян, когда подписывал контракт; он без конца уверял меня, что ни за что на свете не сделал бы этого в трезвом виде. Как я понял, он уже лет десять каждый сезон выезжает бить котиков и считается одним из лучших шлюпочных рулевых в обеих флотилиях.

— Эх, дружище,— сказал он, мрачно покачав головой,— хуже этой шхуны не сыскать, а ведь ты не был пьян, как я, когда попал сюда! Охота на котиков — это рай для моряка, но только не на этом судне. Помощник положил начало, но, помяни мое слово, у нас будут и еще покойники до конца плавания. Между нами говоря, этот Волк Ларсен сущий дьявол, и «Призрак» тоже стал адовой посудиной, с тех пор как попал к этому капитану. Что я, не знаю, что ли! Не помню я разве, как два года назад в Хакодате у него взбунтовалась команда и он застрелил четырех матросов. Я-то в то время плавал на «Эмме Л.»,— мы стояли на якоре в трехстах ярдах от «Призрака». И еще в том же году он убил человека одним ударом кулака. Да, да, так и уложил на месте! Хватил по голове, и она треснула, как яичная скорлупа. А что он выкинул с губернатором острова Кура и с начальником тамошней полиции! Эти два японских джентльмена явились к нему на «Призрак» в гости, и с ними были их жены — хорошенькие, словно куколки. Ну, точь-в-точь, как рисуют на веерах. А когда пришло время сниматься с якоря,

он спустил мужей в их сампан и будто случайно не успел спустить жен. Через неделю этих бедняжек высадили на берег по другую сторону острова, и ничего им не оставалось, как брести домой через горы в своих игрушечных соломенных сандалиях, которых не могло хватить и на одну милю. Что я, не знаю, что ли! Зверь он, этот Волк Ларсен, вот что! Зверь, о котором еще в Апокалипсисе сказано. И добром он не кончит... Только помни, я тебе ничего не говорил! И словечка не шепнул. Потому что старый толстый Луис поклялся вернуться живым из этого плавания, даже если все остальные пойдут на корм рыбам.

— Волк Ларсен! — помолчав, заворчал он снова.— Даром, что ли, его так зовут! Да, он волк, настоящий волк! Бывает, что у человека каменное сердце, а у этого и вовсе сердца нет. Волк, просто волк, и вся тут! Верно ведь, эта кличка здорово ему пристала?

— Но если его так хорошо знают,— возразил я,— как же ему удается набирать себе экипаж?

— А как это всегда находят людей на какую угодно работу, хоть на земле, хоть на море? — с кельтской горячностью возразил Луис.— Разве ты увидел бы меня на борту этой шхуны, если бы я не был пьян, как свинья, когда подмахнул контракт?

— Кое-кто здесь — такой народ, что им не попасть на порядочное судно. Взять хоть наших охотников. А другие, бедняги, матросня с бака, сами не знали, куда они нанимаются. Ну да они еще узнают! Узнают и проклянут тот день, когда родились на свет! Жаль мне их, но я должен прежде всего думать о толстом старом Луисе и о том, что его ждет. Только смотри, молчок! Я тебе ни слова не говорил.

— Эти охотники — порядочная дрянь,— через минуту начал он снова, так как отличался необычайной словоохотливостью.— Дай срок, они еще разойдутся и покажут себя. Ну да Ларсен живо их скрутит. Только он и может нагнать на них страху. Вот, возьми хоть моего охотника Хорнера. Уж такая тихоня с виду — спокойный да вежливый, прямо как барышня, воды, кажется, не замутит. А ведь в прошлом году укокошил своего рулевого. Несчастный случай, и все. Но я встретил потом в Иокогаме гребца, и он рассказал мне, как дело было. А этот маленький чернявый проходимец Смок —

ведь он отбыл три года на сибирских соляных копях за браконьерство. Охотился в русском заповеднике на Медном острове. Его там сковали нога с ногой и рука с рукой с другим каторжником. Так вот, на работе между ними что-то вышло, и Смок отправил своего товарища из шахты наверх в бадьях с солью. Только отправлял он его по частям: сегодня — ногу, завтра — руку, послезавтра — голову....

— Что вы такое говорите! — в ужасе вскричал я.

— Что я говорю? — резко прервал он меня.— Ничего я не говорю. Я глух и нем и другим советую помалкивать, если им жизнь дорога. Что я говорил? Да только, что все они замечательные ребята и он тоже, чтоб его черт побрал, чтоб ему гнить в чистилище десять тысяч лет, а потом провалиться в самую преисподнюю!

Джонсон, матрос, который чуть не содрал с меня кожу, когда я впервые попал на борт, казался мне наиболее прямодушным из всей команды. Это была простая, открытая натура. Его честность и мужественность бросались в глаза, и в то же время он был очень скромен, почти робок. Однако робким его все же нельзя было назвать. Чувствовалось, что он способен отстаивать свои взгляды и обладает чувством собственного достоинства. Мне запомнилась моя первая встреча с ним и то, как он не пожелал, чтобы коверкали его фамилию. О нем и об этих его особенностях Луис высказался так (слова его звучали пророчеством):

— Славный малый этот швед Джонсон, лучший матрос на баке. Он гребцом у нас на шлюпке. Но с Волком Ларсеном у него дойдет до беды — это как пить дать. Уж я-то знаю! Я вижу, как надвигается буря. Я говорил с Джонсоном по-братски, но он не желает тушить огни и вывешивать фальшивые сигналы. Чуть что не по нем, начинает ворчать, а на судне всегда найдется гад, который донесет на него. Волк силен, а эта волчья порода не терпит силы в других. Он видит, что и Джонсон силен и его не согнуть,— этот не станет благодарить и кланяться, если его обложат или влепят по морде. Эх, быть беде! Быть беде! И бог весть где я возьму тогда другого гребца! Вы знаете, что сделал этот дурак, когда старик назвал его «Йонсон». «Меня зовут Джонсон, сэр»,— поправляет он капитана да еще начинает выговаривать это буква за буквой. Вы бы погля-

дели на старика! Я думал, он пристукнет его на месте. Ну, на этот раз он его не убил, но он еще обломает этого шведа, или я мало смыслю в том, что́ бывает у нас на море.

Томас Магридж становится невыносим. Я должен величать его «мистер» и «сэр», прибавлять это к каждому слову. Обнаглел он так отчасти потому, что Волк Ларсен, видимо, к нему благоволит. Вообще это неслыханная вещь, на мой взгляд,— чтобы капитан водил дружбу с коком, но таков каприз Волка Ларсена. Уже два или три раза случалось, что он просовывал голову в камбуз и принимался благодушно поддразнивать кока. А сегодня после обеда минут пятнадцать болтал с ним на юте. После этой беседы Магридж вернулся в камбуз, сияя и гадко ухмыляясь во весь рот, и за работой все время напевал себе под нос какие-то уличные песенки чудовищно гнусавым фальцетом.

— Я умею ладить с начальством,— разоткровенничался он со мной.— Знаю, как себя с ним вести, и меня всюду ценят. Вот хотя бы с последним шкипером — я, когда хотел, запросто заходил к нему в каюту поболтать и пропустить стаканчик. «Магридж,— говорил он мне,— Магридж, а ведь ты ошибся в своем призвании!» — «А что это за призвание?» — спрашиваю. «Ты должен был родиться джентльменом, чтобы тебе никогда не пришлось своим трудом зарабатывать на жизнь». Убей меня бог, Хэмп, если он не сказал так — слово в слово! А я слушаю его и сижу у него в каюте, как у себя дома, курю его сигары и пью его ром!

Эта болтовня доводила меня до исступления. Никогда еще ничей голос не был мне так ненавистен. Масленый, вкрадчивый тон кока, его гаденькая улыбочка, его невероятное самомнение так действовали мне на нервы, что меня бросало в дрожь. Это была, безусловно, самая омерзительная личность, какую я когда-либо встречал. К тому же он был неописуемо нечистоплотен, а так как вся пища проходила через его руки, то я, мучимый брезгливостью, старался есть то, к чему он меньше прикасался.

Мои руки, не привыкшие к грубой работе, доставляли мне много мучений. Грязь так въелась в кожу, что я не мог отмыть ее даже щеткой. Ногти почернели и обломались, на ладонях выскочили волдыри, а однажды,

потеряв равновесие во время качки и привалившись к плите, я сильно обжег себе локоть. Колено тоже продолжало болеть. Опухоль держалась, и коленная чашечка все еще не стала на место. С утра до ночи я должен был ковылять по кораблю, и это отнюдь не приносило пользы моей искалеченной ноге. Я знал, что ей необходим отдых.

Отдых! Раньше я не понимал по-настоящему значения этого слова. Ведь я всю свою жизнь отдыхал, сам того не сознавая. А теперь, если бы мне удалось посидеть полчасика, ничего не делая, не думая ни о чем, это показалось бы мне величайшим блаженством на свете. Зато всё это явилось для меня как бы откровением. Да, теперь я знаю, каково приходится трудовому люду! Мне и не снилось, что работа может быть так чудовищно тяжела. С половины шестого утра и до десяти вечера я раб всех и каждого и не имею ни минуты для себя, кроме тех кратких мгновений, которые удается урвать в конце вечерней вахты. Стоит мне залюбоваться на миг сверкающим на солнце морем или заглядеться, как один матрос бежит по бушприту, а другой карабкается наверх по вантам, и тотчас за моей спиной раздается ненавистный голос: «Эй, Хэмп! Ты что там рот разинул! Думаешь, не вижу?»

В кубрике у охотников заметно растет недовольство, и я слышал, что Смок и Гендерсон подрались. Гендерсон самый опытный из охотников. Это флегматичный парень, и его трудно раскачать, но, верно, уж его раскачали, потому что Смок ходит с подбитым глазом и сегодня за ужином смотрел зверем.

Перед ужином я был свидетелем жестокого зрелища, изобличающего грубость и черствость этих людей. В нашей команде есть новичок, по имени Гаррисон, неуклюжий деревенский парень, которого, должно быть, толкнула на это первое плавание жажда приключений. При слабом и часто меняющемся противном ветре шхуне приходится много лавировать. В таких случаях паруса переносят с одного борта на другой, а наверх посылают матроса — перенести фор-топсель. Гаррисон был наверху, когда шкот заело в блоке, через который он проходит на ноке гафеля. Насколько я понимаю, было два способа очистить шкот: либо спустить фок, что было сравнительно легко и не сопряжено с опас-

ностью, либо добраться по дирик-фалу до нока гафеля — предприятие весьма рискованное.

Иогансен приказал Гаррисону лезть по фалу. Всякому было ясно, что мальчишка трусит. Да и не мудрено — ведь ему предстояло подняться на восемьдесят футов над палубой, доверив свою жизнь тонким, колеблющимся снастям. При более ровном ветре опасность была бы не так велика, но «Призрак» качало на длинной волне, как скорлупку, и при каждом крене судна паруса хлопали и полоскались, а фалы то ослабевали, то вдруг натягивались рывком. Они могли стряхнуть с себя человека, как возница стряхивает муху с кнута.

Гаррисон слышал приказ и понял, чего от него требуют, но все еще мешкал. Быть может, ему первый раз в жизни приходилось работать на мачте. Иогансен, который успел уже перенять манеру Волка Ларсена, разразился градом ругательств.

— Будет, Иогансен! — оборвал его капитан.— На этом судне ругаюсь я, пора бы вам это понять. Если мне понадобится ваша помощь, я вам скажу.

— Есть, сэр,— покорно отозвался помощник.

В это время Гаррисон уже лез по фалам. Я смотрел на него из двери камбуза и видел, что он весь дрожит, словно в лихорадке. Он подвигался вперед очень медленно и осторожно. Его фигура четко вырисовывалась на яркой синеве неба и напоминала огромного паука, ползущего по тонкой нити паутины.

Гаррисону приходилось взбираться вверх под небольшим уклоном, и дирик-фал, пропущенный через разные блоки на гафеле и на мачте, кое-где давал опору для рук и ног. Но беда была в том, что слабый и непостоянный ветер плохо наполнял паруса. Когда Гаррисон был уже на полпути к ноку гафеля, «Призрак» сильно качнуло, сначала в наветренную сторону, а потом обратно, в ложбину между двумя валами. Гаррисон замер, крепко уцепившись за фал. Стоя внизу, на расстоянии восьмидесяти футов от него, я видел, как напряглись его мускулы в отчаянной борьбе за жизнь. Парус повис пустой, гафель закинуло, фал ослабел, и, хотя все произошло мгновенно, я видел, как он прогнулся под тяжестью матроса. Потом гафель внезапно вернулся в прежнее положение, огромный парус, на-

дуваясь, хлопнул так, словно выстрелили из пушки, а три ряда риф-штертов защелкали по парусине, создавая впечатление ружейной пальбы. Гаррисон, уцепившийся за фал, совершил головокружительный полет. Но полет этот внезапно прекратился. Фал натянулся, и это и был удар кнута, стряхивающий муху. Гаррисон не удержался. Одна рука его отпустила фал, другая секунду еще цеплялась, но только секунду. Однако в момент падения матрос каким-то чудом ухитрился зацепиться за снасти ногами и повис вниз головой. Изогнувшись, он снова ухватился руками за фал. Мало-помалу ему удалось восстановить прежнее положение, и он жалким комочком прилип к снастям.

— Пожалуй, это отобьет у него аппетит к ужину,— услышал я голос Волка Ларсена, который появился из-за угла камбуза.— Полундра, Иогансен! Берегитесь! Сейчас начнется!

И действительно, Гаррисону было дурно, как при морской болезни. Он висел, уцепившись за снасти, и не решался двинуться дальше. Но Иогансен не переставал яростно понукать его, требуя, чтобы он выполнил приказание.

— Стыд и позор! — проворчал Джонсон медленно и с трудом, но правильно выговаривая английские слова. Он стоял у грот-вант в нескольких шагах от меня.— Малый и так старается. Научился бы понемногу. А это...

Он умолк, прежде чем слово «убийство» сорвалось у него с языка.

— Тише, ты! — шепнул ему Луис.— Помалкивай, коли тебе жизнь не надоела!

Но Джонсон не унимался и продолжал ворчать.

— Послушай,— сказал один из охотников, Стэндиш, обращаясь к капитану,— это мой гребец, я не хочу потерять его.

— Ладно, Стэндиш,— последовал ответ.— Он гребец, когда он у вас на шлюпке, но на шхуне — он мой матрос, и я могу распоряжаться им, как мне заблагорассудится, черт подери!

— Это еще не значит...— начал было снова Стэндиш.

— Хватит! — огрызнулся Ларсен.— Я сказал, и точка. Это мой матрос, и я могу сварить из него суп и съесть, если пожелаю.

Злой огонек сверкнул в глазах охотника, но он смолчал и направился к кубрику; остановившись на трапе, он взглянул вверх. Все матросы столпились теперь на палубе, все глаза были обращены туда, где шла борьба жизни со смертью. Черствость, бессердечие тех людей, которым современный промышленный строй предоставил власть над жизнью других, ужаснули меня. Мне, стоявшему всегда в стороне от житейского водоворота, даже на ум не приходило, что труд человека может быть сопряжен с такой опасностью. Человеческая жизнь всегда представлялась мне чем-то высоко священным, а здесь ее не ставили ни во что, здесь она была не больше как цифрой в коммерческих расчетах. Должен оговориться: матросы сочувствовали своему товарищу, взять к примеру того же Джонсона, но начальство — капитан и охотники — проявляли полное бессердечие и равнодушие. Ведь и Стэндиш вступился за матроса лишь потому, что не хотел потерять гребца. Будь это гребец с другой шлюпки, он отнесся бы к происшествию так же, как остальные,— оно только позабавило бы его.

Но вернемся к Гаррисону. Минут десять Иогансен всячески понукал и поносил несчастного и заставил его, наконец, сдвинуться с места. Матрос добрался все же до нока гафеля. Там он уселся на гафель верхом, и ему стало легче держаться. Он очистил шкот и мог теперь вернуться, спустившись по фалу к мачте. Но у него уже, как видно, не хватало духа. Он не решался променять свое опасное положение на еще более опасный спуск.

Расширенными от страха глазами он поглядывал на тот путь, который ему предстояло совершить высоко в воздухе, потом переводил взгляд на палубу. Его трясло, как в лихорадке. Мне никогда еще не случалось видеть выражения такого смертельного испуга на человеческом лице. Тщетно Иогансен кричал ему, чтобы он спускался. Каждую минуту его могло сбросить с гафеля, но он прилип к нему, оцепенев от ужаса. Волк Ларсен прогуливался по палубе, беседуя со Смоком, и не обращал больше никакого внимания на Гаррисона,— только раз резко окрикнул рулевого:

— Ты сошел с курса, приятель. Смотри, получишь у меня!

— Есть, сэр,— отвечал рулевой и немного повернул штурвал.

Его провинность состояла в том, что он слегка отклонил шхуну от курса, чтобы слабый ветер мог хоть немного надуть паруса и удерживать их в одном положении. Этим он пытался помочь злополучному Гаррисону, рискуя навлечь на себя гнев Волка Ларсена.

Время шло, и напряжение становилось невыносимым. Однако Томас Магридж находил это происшествие чрезвычайно забавным. Каждую минуту он высовывал голову из камбуза и отпускал шуточки. Как я ненавидел его! Моя ненависть к нему выросла за эти страшные минуты до исполинских размеров. Первый раз в жизни я испытывал желание убить человека. Я «жаждал крови», как выражаются некоторые наши писатели и любители пышных оборотов. Жизнь вообще, быть может, священна, но жизнь Томаса Магриджа представлялась мне чем-то презренным и нечестивым. Почувствовав жажду убийства, я испугался, и у меня мелькнула мысль: неужели грубость окружающей среды так на меня повлияла? Ведь не я ли всегда утверждал, что смертная казнь несправедлива и недопустима даже для самых закоренелых преступников?

Прошло не меньше получаса, а затем я заметил, что Джонсон и Луис горячо о чем-то спорят! Спор кончился тем, что Джонсон отмахнулся от Луиса, который пытался его удержать, и направился куда-то. Он пересек палубу, прыгнул на фор-ванты и полез вверх. Это не ускользнуло от острого взора Волка Ларсена.

— Эй, ты! Куда? — крикнул он.

Джонсон остановился. Глядя в упор на капитана, он неторопливо ответил:

— Хочу снять парня.

— Спустись сию же минуту вниз, черт тебя дери! Слышишь? Вниз!

Джонсон медлил, но многолетняя привычка подчиняться приказу пересилила, и, спустившись с мрачным видом на палубу, он ушел на бак.

В половине шестого я направился в кают-компанию накрывать на стол, но почти не сознавал, что делаю. Я видел только раскачивающийся гафель и прилепив-

шегося к нему бледного, дрожащего от страха матроса, похожего снизу на какую-то смешную козявку.

В шесть часов, подавая обед и пробегая по палубе, в камбуз, я видел Гаррисона все в том же положении. Разговор за столом шел о чем-то постороннем. Никого, по-видимому, не интересовала жизнь этого человека, подвергнутая смертельной опасности потехи ради. Однако немного позже, лишний раз сбегав в камбуз, я, к своей великой радости, увидел Гаррисона, который, шатаясь, брел от вант к люку на баке. Он, наконец, собрался с духом и спустился.

Чтобы покончить с этим случаем, я должен вкратце передать свой разговор с Волком Ларсеном,— он заговорил со мной в кают-компании, когда я убирал посуду.

— Что это у вас сегодня такой жалкий вид? — начал он.— В чем дело?

Я видел, что он отлично понимает, почему я чувствую себя почти так же худо, как Гаррисон, но хочет вызвать меня на откровенность, и отвечал:

— Меня расстроило жестокое обращение с этим малым.

Он усмехнулся.

— Это у вас нечто вроде морской болезни. Одни подвержены ей, другие — нет.

— Что же тут общего? — возразил я.

— Очень много общего,— продолжал он.— Земля так же полна жестокостью, как море — движением. Иные не переносят первой, другие — второго. Вот и вся причина.

— Вы так издеваетесь над человеческой жизнью, неужели вы не придаете ей никакой цены? — спросил я.

— Цены? Какой цены? — он посмотрел на меня, и я прочел циничную усмешку в его суровом пристальном взгляде.— О какой цене вы говорите? Как вы ее определите? Кто ценит жизнь?

— Я ценю,— ответил я.

— Как же вы ее цените? Я имею в виду чужую жизнь. Сколько она, по-вашему, стоит?

Цена жизни! Как мог я определить ее? Привыкший ясно и свободно излагать свои мысли, я в присутствии Ларсена почему-то не находил нужных слов. Отчасти я объяснял себе это тем, что его личность подавляла

меня, но главная причина крылась все же в полной противоположности наших воззрений. В спорах с другими материалистами я всегда мог хоть в чем-то найти общий язык, найти какую-то отправную точку, но с Волком Ларсеном у меня не было ни единой точки соприкосновения. Быть может, меня сбивала с толку примитивность его мышления; он сразу приступал к тому, что считал существом вопроса, отбрасывая все, казавшееся ему мелким и незначительным, и говорил так безапелляционно, что я терял почву под ногами. Цена жизни! Как мог я сразу, не задумываясь, ответить на такой вопрос? Жизнь священна — это я принимал за аксиому. Ценность ее в ней самой — это было столь очевидной истиной, что мне никогда не приходило в голову подвергать ее сомнению. Но когда Ларсен потребовал, чтобы я нашел подтверждение этой общеизвестной истине, я растерялся.

— Мы с вами беседовали об этом вчера,— сказал он.— Я сравнивал жизнь с закваской, с дрожжевым грибком, который пожирает жизнь, чтобы жить самому, и утверждал, что жизнь — это просто торжествующее свинство. С точки зрения спроса и предложения жизнь самая дешевая вещь на свете. Количество воды, земли и воздуха ограничено, но жизнь, которая порождает жизнь, безгранична. Природа расточительна. Возьмите рыб с миллионами икринок. И возьмите себя или меня! В наших чреслах тоже заложены миллионы жизней. Имей мы возможность даровать жизнь каждой крупице заложенной в нас нерожденной жизни, мы могли бы стать отцами народов и населить целые материки. Жизнь? Пустое! Она ничего не стоит. Из всех дешевых вещей она самая дешевая. Она стучится во все двери. Природа рассыпает ее щедрой рукой. Где есть место для одной жизни, там она сеет тысячи, и везде жизнь пожирает жизнь, пока не остается лишь самая сильная и самая свинская.

— Вы читали Дарвина,— заметил я.— Но вы превратно толкуете его, если думаете, что борьба за существование оправдывает произвольное разрушение вами чужих жизней.

Он пожал плечами.

— Вы, очевидно, имеете в виду лишь человеческую жизнь, так как зверей и птиц и рыб вы уничтожаете не меньше, чем я или любой другой человек. Но человеческая жизнь ничем не отличается от всякой прочей жизни, хотя вам и кажется, что это не так, и вы якобы видите какую-то разницу. Почему я должен беречь эту жизнь, раз она так дешево стоит и не имеет ценности? Для матросов не хватает кораблей на море, так же как для рабочих на суше не хватает фабрик и машин. Вы, живущие на суше, отлично знаете, что, сколько бы вы ни вытесняли бедняков на окраины, в городские трущобы, отдавая их во власть голода и эпидемий, и сколько бы их ни мерло из-за отсутствия корки хлеба и куска мяса (то есть той же разрушенной жизни), их еще остается слишком много, и вы не знаете, что с ними делать. Видели вы когда-нибудь, как лондонские грузчики дерутся, словно дикие звери, из-за возможности получить работу?

Он направился к трапу, но обернулся, чтобы сказать еще что-то напоследок.

— Видите ли, жизнь не имеет никакой цены, кроме той, какую она сама себе придает. И, конечно, она себя переоценивает, так как неизбежно пристрастна к себе. Возьмите хоть этого матроса, которого я сегодня держал на мачте. Он цеплялся за жизнь так, как будто это невесть какое сокровище, драгоценнее всяких бриллиантов или рубинов. Имеет ли она для вас такую ценность? Нет. Для меня? Нисколько. Для него самого? Несомненно. Но я не согласен с его оценкой, он чрезмерно переоценивает себя. Бесчисленные новые жизни ждут своего рождения. Если бы он упал и разбрызгал свои мозги по палубе, словно мед из сотов, мир ничего не потерял бы от этого. Он не представляет для мира никакой ценности. Предложение слишком велико. Только в своих собственных глазах имеет он цену, и заметьте, насколько эта ценность обманчива — ведь мертвый он уже не сознавал бы этой потери. Только он один и ценит себя дороже бриллиантов и рубинов. И вот бриллианты и рубины пропадут, рассыплются по палубе, их смоют в океан ведром воды, а он даже не будет знать об их исчезновении. Он ничего не потеряет, так как с потерей самого себя утратит и сознание потери. Ну? Что вы скажете?

— Что вы по крайней мере последовательны,— отвечал я.

Это было все, что я мог сказать, и я снова занялся мытьем тарелок.

Глава седьмая

Наконец, после трех дней переменных ветров мы поймали северо-восточный пассат. Я вышел на палубу, хорошо выспавшись, несмотря на боль в колене, и увидел, что «Призрак», пеня волны, летит, как на крыльях, под всеми парусами, кроме кливеров. В корму дул свежий ветер. Какое чудо эти мощные пассаты! Весь день мы шли вперед и всю ночь и так изо дня в день, а ровный и сильный ветер все время дул нам в корму. Шхуна сама летела вперед, и не нужно было выбирать и травить всевозможные снасти или переносить топселя, и матросам оставалось только нести вахту у штурвала. Вечерами, после захода солнца, шкоты немного потравливали, а по утрам, дав им просохнуть после росы, снова добирали,— и это было все.

Наша скорость — десять, одиннадцать, иной раз двенадцать узлов. А попутный ветер все дует и дует с северо-востока, и мы за сутки покрываем двести пятьдесят миль. Меня и печалит и радует эта скорость, с которой мы удаляемся от Сан-Франциско и приближаемся к тропикам. С каждым днем становится все теплее. Во время второй вечерней полувахты матросы выходят на палубу, раздеваются и окатывают друг друга морской водой. Начинают появляться летучие рыбы, и ночью вахтенные ползают по палубе, ловя тех, что падают к нам на шхуну. А утром, если удается подкупить Магриджа, из камбуза несется приятный запах жареной рыбы. Порой все лакомятся мясом дельфина, когда Джонсону посчастливится поймать с бушприта одного из этих красавцев.

Джонсон проводит там все свое свободное время или же заберется на салинг и смотрит, как «Призрак», гонимый пассатом, рассекает воду. Страсть и упоение светятся в его взгляде, он ходит, как в трансе, восхищенно поглядывая на раздувающиеся паруса, на пенистый след корабля, на его свободный бег по высоким волнам, которые движутся вместе с нами величавой процессией.

Дни и ночи — «чудо и неистовый восторг», и хотя нудная работа поглощает все мое время, я все же стараюсь улучить минутку, чтобы полюбоваться этой бесконечной торжествующей красотой, о существовании которой никогда прежде и не подозревал. Над нами синее безоблачное небо, повторяющее оттенки моря, которое под форштевнем блестит и отливает, как голубой атлас. По горизонту протянулись легкие перистые облачка, неизменные, неподвижные, точно серебряная оправа яркого бирюзового свода.

Надолго запомнилась мне одна ночь, когда, забыв про сон, лежал я на полубаке и смотрел на переливчатую игру пены, бурлившей у форштевня. До меня долетали звуки, напоминавшие журчание ручейка по мшистым камням в тихом, уединенном ущелье. Они убаюкивали, уносили куда-то далеко, заставляя забывать, что я — юнга «Хэмп», бывший некогда Хэмфри Ван-Вейденом, который тридцать пять лет своей жизни просидел над книгами. Меня вернул к действительности голос Волка Ларсена, как всегда сильный и уверенный, но с необычайной мягкостью и затаенным восторгом произносивший такие слова:

Южных звезд искристый свет, за кормой сребристый след,
Как дорога в небосвод.
Киль взрезает пену волн, парус ровным ветром полн.
Кит дробит сверканье вод.
Снасти блещут росой по утрам,
Солнце сушит обшивку бортов.
Перед нами путь, путь знакомый нам —
Путь на юг, старый друг, он для нас вечно нов! [1]

— Ну как, Хэмп? Нравится вам это? — спросил он меня, помолчав, как того требовали стихи и обстановка.

Я взглянул на него. Лицо его было озарено светом, как само море, и глаза сверкали.

— Меня поражает, что вы способны на такой энтузиазм,— холодно отвечал я.

— Почему же? Это говорит во мне жизнь! — воскликнул он.

— Дешевая вещь, не имеющая никакой цены,— напомнил я ему его слова.

---

[1] Из стихотворения Р. Киплинга «Дальний путь».

Он рассмеялся, и я впервые услышал в его голосе искреннее веселье.

— Эх, никак не заставишь вас понять, никак не втолкуешь вам, что это за штука — жизнь! Конечно, она имеет цену только для себя самой. И могу сказать вам, что моя жизнь сейчас весьма ценна... для меня. Ей прямо нет цены, хотя вы скажете, что я очень ее переоцениваю. Но что поделаешь, моя жизнь сама определяет себе цену.

Он помолчал,— казалось, он подыскивает слова, чтобы высказать какую-то мысль,— потом заговорил снова:

— Видите ли, я испытываю сейчас удивительный подъем духа. Словно все времена звучат во мне и все силы принадлежат мне. Словно мне открылась истина, и я могу отличить добро от зла, правду от лжи и взором проникнуть вдаль. Я почти готов поверить в бога. Но,— голос его изменился и лицо потемнело,— почему я в таком состоянии? Откуда эта радость жизни? Это упоение жизнью? Этот — назовем его так — подъем? Все это бывает просто от хорошего пищеварения, когда у человека желудок в порядке, аппетит исправный и весь организм хорошо работает. Это брожение закваски, шампанское в крови — это обман, подачка, которую бросает нам жизнь, внушая одним высокие мысли, а других заставляя видеть бога или создавать его, если они не могут его видеть. Вот и все: опьянение жизни, бурление закваски, бессмысленная радость жизни, одурманенной сознанием, что она бродит, что она жива. Но увы! Завтра я буду расплачиваться за это, завтра для меня, как для запойного пьяницы, наступит похмелье. Завтра я буду помнить, что я должен умереть и, вероятнее всего, умру в плавании; что я перестану бродить в самом себе, стану частью брожения моря; что я буду гнить; что я сделаюсь падалью; что сила моих мускулов перейдет в плавники и чешую рыб. Увы! Шампанское выдохлось. Вся игра ушла из него, и оно потеряло свой вкус.

Он покинул меня так же внезапно, как и появился, спрыгнув на палубу мягко и бесшумно, словно тигр.

«Призрак» продолжал идти своим путем. Пена бурлила у форштевня, но мне чудились теперь звуки, похожие на сдавленный хрип. Я прислушивался к ним, и мало-помалу впечатление, которое произвел на меня

внезапный переход Ларсена от экстаза к отчаянию, ослабело.

Вдруг какой-то матрос на палубе звучным тенором затянул «Песнь пассата»:

Я — ветр, любезный морякам.
Я свеж, могуч.
Они следят по небесам
Мой лет средь туч.
И я бегу за кораблем
Вернее пса.
Вздуваю ночью я и днем
Все паруса.

Глава восьмая

Иногда Волк Ларсен кажется мне просто сумасшедшим или во всяком случае не вполне нормальным — столько у него странностей и диких причуд. Иногда же я вижу в нем задатки великого человека, гения, оставшиеся в зародыше. И, наконец, в чем я совершенно убежден, так это в том, что он ярчайший тип первобытного человека, опоздавшего родиться на тысячу лет или поколений, живой анахронизм в наш век высокой цивилизации. Бесспорно, он законченный индивидуалист и, конечно, очень одинок. Между ним и всем экипажем нет ничего общего. Его необычайная физичеекая сила и сила его личности отгораживают его от других. Он смотрит на них, как на детей, — не делает исключения даже для охотников, — и обращается с ними, как с детьми, заставляя себя спускаться до их уровня и порой играя с ними, словно со щенками. Иногда же он исследует их суровой рукой вивисектора и копается в их душах, как бы желая понять, из какого теста они слеплены.

За столом я десятки раз наблюдал, как он, холодно и пристально глядя на кого-нибудь из охотников, принимался оскорблять его, а затем с таким любопытством ждал от него ответа, вернее вспышки бессильного гнева, что мне, стороннему наблюдателю, понимавшему, в чем тут дело, становилось смешно. Когда же он сам впадает в ярость, она кажется мне напускной. Я уверен, что это только манера держаться, сознательно усвоенная им по отношению к окружающим, и он просто пользуется ею

для своих экспериментов. После смерти его помощника я в сущности ни разу больше не видел Ларсена по-настоящему разгневанным, да, признаться, и не желал бы увидеть, как вырвется наружу вся его чудовищная сила.

Раз уж зашла речь о его прихотях, я расскажу о том, что случилось с Томасом Магриджем в кают-компании, а заодно покончу и с тем происшествием, о котором уже как-то упоминал.

Однажды после обеда я заканчивал уборку кают-компании, как вдруг по трапу спустились Волк Ларсен и Томас Магридж. Хотя конура кока примыкала к кают-компании, он никогда не смел задерживаться здесь и робкой тенью поспешно проскальзывал мимо два-три раза в день.

— Так, значит, ты играешь в «наполеон»? — довольным тоном произнес Волк Ларсен.— Ну, разумеется, ты же англичанин. Я сам научился этой игре на английских кораблях.

Этот жалкий червяк, Томас Магридж, был на седьмом небе оттого, что капитан разговаривает с ним по-приятельски, но все его ужимки и мучительные старания держаться с достоинством и разыгрывать из себя человека, рожденного для лучшей жизни, могли только вызвать омерзение и смех. Мое присутствие он совершенно игнорировал, впрочем, ему и на самом деле было не до меня. Его водянистые, выцветшие глаза сияли, и у меня не хватает фантазии вообразить себе, какие блаженные видения носились перед его взором.

— Подай карты, Хэмп,— приказал мне Волк Ларсен, когда они уселись за стол.— И принеси виски и сигары — достань из ящика у меня под койкой.

Когда я вернулся в кают-компанию, кок уже туманно распространялся о какой-то тайне, связанной с его рождением, намекая, что он — сбившийся с пути сын благородных родителей или что-то в этом роде и его удалили из Англии и даже платят ему деньги за то, чтобы он не возвращался. «Хорошие деньги платят,— пояснял он,— лишь бы там моим духом не пахло».

Я принес было рюмки, но Волк Ларсен нахмурился, покачал головой и жестом показал, чтобы я подал стаканы. Он наполнил их на две трети неразбавленным виски — «джентльменским напитком», как заметил Томас Магридж,— и, чокнувшись во славу великолепной

игры «нап», они закурили сигары и принялись тасовать и сдавать карты.

Они играли на деньги, все время увеличивая ставки, и пили виски, а когда выпили все, капитан велел принести еще. Я не знаю, передергивал ли Волк Ларсен,— он был вполне способен на это,— но, так или иначе, он неизменно выигрывал. Кок снова и снова отправлялся к своей койке за деньгами. При этом он страшно фанфаронил, но никогда не приносил больше нескольких долларов зараз. Он осовел, стал фамильярен, плохо разбирал карты и едва не падал со стула. Собираясь в очередной раз отправиться к себе в каморку, он грязным указательным пальцем зацепил Волка Ларсена за петлю куртки и тупо забубнил:

— У меня есть денежки, есть! Говорю вам — я сын джентльмена.

Волк Ларсен не пьянел, хотя пил стакан за стаканом; он наливал себе виски ничуть не меньше, чем коку, и все же я не замечал в нем ни малейшей перемены. Выходки Магриджа, по-видимому, даже не забавляли его.

В конце концов, торжественно заявив, что и проигрывать он умеет, как джентльмен, кок поставил последние деньги и проиграл. После этого он заплакал, уронив голову на руки. Волк Ларсен с любопытством поглядел на него, словно собираясь одним ударом скальпеля вскрыть и исследовать его душу, но, как видно, раздумал, сообразив, что здесь и исследовать-то, собственно говоря, нечего.

— Хэмп,— с подчеркнутой вежливостью обратился он ко мне,— будьте добры, возьмите мистера Магриджа под руку и отведите на палубу. Он себя неважно чувствует. И скажите Джонсону, чтобы они там угостили его двумя-тремя ведрами морской воды,— добавил он, понизив голос.

Я оставил кока на палубе в руках нескольких ухмыляющихся матросов, которых Джонсон позвал на подмогу. Мистер Магридж сонно бормотал, что он «сын джентльмена». Спускаясь по трапу убрать в кают-компании со стола, я услыхал, как он завопил от первого ведра.

Волк Ларсен подсчитывал свой выигрыш.

— Ровно сто восемьдесят пять долларов,— произнес

он вслух.— Так я и думал. Бродяга явился на борт без гроша в кармане.

— И то, что вы выиграли, принадлежит мне, сэр,— смело заявил я.

Он удостоил меня насмешливой улыбкой.

— Я ведь тоже изучал когда-то грамматику, Хэмп, и мне кажется, что вы путаете времена глагола. Вы должны были сказать «принадлежало».

— Это вопрос не грамматики, а этики,— возразил я.

— Знаете ли вы, Хэмп,— медленно и серьезно начал он с едва уловимой грустью в голосе,— что я первый раз в жизни слышу слово «этика» из чьих-то уст? Вы и я — единственные люди на этом корабле, знающие смысл этого слова.

В моей жизни была пора,— продолжал он после новой паузы,— когда я мечтал беседовать с людьми, говорящими таким языком, мечтал, что когда-нибудь я поднимусь над той средой, из которой вышел, и буду общаться с людьми, умеющими рассуждать о таких вещах, как этика. И вот теперь я в первый раз услышал это слово. Но это все между прочим. А по существу вы не правы. Это вопрос не грамматики и не этики, а факта.

— Понимаю,— сказал я,— факт тот, что деньги у вас.

Его лицо просветлело. По-видимому, он остался доволен моей сообразительностью.

— Но вы обходите основной вопрос,— продолжал я,— который лежит в области права.

— Вот как! — отозвался он, презрительно скривив губы.— Я вижу, вы все еще верите в такие вещи, как «право» и «бесправие», «добро» и «зло».

— А вы не верите? Совсем?

— Ни на иоту. Сила всегда права. И к этому все сводится. А слабость всегда виновата. Или лучше сказать так: быть сильным — это добро, а быть слабым — зло. И еще лучше даже так: сильным быть приятно потому, что это выгодно, а слабым быть неприятно, так как это невыгодно. Вот, например: владеть этими деньгами приятно. Владеть ими — добро. И потому, имея возможность владеть ими, я буду несправедлив к себе и к жизни во мне, если отдам их вам и откажусь от удовольствия обладать ими.

— Но вы причиняете мне зло, удерживая их у себя,— возразил я.

— Ничего подобного! Человек не может причинить другому зло. Он может причинить зло только себе самому. Я убежден, что поступаю дурно всякий раз, когда соблюдаю чужие интересы. Как вы не понимаете? Могут ли две частицы дрожжей обидеть одна другую при взаимном пожирании? Стремление пожирать и стремление не дать себя пожирать заложено в них природой. Нарушая этот закон, они впадают в грех.

— Так вы не верите в альтруизм? — спросил я.

Слово это, по-видимому, показалось ему знакомым, но заставило задуматься.

— Погодите, это, кажется, что-то относительно содействия друг другу?

— Пожалуй, некоторая связь между этими понятиями существует,— ответил я, не удивляясь пробелу в его словаре, так как своими познаниями он был обязан только чтению и самообразованию. Никто не руководил его занятиями. Он много размышлял, но ему мало приходилось беседовать.— Альтруистическим поступком мы называем такой, который совершается для блага других. Это бескорыстный поступок в противоположность эгоистическому.

Он кивнул головой.

— Так, так! Теперь я припоминаю. Это слово попадалось мне у Спенсера.

— У Спенсера! — воскликнул я.— Неужели вы читали его?

— Читал немного,— отвечал он.— Я, кажется, неплохо разобрался в «Основных началах», но на «Основаниях биологии» мои паруса повисли, а на «Психологии» я и совсем попал в мертвый штиль. Сказать по правде, я не понял, куда он там гнет. Я приписал это своему скудоумию, но теперь знаю, что мне просто не хватало подготовки. У меня не было соответствующего фундамента. Только один Спенсер да я знаем, как я бился над этими книгами. Но из «Показателей этики» я кое-что извлек. Там-то я и встретился с этим самым «альтруизмом» и теперь припоминаю, в каком смысле это было сказано.

«Что мог извлечь этот человек из работ Спенсера?» — подумал я. Достаточно хорошо помня учение

этого философа, я знал, что альтруизм лежит в основе его идеала человеческого поведения. Очевидно, Волк Ларсен брал из его учения то, что отвечало его собственным потребностям и желаниям, отбрасывая все, что казалось ему лишним.

— Что же еще вы там вычитали? — спросил я.

Он сдвинул брови, видимо подбирая слова для выражения своих мыслей, остававшихся до сих пор не высказанными. Я чувствовал себя приподнято. Теперь я старался проникнуть в его душу, подобно тому как он привык проникать в душу других. Я исследовал девственную область. И странное — странное и пугающее — зрелище открывалось моему взору.

— Коротко говоря,— начал он,— Спенсер рассуждает так: прежде всего человек должен заботиться о собственном благе. Поступать так — нравственно и хорошо. Затем, он должен действовать на благо своих детей. И, в-третьих, он должен заботиться о благе человечества.

— Но наивысшим, самым разумным и правильным образом действий,— вставил я,— будет такой, когда человек заботится одновременно и о себе, и о своих детях, и обо всем человечестве.

— Этого я не сказал бы,— отвечал он.— Не вижу в этом ни необходимости, ни здравого смысла. Я исключаю человечество и детей. Ради них я ничем не поступился бы. Это все слюнявые бредни — во всяком случае для того, кто не верит в загробную жизнь,— и вы сами должны это понимать. Верь я в бессмертие, альтруизм был бы для меня выгодным занятием. Я мог бы черт знает как возвысить свою душу. Но, не видя впереди ничего вечного, кроме смерти, и имея в своем распоряжении лишь короткий срок, пока во мне шевелятся и бродят дрожжи, именуемые жизнью, я поступал бы безнравственно, принося какую бы то ни было жертву. Всякая жертва, которая лишила бы меня хоть мига брожения, была бы не только глупа, но и безнравственна по отношению к самому себе. Я не должен терять ничего, обязан как можно лучше использовать свою закваску. Буду ли я приносить жертвы или стану заботиться только о себе в тот отмеренный мне срок, пока я составляю частицу дрожжей и ползаю по земле,—

от того ожидающая меня вечная неподвижность не будет для меня ни легче, ни тяжелее.

— В таком случае вы индивидуалист, материалист и, естественно, гедонист.

— Громкие слова! — улыбнулся он.— Но что такое «гедонист»?

Выслушав мое определение, он одобрительно кивнул головой.

— А кроме того,— продолжал я,— вы такой человек, которому нельзя доверять даже в мелочах, как только к делу примешиваются личные интересы.

— Вот теперь вы начинаете понимать меня,— обрадованно сказал он.

— Так вы человек, совершенно лишенный того, что принято называть моралью?

— Совершенно.

— Человек, которого всегда надо бояться?

— Вот это правильно.

— Бояться, как боятся змеи, тигра или акулы?

— Теперь вы знаете меня,— сказал он.— Знаете меня таким, каким меня знают все. Ведь меня называют Волком.

— Вы — чудовище,— бесстрашно заявил я.— Калибан [1], который размышлял о Сетебосе и поступал, подобно вам, под влиянием минутного каприза.

Он не понял этого сравнения и нахмурился; я увидел, что он, должно быть, не читал этой поэмы.

— Я сейчас как раз читаю Броунинга,— признался Ларсен,— да что-то туго подвигается. Еще недалеко ушел, а уже изрядно запутался.

Ну, короче, я сбегал к нему в каюту за книжкой и прочел ему «Калибана» вслух. Он был восхищен. Этот упрощенный взгляд на вещи и примитивный способ рассуждения был вполне доступен его пониманию. Время от времени он вставлял замечания и критиковал недостатки поэмы. Когда я кончил, он заставил меня пере-

---

[1] Калибан — уродливое человекоподобное существо, персонаж из пьесы Шекспира «Буря», воплощает грубые силы природы, подчиненные человеческому разуму и вынужденные служить ему. Сетебос (в мифологии южноамериканских индейцев) — бог враждебных человеку стихий. Поэма Р. Броунинга «Калибан о Сетебосе, или Натуртеология на острове» — монолог Калибана, бунтующего против всесилия человеческого разума.

честь ему поэму во второй и в третий раз, после чего мы углубились в спор — о философии, науке, эволюции, религии. Его рассуждения отличались неточностью, свойственной самоучке, и безапелляционной прямолинейностью, присущей первобытному уму. Но в самой примитивности его суждений была сила, и его примитивный материализм был куда убедительнее тонких и замысловатых материалистических построений Чарли Фэрасета. Этим я не хочу сказать, что он переубедил меня, закоренелого или, как выражался Фэрасет, «прирожденного» идеалиста. Но Волк Ларсен штурмовал устои моей веры с такой силой, которая невольно внушала уважение, хотя и не могла меня поколебать.

Время шло. Пора было ужинать, а стол еще не был накрыт. Я начал проявлять беспокойство, и когда Томас Магридж, злой и хмурый, как туча, заглянул в кают-компанию, я встал, собираясь приступить к своим обязанностям. Но Волк Ларсен крикнул Магриджу:

— Кок, сегодня тебе придется похлопотать самому, Хэмп нужен мне. Обойдись без него.

И снова произошло нечто неслыханное. В этот вечер я сидел за столом с капитаном и охотниками, а Томас Магридж прислуживал нам, а потом мыл посуду. Это была калибановская прихоть Волка Ларсена, и она сулила мне много неприятностей. Но пока что мы с ним говорили и говорили без конца, к великому неудовольствию охотников, не понимавших ни слова.

Глава девятая

Три дня, три блаженных дня отдыхал я, проводя все свое время в обществе Волка Ларсена. Я ел за столом в кают-компании и только и делал, что беседовал с капитаном о жизни, литературе и законах мироздания. Томас Магридж рвал и метал, но исполнял за меня всю работу.

— Берегись шквала! Больше я тебе ничего не скажу,— предостерег меня Луис, когда мы на полчаса остались с ним вдвоем на палубе. Волк Ларсен улаживал в это время очередную ссору между охотниками.— Никогда нельзя сказать наперед, что может случиться,— продолжал Луис в ответ на мой недоуменный вопрос.—

Старик изменчив, как ветры и морские течения. Никогда не угадаешь, что он может выкинуть. Тебе кажется, что ты уже знаешь его, что ты хорошо с ним ладишь, а он тут-то как раз и повернет, кинется на тебя и разнесет в клочья твои паруса, которые ты поставил в расчете на хорошую погоду.

Поэтому я не был особенно удивлен, когда предсказанный Луисом шквал налетел на меня. Между мной и капитаном произошел горячий спор — о жизни, конечно; и, не в меру расхрабрившись, я начал осуждать самого Волка Ларсена и его поступки. Должен сказать, что я вскрывал и выворачивал наизнанку его душу так же основательно, как он привык проделывать это с другими. Признаюсь, речь моя вообще резка. А тут я отбросил всякую сдержанность, колол и хлестал Ларсена, пока он не рассвирепел. Бронзовое лицо его потемнело от гнева, глаза сверкнули. В них уже не было ни проблеска сознания — ничего, кроме слепой, безумной ярости. Я видел перед собой волка, и притом волка бешеного.

С глухим возгласом, похожим на рев, он прыгнул ко мне и схватил меня за руку. Я собрался с духом и взглянул ему прямо в глаза, хотя меня пробирала дрожь. Но чудовищная сила этого человека сломила мою волю. Он держал меня за руку выше локтя, и, когда он сжал пальцы, я пошатнулся и вскрикнул от боли. Ноги у меня подкосились. Я не в силах был терпеть эту пытку. Мне казалось, что рука моя будет сейчас раздавлена.

Внезапно Ларсен пришел в себя, в глазах его снова засветилось сознание, и он отпустил мою руку с коротким смешком, напоминавшим рычание. Сразу обессилев, я повалился на пол, а он сел, закурил сигару и стал наблюдать за мной, как кошка, стерегущая мышь. Корчась на полу от боли, я уловил в его глазах любопытство, которое не раз уже подмечал в них,— любопытство, удивление и вопрос: к чему все это?

Кое-как встав на ноги, я поднялся по трапу. Пришел конец хорошей погоде, и не оставалось ничего другого, как вернуться в камбуз. Левая рука у меня онемела, словно парализованная, и в течение нескольких дней я почти ею не владел, а скованность и боль чувствовались в ней еще много недель спустя. Между тем

Ларсен просто схватил ее и сжал. Он не ломал и не вывертывал мне руку. Он только стиснул ее пальцами.

Что мне грозило, я понял лишь на другой день, когда он просунул голову в камбуз и, в знак возобновления дружбы, осведомился, не болит ли у меня рука.

— Могло кончиться хуже! — усмехнулся он.

Я чистил картофель. Ларсен взял в руку картофелину. Она была большая, твердая, неочищенная. Он сжал кулак, и жидкая кашица потекла у него между пальцами. Он бросил в чан то, что осталось у него в кулаке, повернулся и ушел. А мне стало ясно, во что превратилась бы моя рука, если бы это чудовище применило всю свою силу.

Однако трехдневный покой как-никак пошел мне на пользу. Колено мое получило, наконец, необходимый отдых, и опухоль заметно спала, а коленная чашечка стала на место. Однако эти три дня отдыха принесли мне и неприятности, которые я предвидел. Томас Магридж явно старался заставить меня расплатиться за полученный отдых сполна. Он злобствовал, бранился на чем свет стоит и взваливал на меня свою работу. Раз даже он замахнулся на меня кулаком. Но я уже и сам озверел и огрызнулся так свирепо, что он струсил и отступил. Мало привлекательную, должно быть, картину представлял я, Хэмфри Ван-Вейден, в эту минуту. Я сидел в углу вонючего камбуза, скорчившись над своей работой, а этот негодяй стоял передо мной и угрожал мне кулаком. Я глядел на него, ощерившись, как собака, сверкая глазами, в которых беспомощность и страх смешивались с мужеством отчаяния. Не нравится мне эта картина. Боюсь, что я был очень похож на затравленную крысу. Но кое-чего я все же достиг — занесенный кулак не опустился на меня.

Томас Магридж попятился. В глазах его светилась такая же ненависть и злоба, как и в моих. Мы были словно два зверя, запертые в одной клетке и злобно скалящие друг на друга зубы. Магридж был трус и боялся ударить меня потому, что я не слишком оробел перед ним. Тогда он придумал другой способ застращать меня. В кухне был всего один более или менее исправный нож. От долгого употребления лезвие его стало узким и тонким. Этот нож имел необычайно зловещий вид, и первое время я всегда с содроганием

брал его в руки. Кок взял у Иогансена оселок и принялся с подчеркнутым рвением точить этот нож, многозначительно поглядывая на меня. Он точил его весь день. Чуть у него выдавалась свободная минутка, он хватал нож и принимался точить его. Лезвие ножа приобрело остроту бритвы. Он пробовал его на пальце и ногтем. Он сбривал волоски у себя с руки, прищурив глаз, глядел вдоль лезвия и снова и снова делал вид, что находит в нем какой-то изъян. И опять доставал оселок и точил, точил, точил... В конце концов меня начал разбирать смех — все это было слишком нелепо.

Но дело могло принять серьезный оборот. Кок и в самом деле готов был пустить этот нож в ход. Я понимал, что он, подобно мне, способен совершить отчаянный поступок, именно в силу своей трусости и вместе с тем вопреки ей.

«Магридж точит нож на Хэмпа»,— переговаривались между собой матросы, а некоторые стали поднимать кока на смех. Он сносил насмешки спокойно и только покачивал головой с таинственным и даже довольным видом, пока бывший юнга Джордж Лич не позволил себе какую-то грубую шутку на его счет.

Надо сказать, что Лич был в числе тех матросов, которые получили приказание окатить Магриджа водой после его игры в карты с капитаном. Очевидно, кок не забыл, с каким рвением исполнил Лич свою задачу. Когда Лич задел кока, тот ответил грубой бранью, прошелся насчет предков матроса и пригрозил ему ножом, отточенным для расправы со мной. Лич не остался в долгу, и, прежде чем мы успели опомниться, его правая рука окрасилась кровью от локтя до кисти. Кок отскочил с сатанинским выражением лица, выставив перед собой нож для защиты. Но Лич отнесся к происшедшему невозмутимо, хотя из его рассеченной руки хлестала кровь.

— Я посчитаюсь с тобой, кок,— сказал он,— и крепко посчитаюсь. Спешить не стану. Я разделаюсь с тобой, когда ты будешь без ножа.

С этими словами он повернулся и ушел. Лицо Магриджа помертвело от страха перед содеянным им и перед неминуемой местью со стороны Лича. Но на меня он с этой минуты озлобился пуще прежнего. Несмотря на весь его страх перед грозившей ему расплатой, он

понимал, что для меня это был наглядный урок, и совсем обнаглел. К тому же при виде пролитой им крови в нем проснулась жажда убийства, граничившая с безумием. Как ни сложны подобные психические переживания, все побуждения этого человека были для меня ясны,— я читал в его душе, как в раскрытой книге.

Шли дни. «Призрак» по-прежнему пенил воду, подгоняемый попутным пассатом, а я наблюдал, как безумие зреет в глазах Томаса Магриджа. Признаюсь, мной овладевал страх, отчаянный страх. Целыми днями кок все точил и точил свой нож. Пробуя пальцем лезвие ножа, он посматривал на меня, и глаза его сверкали, как у хищного зверя. Я боялся повернуться к нему спиной и, пятясь, выходил из камбуза, что чрезвычайно забавляло матросов и охотников, нарочно собиравшихся поглядеть на этот спектакль. Постоянное, невыносимое напряжение измучило меня; порой мне казалось, что рассудок мой мутится. Да и не мудрено было сойти с ума на этом корабле, среди безумных и озверелых людей. Каждый час, каждую минуту моя жизнь подвергалась опасности. Моя душа вечно была в смятении, но на всем судне не нашлось никого, кто выказал бы мне сочувствие и пришел бы на помощь. Порой я подумывал обратиться к заступничеству Волка Ларсена, но мысль о дьявольской усмешке в его глазах, выражавших презрение к жизни, останавливала меня. Временами меня посещала мысль о самоубийстве, и мне понадобилась вся сила моей оптимистической философии, чтобы как-нибудь темной ночью не прыгнуть за борт.

Волк Ларсен несколько раз пытался втянуть меня в спор, но я отделывался лаконическими ответами и старался избегать его. Наконец, он приказал мне снова занять место за столом в кают-компании и предоставить коку исполнять за меня мою работу. Тут я высказал ему все начистоту — рассказал, что пришлось мне вытерпеть от Томаса Магриджа в отместку за те три дня, когда я ходил в фаворитах.

Волк Ларсен посмотрел на меня с усмешкой.

— Так вы боитесь его? — спросил он.

— Да,— честно признался я,— мне страшно.

— Вот и все вы такие,— с досадой воскликнул он,— разводите всякие антимонии насчет ваших бессмертных душ, а сами боитесь умереть! При виде острого

ножа в руках труса вы судорожно цепляетесь за жизнь, и весь этот вздор вылетает у вас из головы. Как же так, милейший, ведь вы будете жить вечно? Вы — бог, а бога нельзя убить. Кок не может причинить вам зла — вы же уверены, что вам предстоит воскреснуть. Чего же вы боитесь?

Ведь перед вами вечная жизнь. Вы же миллионер в смысле бессмертия, притом миллионер, которому не грозит потерять свое состояние, так как оно долговечнее звезд и безгранично, как пространство и время. Вы не можете растратить свой основной капитал. Бессмертие не имеет ни начала, ни конца. Вечность есть вечность, и, умирая здесь, вы будете жить и впредь в другом месте. И как это прекрасно — освобождение от плоти и свободный взлет духа! Кок не может причинить вам зла. Он может только подтолкнуть вас на тот путь, по которому вам суждено идти вечно.

А если у вас нет пока охоты отправляться на небеса, почему бы вам не отправить туда кока? Согласно вашим воззрениям, он тоже миллионер бессмертия. Вы не можете довести его до банкротства. Его акции всегда будут котироваться аль-пари. Убив его, вы не сократите срока его жизни, так как эта жизнь не имеет ни начала, ни конца. Где-то, как-то, но этот человек должен жить вечно. Так отправьте его на небо! Пырните его ножом и выпустите его дух на свободу. Этот дух томится в отвратительной тюрьме, и вы только окажете ему любезность, взломав ее двери. И, кто знает, быть может прекраснейший дух воспарит в лазурь из этой уродливой оболочки. Так всадите в кока нож, и я назначу вас на его место, а ведь он получает сорок пять долларов в месяц!

Нет! От Волка Ларсена не приходилось ждать ни помощи, ни сочувствия! Я мог надеяться только на себя, и отвага отчаяния подсказала мне план действий: я решил бороться с Томасом Магриджем его же оружием и занял у Иогансена точило.

Луис, рулевой одной из шлюпок, как-то просил меня достать ему сгущенного молока и сахару. Кладовая, где хранились эти деликатесы, была расположена под полом кают-компании. Улучив минуту, я стянул пять банок молока и ночью, когда Луис стоял на вахте, выменял у него на это молоко тесак, такой же длинный

и страшный, как кухонный нож Томаса Магриджа. Тесак был заржавленный и тупой, но мы с Луисом привели его в порядок: я вертел точило, а Луис правил лезвие. В эту ночь я спал крепче и спокойнее, чем обычно.

Утром, после завтрака, Томас Магридж опять принялся за свое: чирк, чирк, чирк. Я с опаской глянул на него, так как стоял в это время на коленях, выгребая из плиты золу. Выбросив ее за борт, я вернулся в камбуз; кок разговаривал с Гаррисоном,— открытое, простодушное лицо матроса выражало изумление.

— Да! — рассказывал Магридж.— И что же сделал судья? Засадил меня на два года в Рэдингскую тюрьму. А мне было наплевать, я зато хорошо разукрасил рожу этому подлецу. Посмотрел бы ты на него! Нож был вот такой самый. Вошел, как в масло. А тот как взвоет! Ей-богу, лучше всякого представления! — Кок бросил взгляд в мою сторону, желая убедиться, что я все это слышал, и продолжал: — «Я не хотел тебя обидеть, Томми,— захныкал он,— убей меня бог, если я вру!» — «Я тебя еще мало проучил»,— сказал я и кинулся на него. Я исполосовал ему всю рожу, а он только визжал, как свинья. Раз ухватился рукой за нож — хотел отвести его, а я как дерну — и разрезал ему пальцы до кости. Ну и вид же у него был, доложу я тебе!

Голос помощника прервал этот кровавый рассказ, и Гаррисон отправился на корму, а Магридж уселся на высоком пороге камбуза и снова принялся точить свой нож. Я бросил совок и спокойно расположился на угольном ящике лицом к моему врагу. Он злобно покосился на меня. Сохраняя внешнее спокойствие, хотя сердце отчаянно колотилось у меня в груди, я вытащил тесак Луиса и принялся точить его о камень. Я ожидал какой-нибудь бешеной выходки со стороны кока, но, к моему удивлению, он будто и не замечал, что я делаю. Он точил свой нож, я — свой. Часа два сидели мы так, лицом к лицу, и точили, точили, точили, пока слух об этом не облетел всю шхуну и добрая половина экипажа не столпилась у дверей камбуза полюбоваться таким невиданным зрелищем.

Со всех сторон стали раздаваться подбадривающие возгласы и советы. Даже Джок Хорнер, спокойный и молчаливый охотник, с виду не способный обидеть

и муху, советовал мне пырнуть кока не под ребра, а в живот и применить при этом так называемый «испанский поворот». Лич, выставив напоказ свою перевязанную руку, просил меня оставить ему хоть кусочек кока для расправы, а Волк Ларсен раза два останавливался на краю полуюта и с любопытством поглядывал на то, что он называл брожением жизненной закваски.

Не скрою, что в это время жизнь имела весьма сомнительную ценность в моих глазах. Да, в ней не было ничего привлекательного, ничего божественного — просто два трусливых двуногих существа сидели друг против друга и точили сталь о камень, а кучка других более или менее трусливых существ толпилась кругом и глазела. Я уверен, что половина зрителей с нетерпением ждала, когда мы начнем полосовать друг друга. Это было бы неплохой потехой. И я думаю, что ни один из них не бросился бы нас разнимать, если бы мы схватились не на жизнь, а на смерть.

С другой стороны, во всем этом было много смешного и ребяческого. Чирк, чирк, чирк! Хэмфри Ван-Вейден точит тесак в камбузе и пробует большим пальцем его острие,— можно ли выдумать что-нибудь более невероятное! Никто из знавших меня никогда бы этому не поверил. Ведь меня всю жизнь называли «неженка Ван-Вейден», и то, что «неженка Ван-Вейден» оказался способен на такие вещи, было откровением для Хэмфри Ван-Вейдена, который не знал, радоваться ему или стыдиться.

Однако дело кончилось ничем. Часа через два Томас Магридж отложил в сторону нож и точило и протянул мне руку.

— К чему нам потешать этих скотов? — сказал он.— Они будут только рады, если мы перережем друг другу глотки. Ты не такая уж дрянь, Хэмп! В тебе есть огонек, как говорите вы, янки. Ей-ей, ты неплохой парень. Ну, иди сюда, давай руку!

Каким бы я ни был трусом, он в этом отношении перещеголял меня. Это была явная победа, и я не хотел умалить ее, пожав его мерзкую лапу.

— Ну, ладно,— необидчиво заметил кок,— не хочешь, не надо. Все равно, ты славный парень! — И, чтобы скрыть смущение, он яростно накинулся на зрителей: — Вон отсюда, пошли вон!

Чтобы приказ возымел лучшее действие, кок схватил кастрюлю кипятку, и матросы поспешно отступили. Таким образом Томас Магридж одержал победу, которая смягчила ему тяжесть нанесенного мною поражения. Впрочем, он был достаточно осторожен, чтобы, прогнав матросов, не тронуть охотников.

— Ну, коку пришел конец,— поделился Смок своими соображениями с Хорнером.

— Верно,— отвечал тот.— Теперь Хэмп хозяин в камбузе, а коку придется поджать хвост.

Магридж услыхал это и метнул на меня быстрый взгляд, но я и ухом не повел, будто разговор этот не долетел до моих ушей. Я не считал свою победу окончательной и полной, но решил не уступать ничего из своих завоеваний. Впрочем, пророчество Смока сбылось. Кок с той поры стал держаться со мной даже более заискивающе и подобострастно, чем с самим Волком Ларсеном. А я больше не величал его ни «мистером», ни «сэром», не мыл грязных кастрюль и не чистил картошки. Я исполнял свою работу, и только. И делал ее, как сам находил нужным. Тесак я носил в ножнах у бедра, на манер кортика, а в обращении с Томасом Магриджем придерживался властного, грубого и презрительного тона.

Глава десятая

Моя близость с Волком Ларсеном возрастает — если только слово «близость» применимо к отношениям между господином и слугой или, еще лучше, между королем и шутом... Я для него не более как забава, и ценит он меня не больше, чем ребенок — игрушку. Моя обязанность — развлекать его, и пока ему весело, все идет хорошо. Но стоит только ему соскучиться в моем обществе или впасть в мрачное настроение, как я мигом оказываюсь изгнанным из кают-компании в камбуз, и хорошо еще, что мне удается пока уходить целым и невредимым.

Я начинаю понимать, насколько он одинок. На всей шхуне нет человека, который не боялся бы его и не испытывал бы к нему ненависти. И точно так же нет ни одного, которого бы он в свою очередь не презирал.

Его словно пожирает заключенная в нем неукротимая сила, не находящая себе применения. Таким был бы Люцифер, если бы этот гордый дух был изгнан в мир бездушных призраков, подобных Томлинсону[1].

Такое одиночество тягостно само по себе, у Ларсена же оно усугубляется исконной меланхоличностью его расы. Узнав его, я начал лучше понимать древние скандинавские мифы. Белолицые, светловолосые дикари, создавшие этот ужасный мир богов, были сотканы из той же ткани, что и этот человек. В нем нет ни капли легкомыслия представителей латинской расы. Его смех — порождение свирепого юмора. Но смеется он редко. Чаще он печален. И печаль эта уходит корнями к истокам его расы. Она досталась ему в наследство от предков. Эта задумчивая меланхолия выработала в его народе трезвый ум, привычку к опрятной жизни и фанатическую нравственность, которая у англичан нашла впоследствии свое завершение в пуританизме и в миссис Грэнди[2].

Но в сущности главный выход эта меланхолия находила в религии — в ее наиболее изуверских формах. Однако Волку Ларсену не дано и этого утешения. Оно несовместимо с его грубым материализмом. Поэтому, когда черная тоска одолевает его, она находит исход только в диких выходках. Будь этот человек не так ужасен, я мог бы порой проникнуться жалостью к нему. Так, например, три дня назад, я зашел налить ему воды в графин и застал его в каюте. Он не видел меня. Он сидел, обхватив голову руками, и плечи его судорожно вздрагивали от сдержанных рыданий. Казалось, какое-то острое горе терзает его. Я тихонько вышел, но успел услыхать, как он простонал: «Господи, господи!» Он, конечно, не призывал бога, — это восклицание вырвалось у него бессознательно.

За обедом он спрашивал охотников, нет ли у них чего-нибудь от головной боли, а вечером этот сильный человек, с помутившимся взором, метался из угла в угол по кают-компании.

---

[1] Томлинсон — герой одноименного стихотворения Р. Киплинга.

[2] Миссис Грэнди — персонаж популярной пьесы английского драматурга Мортона (1764—1838) — олицетворение ханжества.

— Я никогда не хворал, Хэмп,— сказал он мне, когда я отвел его в каюту.— Даже головной боли прежде не испытывал, раз только, когда мне раскроили череп вымбовкой и рана начала заживать.

Три дня мучили его эти нестерпимые головные боли, и он страдал безропотно и одиноко, как страдают дикие звери и как, по-видимому, принято страдать на корабле.

Но войдя сегодня утром в его каюту, чтобы прибрать ее, я застал его здоровым и погруженным в работу. Стол и койка были завалены расчетами и чертежами. С циркулем и угольником в руках он наносил на большой лист кальки какой-то чертеж.

— А, Хэмп! — приветствовал он меня.— Я как раз заканчиваю эту штуку. Хотите посмотреть, как получается?

— А что это такое?

— Это приспособление, сберегающее морякам труд и упрощающее кораблевождение до детской игры,— весело отвечал он.— Отныне и ребенок сможет вести корабль. Долой бесконечные вычисления! Даже в туманную ночь достаточно одной звезды в небе, чтобы сразу определить, где вы находитесь. Вот поглядите! Я накладываю эту штуку на карту звездного неба и, совместив полюса, вращаю ее вокруг Северного полюса. На кальке обозначены круги высот и линии пеленгов. Я устанавливаю кальку по звезде и поворачиваю ее, пока она не окажется против цифр, нанесенных на краю карты. И готово! Вот вам точное место корабля!

В его голосе звучало торжество, глаза — голубые в это утро, как море,— искрились.

— Вы, должно быть, сильны в математике,— заметил я.— Где вы учились?

— К сожалению, нигде,— ответил он.— Мне до всего пришлось доходить самому.

— А как вы думаете, для чего я изобрел это? — неожиданно спросил он.— Хотел оставить «след свой на песке времен»? — Он насмешливо расхохотался.— Ничего подобного! Просто хочу взять патент, получить за него деньги и предаваться всякому свинству, пока другие трудятся. Вот моя цель. Кроме того, сама работа над этой штукой доставляла мне радость.

— Радость творчества,— вставил я.

— Вероятно, так это называется. Еще один из способов проявления радости жизни, торжества, движения над материей, живого над мертвым, гордость закваски, чувствующей, что она бродит.

Я всплеснул руками, беспомощно протестуя против его закоренелого материализма, и принялся застилать койку. Он продолжал наносить линии и цифры на чертеж. Это требовало чрезвычайной осторожности и точности, и я поражался, как ему удается умерять свою силищу при исполнении столь тонкой работы.

Кончив заправлять койку, я невольно засмотрелся на него. Он был, несомненно, красив,— настоящей мужской красотой. Снова я с удивлением отметил, что в его лице нет ничего злобного или порочного. Можно было поклясться, что человек этот не способен на зло. Но я боюсь быть превратно понятым. Я хочу сказать только, что это было лицо человека, никогда не идущего вразрез со своей совестью, или же человека, вовсе лишенного совести. И я склоняюсь к последнему предположению. Это был великолепный образчик атавизма — человек настолько примитивный, что в нем как бы воскрес его первобытный предок, живший на земле задолго до развития нравственного начала в людях. Он не был аморален,— к нему было просто неприменимо понятие морали.

Как я уже сказал, его лицо отличалось мужественной красотой. Оно было гладко выбрито, и каждая черта выделялась четко, как у камеи. От солнца и соленой морской воды кожа его потемнела и стала бронзовой, и это придавало его красоте дикарский вид, напоминая о долгой и упорной борьбе со стихиями. Полные губы были очерчены твердо и даже резко, что характерно скорее для тонких губ. В таких же твердых и резких линиях подбородка, носа и скул чувствовалась свирепая неукротимость самца. Нос напоминал орлиный клюв,— в нем было что-то хищное и властное. Его нельзя было назвать греческим — для этого он был слишком массивен, а для римского — слишком тонок. Все лицо в целом производило впечатление свирепости и силы, но тень извечной меланхолии, лежавшая на нем, углубляла складки вокруг рта и морщины на лбу и придавала ему какое-то величие и законченность.

Итак, я поймал себя на том, что стоял и праздно

изучал Ларсена. Трудно передать, как глубоко интересовал меня этот человек. Кто он? Что он за существо? Как сложился этот характер? Казалось, в нем были заложены неисчерпаемые возможности. Почему же оставался он безвестным капитаном какой-то зверобойной шхуны, прославившимся среди охотников только своей необычайной жестокостью?

Мое любопытство прорвалось наружу целым потоком слов.

— Почему вы не совершили ничего значительного? Заложенная в вас сила могла бы поднять такого, как вы, на любую высоту. Лишенный совести и нравственных устоев, вы могли бы положить себе под ноги мир. А я вижу вас здесь, в расцвете сил, которые скоро пойдут на убыль. Вы ведете безвестное и отвратительное существование, охотитесь на морских животных, которые нужны только для удовлетворения тщеславия женщин, погрязших в свинстве, по вашим же собственным словам. Вы ведете жизнь, в которой нет абсолютно ничего высокого. Почему же при всей вашей удивительной силе вы ничего не совершили? Ничто не могло остановить вас или помешать вам. В чем же дело? У вас не было честолюбия? Или вы пали жертвой какого-то соблазна? В чем дело? В чем дело?

Он поднял на меня глаза, когда я заговорил, и спокойно ждал конца моей вспышки. Наконец я умолк, запыхавшийся и смущенный. Помолчав минуту, словно собираясь с мыслями, он сказал:

— Хэмп, знаете ли вы притчу о сеятеле, который вышел на ниву? Ну-ка, припомните: «Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, его обожгло, и, не имея корня, оно засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его».

— Ну, и что же? — сказал я.

— Что же? — насмешливо переспросил он.— Да ничего хорошего. Я был одним из этих семян.

Он наклонился над чертежом и снова принялся за работу. Я закончил уборку и взялся уже за ручку двери, но он вдруг окликнул меня:

— Хэмп, если вы посмотрите на карту западного берега Норвегии, вы найдете там залив, называемый Ром-

сдальфьорд. Я родился в ста милях оттуда. Но я не норвежец. Я датчанин. Мои родители оба были датчане, и я до сих пор не знаю, как они попали в это унылое место на западном берегу Норвегии. Они никогда не говорили об этом. Во всем остальном в их жизни не было никаких тайн. Это были бедные неграмотные люди, и их отцы и деды были такие же простые неграмотные люди, пахари моря, посылавшие своих сыновей из поколения в поколение бороздить волны морские, как повелось с незапамятных времен. Вот и все, больше мне нечего рассказать.

— Нет, не все,— возразил я.— Ваша история все еще темна для меня.

— Что же еще могу я рассказать вам? — сказал он мрачно и со злобой.— О перенесенных в детстве лишениях? О скудной жизни, когда нечего есть, кроме рыбы? О том, как я, едва научившись ползать, выходил с рыбаками в море? О моих братьях, которые один за другим уходили в море и больше не возвращались? О том, как я, не умея ни читать, ни писать, десятилетним юнгою плавал на старых каботажных судах? О грубой пище и еще более грубом обращении, когда пинки и побои с утра и на сон грядущий заменяют слова, а страх, ненависть и боль — единственное, что питает душу? Я не люблю вспоминать об этом! Эти воспоминания и сейчас приводят меня в бешенство. Я мог бы убить кое-кого из этих каботажных шкиперов, когда стал взрослым, да только судьба закинула меня в другие края. Не так давно я побывал там, но, к сожалению, все шкипера поумирали, кроме одного. Он был штурманом, когда я был юнгою, и стал капитаном к тому времени, когда мы встретились вновь. Я оставил его калекой; он никогда уже больше не сможет ходить.

— Вы не посещали школы, а между тем прочли Спенсера и Дарвина. Как же вы научились читать и писать?

— На английских торговых судах. В двенадцать лет я был юнгой, в четырнадцать — юнгой, в шестнадцать — матросом, в семнадцать — старшим матросом и первым забиякой на баке. Беспредельные надежды и беспредельное одиночество, никакой помощи, никакого сочувствия,— я до всего дошел сам: сам учился навигации и математике, естественным наукам и литера-

туре. А к чему все это? Чтобы в расцвете сил, как вы изволили выразиться, когда жизнь моя начинает понемногу клониться к закату, стать хозяином шхуны? Жалкое достижение, не правда ли? И когда солнце встало — меня обожгло, и я засох, так как рос без корней.

— Но история знает рабов, достигших порфиры,— заметил я.

— История отмечает также благоприятные обстоятельства, способствовавшие такому возвышению,— мрачно возразил он.— Никто не создает эти обстоятельства сам. Все великие люди просто умели ловить счастье за хвост. Так было и с Корсиканцем. И я носился с не менее великими мечтами. И не упустил бы благоприятной возможности, но она мне так и не представилась. Терние выросло и задушило меня. Могу вам сказать, Хэмп, что ни одна душа на свете, кроме моего братца, не знает обо мне того, что знаете теперь вы.

— А где ваш брат? Что он делает?

— Он хозяин промыслового парохода «Македония» и охотится на котиков. Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. Его называют Смерть Ларсен.

— Смерть Ларсен? — невольно вырвалось у меня.— Он похож на вас?

— Не очень. Он просто тупая скотина. В нем, как и во мне, много... много...

— Зверского? — подсказал я.

— Вот именно, благодарю вас. В нем не меньше зверского, чем во мне, но он едва умеет читать и писать.

— И никогда не философствует о жизни? — добавил я.

— О нет,— ответил Волк Ларсен с горечью.— И в этом его счастье. Он слишком занят жизнью, чтобы думать о ней. Я сделал ошибку, когда впервые открыл книгу.

Глава одиннадцатая

«Призрак» достиг самой южной точки той дуги, которую он описывает по Тихому океану, и уже начинает забирать к северо-западу, держа курс, как говорят, на какой-то уединенный островок, где мы должны запастись пресной водой, прежде чем направиться бить коти-

ков к берегам Японии. Охотники упражняются в стрельбе из винтовок и дробовиков, а матросы готовят паруса для шлюпок, обивают весла кожей и обматывают уключины плетенкой, чтобы бесшумно подкрадываться к котикам,— вообще «наводят глянец», по выражению Лича.

Рука у Лича, кстати сказать, заживает, но шрам, как видно, останется на всю жизнь. Томас Магридж боится этого парня до смерти и, как стемнеет, не решается носа высунуть на палубу. На баке то и дело вспыхивают ссоры. Луис говорит, что кто-то наушничает капитану на матросов, и двоим доносчикам уже здорово накостыляли шею. Луис боится, что Джонсону, гребцу из одной с ним шлюпки, несдобровать. Джонсон говорит все слишком уж напрямик, и раза два у него уже было столкновение с Волком Ларсеном из-за того, что тот неправильно произносит его фамилию. А Иогансена он как-то вечером изрядно поколотил, и с тех пор помощник не коверкает больше его фамилии. Но смешно думать, чтобы Джонсон мог поколотить Волка Ларсена.

Услышал я от Луиса кое-что и о другом Ларсене, прозванном Смерть. Рассказ Луиса вполне совпадает с краткой характеристикой, данной капитаном своему брату. Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. «Ждите шквала,— предрекает Луис,— они ненавидят друг друга, как настоящие волки».

Смерть Ларсен командует «Македонией», единственным пароходом во всей промысловой флотилии; на пароходе четырнадцать шлюпок, тогда как на шхунах их бывает всего шесть. Поговаривают даже о пушках на борту и о странных экспедициях этого судна, начиная от контрабандного ввоза опиума в Соединенные Штаты и оружия в Китай и кончая торговлей рабами и открытым пиратством. Я не могу не верить Луису,— он как будто не любит привирать, и к тому же этот малый — ходячая энциклопедия по части котикового промысла и всех, кто им занимается.

Такие же стычки, как в матросском кубрике и в камбузе, происходят и в кубрике охотников этого поистине дьявольского корабля. Там тоже драки и все готовы перегрызть друг другу глотку. Охотники ежеминутно ждут, что Смок и Гендерсон, которые до сих пор не уладили своей старой ссоры, сцепятся снова, а Волк Ларсен заявил, что убьет того, кто выйдет живым из этой

схватки. Он не скрывает, что им руководят отнюдь не моральные соображения. Ему совершенно наплевать, хоть бы все охотники перестреляли друг друга, но они нужны ему для дела, и поэтому он обещает им царскую потеху, если они воздержатся от драк до конца промысла: они смогут тогда свести все свои счеты, выбросить трупы за борт и потом придумать какие угодно объяснения гибели этих людей. Мне кажется, что даже охотники изумлены его хладнокровной жестокостью. Несмотря на всю свою свирепость, они все-таки боятся его.

Томас Магридж пресмыкается передо мной, как собачонка, а я, в глубине души, побаиваюсь его. Ему свойственно мужество страха — как это бывает, я хорошо знаю по себе,— и в любую минуту оно может взять в нем верх и заставить его покуситься на мою жизнь. Состояние моего колена заметно улучшилось, хотя временами нога сильно ноет. Онемение в руке, которую сдавил мне Волк Ларсен, понемногу проходит тоже. Вообще же здоровье мое не оставляет желать лучшего. Мускулы увеличились и стали тверже. Вот только руки являют самое жалкое зрелище. У них такой вид, словно их ошпарили кипятком, а ногти все поломаны и черны от грязи, на пальцах — заусеницы, на ладонях — мозоли. Кроме того, у меня появились фурункулы, что я приписываю корабельной пище, так как никогда раньше этим не страдал.

На днях Волк Ларсен позабавил меня: я застал его вечером за чтением библии, которая после бесплодных поисков, уже описанных мною в начале плавания, отыскалась в сундуке покойного помощника. Я недоумевал, чтó Волк Ларсен может в ней для себя найти, и он прочел мне вслух из Экклезиаста. При этом мне казалось, что он не читает, а высказывает собственные мысли, и голос его, гулко и мрачно раздававшийся в каюте, зачаровывал меня и держал в оцепенении. Хоть он и не образован, а читает хорошо. Я как сейчас слышу его меланхолический голос:

«Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия.

И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною...

И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!..

Всему и всем — одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы.

Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим.

Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву.

Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению.

И любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более доли вовеки ни в чем, что делается под солнцем».

— Так-то, Хэмп,— сказал он, заложив пальцем книгу и взглянув на меня.— Мудрец, который царил над народом Израиля в Иерусалиме, мыслил так же, как я. Вы называете меня пессимистом. Разве это не самый черный пессимизм? «Все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!», «Всему и всем — одно» — глупому и умному, чистому и нечистому, грешнику и святому. Эта участь — смерть, и она зло, по его словам. Этот мудрец любил жизнь и, видно, не хотел умирать, если говорил: «... так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». Он предпочитал суету сует тишине и неподвижности могилы. Так же и я. Ползать по земле — это свинство. Но не ползать, быть неподвижным, как прах или камень,— об этом гнусно и подумать. Это противоречит жизни во мне, сама сущность которой есть движение, сила движения, сознание силы движения. Жизнь полна неудовлетворенности, но еще меньше может удовлетворить нас мысль о предстоящей смерти.

— Вам еще хуже, чем Омару Хайаму,—заметил я.— Он по крайней мере после обычных сомнений юности

нашел какое-то удовлетворение и сделал свой материализм источником радости.

— Кто это — Омар Хайам? — спросил Волк Ларсен, и ни в этот день, ни в следующие я уже не работал.

В своем беспорядочном чтении Ларсену не довелось напасть на «Рубайат», и теперь это было для него драгоценной находкой. Большую часть стихов я знал на память и без труда припомнил остальные. Часами обсуждали мы отдельные четверостишия, и он усматривал в них проявления скорбного и мятежного духа, который сам я совершенно не мог уловить. Возможно, что я вносил в мою декламацию несвойственную этим стихам жизнерадостность, а он, обладая прекрасной памятью и запомнив многие строфы при первом же чтении, вкладывал в них страстность и тревогу, убеждавшие слушателя.

Меня интересовало, какое четверостишие понравится ему больше других, и я не был удивлен, когда он остановил свой выбор на том, где отразилось случайное раздражение поэта, шедшее вразрез с его спокойной философией и благодушным взглядом на жизнь:

Влетел вопрос: «Зачем на свете ты?»
За ним другой: «К чему твои мечты?»
О, дайте мне запретного вина —
Забыть назойливость их суеты!

— Замечательно! — воскликнул Волк Ларсен.— Замечательно! Этим сказано все. Назойливость! Он не мог употребить лучшего слова.

Напрасно я отрицал и протестовал. Он подавил меня своими аргументами.

— Жизнь, по своей природе, не может быть иной. Жизнь, предвидя свой конец, всегда восстает. Она не может иначе. Библейский мудрец нашел, что жизнь и дела житейские — суета сует, сплошное зло. Но смерть, прекращение суеты, он находил еще бо́льшим злом. От стиха к стиху он скорбит, оплакивает участь, которая одинаково ожидает всех. Так же смотрит на это и Омар Хайам, и я, и вы, даже вы,— ведь возмутились же вы против смерти, когда кок начал точить на вас нож. Вы боялись умереть. Жизнь внутри вас, которая составляет вас и которая больше вас, не желала умирать. Вы толковали мне об инстинкте бессмертия. А я говорю — об

инстинкте жизни, которая хочет жить, и, когда ей грозит смерть, инстинкт жизни побеждает то, что вы называете инстинктом бессмертия. Он победил и в вас — вы не станете этого отрицать,— победил, когда какой-то сумасшедший кок стал точить на вас нож.

Вы и теперь боитесь кока. И этого вы тоже не станете отрицать. Если я схвачу вас за горло, вот так,— рука его внезапно сжала мне горло, и дыхание мое прервалось,— и начну выжимать из вас жизнь, вот так, вот так! — то ваш инстинкт бессмертия съежится, а инстинкт жизни вспыхнет и вы будете бороться, чтобы спастись. Ну что? Я читаю страх смерти в ваших глазах. Вы бьете руками по воздуху. В борьбе за жизнь вы напрягаете все ваши жалкие силенки. Вы вцепились в мою руку, а для меня это то же самое, как если бы на нее села бабочка. Ваша грудь судорожно вздымается, язык высунулся наружу, лицо побагровело, глаза мутнеют... «Жить! Жить! Жить!» — вопите вы. И вы хотите жить здесь и сейчас, а не потом. Теперь вы уже сомневаетесь в своем бессмертии? Вот как! Вы уже не уверены в нем. Вы не хотите рисковать. Только эта жизнь, в которой вы уверены, реальна. А в глазах у вас все темнеет и темнеет. Это мрак смерти, прекращение бытия, ощущений, дыхания. Он сгущается вокруг, надвигается на вас, стеной вырастает кругом. Ваши глаза остановились, они остекленели. Мой голос доносится к вам слабо, будто издалека. Вы не видите моего лица. И все-таки вы барахтаетесь в моей руке. Вы брыкаетесь. Извиваетесь ужом. Ваша грудь содрогается, вы задыхаетесь. Жить! Жить! Жить!..

Больше я ничего не слышал. Сознание вытеснил мрак, который он так живо описал. Очнулся я на полу. Ларсен курил сигару, задумчиво глядя на меня, с уже знакомым мне огоньком любопытства в глазах.

— Ну что, убедил я вас? — спросил он.— Нате, выпейте вот это. Я хочу спросить вас кое о чем.

Я отрицательно помотал головой, не поднимая ее с пола.

— Ваши доводы слишком... сильны,— с трудом пробормотал я, так как мне было больно говорить.

— Через полчаса все пройдет,— успокоил он меня.— Обещаю в дальнейшем воздерживаться от практических экспериментов. Теперь вставайте. Садитесь на стул.

И так как я был игрушкой в руках этого чудовища, беседа об Омар Хайаме и Экклезиасте возобновилась, и мы засиделись до глубокой ночи.

Глава двенадцатая

Целые сутки на шхуне царила какая-то вакханалия зверства; она вспыхнула сразу от кают-компании до бака, словно эпидемия. Не знаю, с чего и начать. Истинным виновником всего был Волк Ларсен. Отношения между людьми, напряженные, насыщенные враждой, перемежавшиеся непрестанными стычками и ссорами, находились в состоянии неустойчивого равновесия, и злые страсти заполыхали пламенем, как трава в прериях.

Томас Магридж — проныра, шпион, доносчик. Он пытался снова втереться в милость к капитану, наушничая на матросов. Я уверен, что это он передал капитану неосторожные слова Джонсона. Тот взял в корабельной лавке клеенчатую робу. Роба оказалась никуда не годной, и Джонсон не скрывал своего неудовольствия. Корабельные лавки существуют на всех промысловых шхунах — на них матросы могут купить то, что им необходимо в плавании. Стоимость взятого в лавке вычитается впоследствии из заработка на промыслах, так как гребцы и рулевые, наравне с охотниками, получают вместо жалованья известную долю доходов — по числу шкур, добытых той или иной шлюпкой.

Я не слыхал, как Джонсон ворчал по поводу своей неудачной покупки, и все последующее явилось для меня полной неожиданностью. Я только что кончил подметать пол в кают-компании и был вовлечен Волком Ларсеном в разговор о Гамлете, его любимом шекспировском герое, как вдруг по трапу спустился Иогансен в сопровождении Джонсона. Последний, по морскому обычаю, снял шапку и скромно остановился посреди каюты, покачиваясь в такт качке судна и глядя капитану в лицо.

— Закрой дверь на задвижку,— сказал мне Волк Ларсен.

Исполняя приказание, я заметил выражение тревоги в глазах Джонсона, но не понял, в чем дело. Мне и в голову ничего не приходило, пока все это не разыгралось

у меня на глазах. Джонсон же, по-видимому, знал, что ему предстоит, и покорно ждал своей участи. В том, как он держался, я вижу полное опровержение грубого материализма Волка Ларсена. Матроса Джонсона одушевляла идея, принцип, убежденность в своей правоте. Он был прав, он знал, что прав, и не боялся. Он готов был умереть за истину, но остался бы верен себе и не покривил бы душой. Здесь воплотилась победа духа над плотью, неустрашимость и моральное величие души, не знающее преград и в своем бессмертии возвышающееся над временем, пространством и материей уверенно и непобедимо.

Однако вернемся к рассказу. Я заметил тревогу в глазах Джонсона, но принял ее за врожденную робость и смущение. Помощник Иогансен стоял сбоку в нескольких шагах от матроса, а прямо перед Джонсоном, ярдах в трех, восседал на вращающемся каютном стуле сам Волк Ларсен. Когда я запер дверь, наступило молчание, длившееся целую минуту. Его нарушил Волк Ларсен.

— Ионсон,— начал он.

— Меня зовут Джонсон, сэр,— смело поправил матрос.

— Ладно. Пусть будет Джонсон, черт побери! Ты знаешь, зачем я тебя позвал?

— И да и нет, сэр,— последовал неторопливый ответ.— Свою работу я исполняю исправно. Помощник знает это, да и вы знаете, сэр. Тут не может быть жалоб.

— И это все? — спросил Волк Ларсен негромко и вкрадчиво.

— Я знаю, что вы имеете что-то против меня,— с той же тяжеловесной медлительностью продолжал Джонсон.— Я вам не по душе. Вы... Вы...

— Ну, дальше,— подстегнул его Ларсен.— Не бойся задеть мои чувства.

— Я и не боюсь,— возразил матрос, и краска досады проступила сквозь загар на его щеках.— Я покинул родину не так давно, как вы, потому и говорю медленно. А вам я не по душе, потому что уважаю себя. Вот в чем дело, сэр!

— Ты хочешь сказать, что слишком уважаешь себя,

чтобы уважать судовую дисциплину, так, что ли? Тебе понятно, что я говорю?

— Я ведь тоже говорю по-английски и понимаю ваши слова, сэр,— отвечал Джонсон, краснея еще гуще при этом намеке на плохое знание им языка.

— Джонсон,— продолжал Волк Ларсен, считая, повидимому, предисловие оконченным и переходя к делу,— я слышал, ты взял робу и, кажется, не совсем ею доволен?

— Нет, недоволен. Плохая роба, сэр.

— И ты все время кричишь об этом?

— Я говорю то, что думаю, сэр,—смело отвечал матрос, не забывая вместе с тем прибавлять, как положено, «сэр» после каждой фразы.

В этот миг я случайно взглянул на Иогансена. Он то сжимал, то разжимал свои огромные кулачищи и с дьявольской злобой посматривал на Джонсона. Я заметил синяк у него под глазом — это Джонсон разукрасил его на днях. И только тут предчувствие чего-то ужасного закралось мне в душу, но что́ это будет — я не мог себе вообразить.

— Ты знаешь, что ждет того, кто говорит такие вещи про мою лавку и про меня? — спросил Волк Ларсен.

— Знаю, сэр,— последовал ответ.

— А что именно? — вопрос прозвучал резко и повелительно.

— Да то, что́ вы и помощник собираетесь сделать со мной, сэр.

— Погляди на него, Хэмп,— обратился Волк Ларсен ко мне.— Погляди на эту частицу живого праха, на это скопление материи, которое движется и дышит, и осмеливается оскорблять меня, и даже искренно уверено, что оно представляет собой какую-то ценность. Руководствуясь ложными понятиями права и чести, оно готово отстаивать их, невзирая на грозящие ему неприятности. Что ты думаешь о нем, Хэмп? Что ты думаешь о нем?

— Я думаю, что он лучше вас,— ответил я, охваченный бессознательным желанием хоть отчасти отвлечь на себя гнев, готовый обрушиться на голову Джонсона.— Его «ложные понятия», как вы их называете, говорят о его благородстве и мужестве. У вас же нет ни морали, ни иллюзий, ни идеалов. Вы нищий!

Он кивнул головой со свирепым удовольствием.

— Совершенно верно, Хэмп, совершенно верно! У меня нет иллюзий, свидетельствующих о благородстве и мужестве. Живая собака лучше мертвого льва,— говорю я вместе с Экклезиастом. Моя единственная доктрина — это целесообразность. Она помогает выжить. Когда эта частица жизненной закваски, которую мы называем «Джонсон», перестанет быть частицей закваски и обратится в прах и тлен, в ней будет не больше благородства, чем во всяком прахе и в тлене, а я по-прежнему буду жить и бушевать.

Он помолчал и спросил:

— Ты знаешь, что я сейчас сделаю?

Я покачал головой.

— Я использую свою возможность бушевать и покажу тебе, что происходит с благородством. Смотри!

Он находился в трех ярдах от Джонсона, то есть в девяти футах! И он сидел; и одним гигантским прыжком, даже не вставая на ноги, покрыл это расстояние. Он прыгнул, как тигр, и Джонсон, прикрывая одной рукой живот, а другой — голову, напрасно пытался защититься от обрушившейся на него лавины ярости. Волк Ларсен свой первый сокрушительный удар направил прямо в грудь матросу. Дыхание Джонсона внезапно пресеклось, и изо рта у него вырвался хриплый звук, словно он с силой взмахнул топором. Он зашатался и чуть не опрокинулся навзничь.

Не могу передать подробности последовавшей затем гнусной сцены. Это было нечто чудовищное; даже сейчас меня начинает мутить, стоит мне вспомнить об этом. Джонсон мужественно защищался, но где же ему было устоять против Волка Ларсена, а тем более против Волка Ларсена и помощника! Зрелище этой борьбы было ужасно. Я не представлял себе, что человеческое существо может столько вытерпеть и все же продолжать жить и бороться. А Джонсон боролся. У него не было ни малейшей надежды справиться с ними, и он знал это не хуже меня, но он был человек мужественный и не мог сдаться без борьбы.

Я не в состоянии был смотреть на это. Я чувствовал, что схожу с ума, и бросился к трапу, чтобы убежать на палубу. Но Волк Ларсен, оставив на миг свою жертву,

одним могучим прыжком догнал меня и отшвырнул в противоположный угол каюты.

— Это одно из проявлений жизни,— с усмешкой бросил он мне.— Оставайся и наблюдай. Вот тебе случай собрать данные о бессмертии души. Кроме того, ты ведь знаешь, что душе Джонсона мы не можем причинить вреда. Мы можем разрушить только ее бренную оболочку.

Мне казалось, что прошли века, хотя на самом деле избиение продолжалось не дольше десяти минут. Волк Ларсен и помощник смертным боем избивали беднягу. Они молотили его кулаками и пинали своими тяжелыми башмаками, сшибали с ног и поднимали, чтобы повалить снова. Джонсон уже ничего не видел, кровь хлестала у него из ушей, из носа и изо рта, превращая каюту в лавку мясника. Когда он уже не мог подняться, они продолжали избивать лежачего.

— Легче, Иогансен, малый ход! — произнес, наконец, Волк Ларсен.

Но в помощнике проснулся зверь, и он не хотел отпустить своей добычи. Волку Ларсену пришлось оттолкнуть его локтем. От этого, казалось бы, легкого толчка Иогансен отлетел в сторону, как пробка, и голова его с треском ударилась в переборку. Оглушенный, он свалился на пол, тяжело дыша и очумело моргая глазами.

— Отвори дверь, Хэмп,— услышал я приказ.

Я повиновался, и эти звери подняли бесчувственное тело и, словно мешок с тряпьем, поволокли его по узкому трапу на палубу. У штурвала стоял Луис, товарищ Джонсона по шлюпке, и кровь алой струей брызнула ему на сапоги. Но Луис невозмутимо вертел штурвал, не отрывая глаз от компаса.

Совсем иначе повел себя бывший юнга Джордж Лич. Вся шхуна от бака до юта была изумлена его поведением. Он самовольно отправился на корму и перетащил Джонсона на бак, где принялся, как умел, перевязывать его раны и хлопотать около него. Джонсон был изуродован до неузнаваемости. За несколько минут лицо его так посинело и распухло, что потеряло всякий человеческий облик.

Но я хотел рассказать о Личе. К тому времени, как я закончил уборку каюты, Лич уже сделал для Джонсона все, что мог. Я поднялся на палубу, чтобы подышать

свежим воздухом и хоть немного успокоиться. Волк Ларсен курил сигару и осматривал механический лаг, который обычно был опущен за кормой, а теперь для какой-то цели поднят на борт. Вдруг до меня долетел голос Лича — хриплый, дрожащий от сдерживаемой ярости. Я повернулся и увидел, что Лич стоит на палубе перед самым ютом. Лицо его было бледно и перекошено от бешенства, глаза сверкали, он потрясал сжатыми кулаками над головой.

— Пусть господь бог пошлет твою душу в ад, Волк Ларсен! Да и ад еще слишком хорош для тебя! Трус, вот ты кто! Убийца! Свинья! — так поносил матрос Лич капитана.

Я стоял, словно громом пораженный. Я думал, что Лич будет сейчас же убит на месте. Но у Волка Ларсена в эту минуту не было, как видно, охоты убивать его. Он не спеша подошел к краю юта и, прислонившись к углу рубки, с задумчивым любопытством поглядел на взбешенного парня.

А тот бросал капитану в лицо обвинения, каких никто еще не решался ему предъявить. Матросы боязливо жались у бака, прислушиваясь к происходящему. Охотники, балагуря, высыпали на палубу, но я заметил, что веселость слетела с их лиц, когда они услышали выкрики Лича. Даже они были испуганы необычайной смелостью матроса. Казалось невероятным, чтобы кто-нибудь мог бросить Волку Ларсену подобные оскорбления. Должен сказать, что я сам был удивлен и восхищен поступком Лича и видел в нем блестящее доказательство непобедимости бессмертного духа, который выше плоти и ее страха смерти. Этот юноша напомнил мне древних пророков, обличавших людские грехи.

И как он обличал Волка Ларсена! Он обнажал его душу и выставлял напоказ всю ее низость. Он призывал на его голову проклятия бога и небес и делал это с жаром, напоминавшим сцены отлучения от церкви в средние века. В своем гневе он то поднимался до грозных высот, то опускался до грязной площадной брани.

Ярость Лича граничила с безумием. На губах его выступила пена, он задыхался, в горле у него клокотало и временами речь становилась нечленораздельной. А Волк Ларсен все так же холодно и спокойно слушал

его, прислонившись к углу рубки, и, казалось, был охвачен любопытством. Это дикое проявление жизненного брожения, этот буйный мятеж и вызов, брошенный ему движущейся материей, поразили и заинтересовали его.

Каждый миг и я и все присутствующие ждали, что он бросится на молодого матроса и одним ударом прикончит его. Но по какому-то странному капризу он этого не делал. Его сигара потухла, а он все смотрел вниз с безмолвным любопытством.

Лич в своем неистовстве дошел до предела.

— Свинья! Свинья! Свинья! — выкрикивал он, не помня себя.— Почему же ты не сойдешь вниз и не прикончишь меня, убийца? Ты легко можешь сделать это! Никто не остановит тебя! Но я тебя не боюсь! В тысячу раз лучше быть мертвым и избавиться от тебя, чем остаться живым в твоих когтях! Иди же, трус! Убей меня! Убей! Убей!

Как раз в эту минуту грешная душа Томаса Магриджа вытолкнула его на сцену. Он все время слушал, стоя у двери камбуза, но теперь высунулся вперед, как бы для того, чтобы выбросить за борт какие-то очистки, на самом же деле, чтобы не прозевать убийства, которое, по его мнению, неминуемо должно было сейчас произойти. Он заискивающе улыбнулся Волку Ларсену, но тот, казалось, даже не заметил его. Однако это не смутило кока. Он тоже был как бы не в себе; повернувшись к Личу, он крикнул:

— Что ты ругаешься! Постыдился бы!

Бессильная ярость Лича нашла, наконец, себе выход. В первый раз после их стычки кок вышел из камбуза без ножа. И не успели слова слететь с его губ, как кулак Лича сбил его с ног. Трижды поднимался кок на ноги, стараясь удрать в камбуз, и всякий раз молодой матрос одним ударом валил его на палубу.

— Помогите! — завопил Магридж.— Помогите! Помогите! Уберите его! Что вы глядите, уберите его!

Охотники только смеялись с чувством облегчения. Трагедия кончилась, начинался фарс. Матросы осмелели и, ухмыляясь, пододвинулись ближе, чтобы лучше видеть, как исколошматят ненавистного кока. И даже я возликовал в душе. Признаюсь, я испытывал удовлетворение, глядя, как Лич избивает Магриджа, хотя это

было почти столь же ужасное избиение, как то, которое только что, по вине самого Магриджа, выпало на долю Джонсона. Но лицо Волка Ларсена оставалось невозмутимым. Он даже не переменил позы и с тем же любопытством следил за избиением. Казалось, он, несмотря на свой отъявленный прагматизм, наблюдает за игрой и движением жизни в надежде узнать о ней что-нибудь новое, различить в ее безумных корчах что-то ускользавшее до сих пор от его внимания — ключ к тайне жизни, который поможет ему эту тайну раскрыть.

Ну и досталось же коку! Да, это избиение мало чем отличалось от виденного мною в каюте. Магридж напрасно старался спастись от разъяренного матроса. Напрасно пытался он укрыться в каюту. Когда Лич сбивал его с ног, Магридж делал попытки докатиться до нее, добраться до нее ползком, старался падать в сторону каюты, но удар следовал за ударом с непостижимой быстротой. Лич швырял кока, как мяч, пока, наконец, Магридж не растянулся недвижимый на палубе. Но и после этого он еще продолжал получать удары и пинки. Никто не заступился за него. Лич мог бы убить кока, но, очевидно, гнев его иссяк. Он повернулся и ушел, оставив своего врага распростертым на палубе; кок лежал и повизгивал, как щенок.

Но эти два происшествия послужили только прелюдией к другим событиям того же дня. Под вечер произошла стычка между Смоком и Гендерсоном. В кубрике внезапно раздались выстрелы, и остальные четверо охотников выскочили на палубу. Столб густого, едкого дыма — какой всегда бывает от черного пороха — поднялся из открытого люка. Волк Ларсен бросился туда и исчез в этом дыму. До нас долетели звуки ударов. Смок и Гендерсон — оба были ранены, а капитан вдобавок еще избил их за то, что они ослушались его приказа и изувечили друг друга перед началом охоты. Раны оказались серьезными, и, отколотив охотников, Волк Ларсен тут же принялся лечить их, как умел, и делать перевязки. Я помогал ему, когда он зондировал и промывал раны, и оба молодца стоически переносили эту грубую хирургию без всякого наркоза, подкрепляя свои силы только добрым стаканом виски.

Затем во время первой вечерней полувахты поднялась

драка на баке. Причиной ее послужили сплетни и наушничество, из-за которых был избит Джонсон. Шум, доносившийся с бака, и синяки, изукрасившие физиономии матросов, свидетельствовали о том, что одна половина команды изрядно отделала другую.

Вторая вечерняя полувахта ознаменовалась новой дракой — на этот раз между Иогансеном и тощим, похожим на янки охотником Лэтимером. Повод к ней подало замечание Лэтимера, что помощник, дескать, храпит и разговаривает во сне. В результате последний получил изрядную трепку, после чего снова не давал никому спать, без конца переживая во сне все подробности драки.

Меня тоже всю ночь мучили кошмары. Этот день был похож на страшный сон. Одна зверская сцена сменялась другой, разбушевавшиеся страсти и хладнокровная жестокость заставляли людей покушаться на жизнь своих ближних, бить, калечить, уничтожать. Нервы мои были потрясены. Ум возмущался. До этой поры жизнь моя протекала в относительном неведении зверской стороны человеческой природы. Ведь я всегда жил чисто интеллектуальной жизнью. Я сталкивался с жестокостью, но только с жестокостью духовной — с колким сарказмом Чарли Фэрасета, с безжалостными эпиграммами и остротами приятелей по клубу и ядовитыми замечаниями некоторых профессоров в мои студенческие годы.

Вот и все. Но чтобы люди могли вымещать свой гнев на ближних, проливая кровь и калеча друг друга,— это было для меня внове и повергало в ужас. Не напрасно называли меня «неженка Ван-Вейден», думал я и беспокойно ворочался на койке, терзаемый кошмарами. Я поражался своему полному незнанию жизни и горько смеялся над собой; казалось, я уже готов был признать, что отталкивающая философия Волка Ларсена дает более правильное объяснение жизни, чем моя.

Такое направление мыслей испугало меня. Я чувствовал, что окружающее зверство оказывает на меня развращающее влияние, омрачая все, что есть хорошего и светлого на свете. Я отдавал себе отчет в том, что избиение Томаса Магриджа — скверное, злое дело, и тем не менее не мог не ликовать при мысли об этом происшествии. И, сознавая, что я грешу, что такие мысли

чудовищны, я все же захлебывался от бессмысленного злорадства. Я больше не был Хэмфри Ван-Вейденом. Я был Хэмпом, юнгой на шхуне «Призрак». Волк Ларсен был моим капитаном, Томас Магридж и остальные — моими товарищами, и печать, которой они были отмечены, уже начинала проступать и на моей шкуре.

Глава тринадцатая

Три дня я работал и за себя и за Томаса Магриджа и могу с гордостью сказать, что справлялся с делами неплохо. Я знаю, что заслужил одобрение Волка Ларсена, да и матросы были довольны мною во время моего краткого правления в камбузе.

— В первый раз ем чистую пищу, с тех пор как попал на борт,— сказал мне Гаррисон, просунув в дверь камбуза обеденную посуду с бака.— Стряпня Томми почему-то всегда отдавала тухлым жиром, и сдается мне, что он ни разу не сменил рубашки, как отплыл из Фриско.

— Так оно и есть,— подтвердил я.

— Небось и спит в ней? — продолжал Гаррисон.

— Будь уверен,— сказал я.— На нем все та же рубашка, и он ее ни разу не снимал.

Но только три дня дал капитан коку на поправку после нанесенных ему побоев. На четвертый день его стащили с койки за шиворот, и он, хромая и шатаясь от слабости, приступил к исполнению своих обязанностей. Глаза у него так отекли, что он почти ничего не видел. Он хныкал и вздыхал, но Волк Ларсен был неумолим.

— Смотри, чтоб не было помоев! — напутствовал он кока.— И грязи я больше не потерплю! Изволь также иногда менять рубашку, не то я тебя выкупаю. Понял?

Томас Магридж с трудом ковылял по камбузу, и первый же резкий крен «Призрака» чуть не свалил его с ног. Стараясь сохранить равновесие, он хотел схватиться за железные прутья, предохраняющие кастрюли от падения, но промахнулся и оперся рукой о раскаленную плиту. Раздалось шипенье, потянуло запахом горелого мяса, и кок взвыл от боли.

— Господи, господи, вот еще беда-то! — причитал

он, усевшись на угольный ящик и размахивая обожженной рукой.— Что ж это за напасть такая! Прямо тошно становится! И за что мне это? Уж я ли не стараюсь жить со всеми в ладу!

Слезы струились по его опухшим, покрытым кровоподтеками щекам, лицо было перекошено от боли, но сквозь боль проглядывала затаенная злоба.

— Как я ненавижу его! Как ненавижу! — пробормотал он, скрипнув зубами.

— Кого это? — спросил я, но бедняга уже опять начал оплакивать свои невзгоды. Впрочем, угадать, кого он ненавидит, было нетрудно,— труднее было бы предположить, что он кого-нибудь любит. В этом человеке сидел какой-то бес, заставлявший его ненавидеть весь мир. Мне казалось порой, что Магридж ненавидит даже самого себя,— так нелепо и уродливо сложилась его жизнь. В такие минуты во мне пробуждалось горячее сочувствие к нему и становилось стыдно, что я мог радоваться его страданиям и бедам. Жизнь подло обошлась с Томасом Магриджем. Она сыграла с ним скверную штуку, вылепив из него то, чем он был, и не переставала издеваться над ним. Мог ли он быть иным? И, будто в ответ на мои невысказанные мысли, кок прохныкал:

— Мне всегда, всегда не везло. Некому было послать меня в школу, некому было меня покормить или вытереть мне разбитый нос, когда я был мальчонкой! Разве кто-нибудь заботился обо мне? Кто, когда, спрашиваю я?

— Не огорчайся, Томми,— сказал я, успокаивающе кладя ему руку на плечо.— Не унывай! Все наладится. У тебя еще много впереди, ты всего можешь добиться.

— Вранье! Подлое вранье! — заорал он мне в лицо, стряхивая мою руку.— Вранье, сам знаешь. Меня не переделать! Меня уже сделали — из всяких отбросов! Такие рассуждения хороши для тебя, Хэмп. Ты родился джентльменом. Ты никогда не знал, что значит ходить голодным и засыпать в слезах оттого, что голод грызет твое пустое брюхо, точно крыса. Нет, мое дело пропащее. Да если даже я проснусь завтра президентом Соединенных Штатов, разве я отъемся за то время, когда бегал по улицам голодным щенком? Разве это исправишь?

Не в добрый час я родился, вот на мою долю и выпало столько бед, что хватило бы на десятерых. Полжизни я провалялся по больницам. Хворал лихорадкой в Аспинвале, в Гаванне, в Нью-Орлеане. На Барбадосе полгода мучился от цинги и чуть не сдох. В Гонолулу — оспа. В Шанхае — перелом обеих ног. В Уналяске — воспаление легких. Три сломанных ребра во Фриско. А теперь! Взгляни на меня! Взгляни! Ведь опять все ребра переломали! И посмотришь — буду харкать кровью. Кто же мне возместит все это, спрашиваю я? Кто? Бог, что ли? Видно, он здорово невзлюбил меня, когда отправил в плавание по этому проклятому свету!

Это возмущение против судьбы продолжалось больше часа, после чего кок снова принялся за работу, хромая, охая и дыша ненавистью ко всему живущему. Его диагноз оказался правильным, так как время от времени ему становилось дурно, он начинал харкать кровью и очень страдал. Но бог, казалось, и вправду возненавидел его и не хотел прибрать. Мало-помалу кок оправился и стал еще злее прежнего.

Прошло несколько дней, и Джонсон тоже выполз на палубу и кое-как принялся за работу. Но ему было еще далеко до поправки, и я нередко наблюдал украдкой, как он с трудом взбирается по вантам или устало склоняется над штурвалом. А хуже всего было то, что он совсем пал духом. Он пресмыкался перед Волком Ларсеном и перед помощником. Вот Лич — тот держался совсем иначе. Расхаживал по палубе, как молодой тигр, и не скрывал своей ненависти к капитану и к Иогансену.

— Я еще разделаюсь с тобой, косолапый швед! — услышал я как-то ночью на палубе его слова, обращенные к помощнику.

Иогансен выбранился в темноте, и в тот же миг что-то с силой ударилось о переборку камбуза. Снова послышалась ругань, потом насмешливый хохот, а когда все стихло, я вышел на палубу и увидел тяжелый нож, вонзившийся в переборку на целый дюйм. Почти тут же появился помощник и принялся искать нож, но я уже завладел им и тайком вернул его Личу на следующее утро. Матрос только осклабился при этом, но в его улыбке было больше искренней благодарности,

чем в многословных излияниях, присущих представителям моего класса.

В противоположность остальным членам команды, я теперь ни с кем не был в ссоре, более того — отлично ладил со всеми. Охотники относились ко мне, должно быть, со снисходительным презрением, но во всяком случае не враждебно. Смок и Гендерсон, которые понемногу залечивали свои раны и целыми днями качались в подвесных койках под тентом, уверяли, что я ухаживаю за ними лучше всякой сиделки и что они не забудут меня в конце плавания, когда получат расчет. (Как будто мне нужны были их деньги! Я мог купить их со всеми их пожитками, мог купить всю шхуну, даже двадцать таких шхун!) Но на меня выпала задача ухаживать за ними, перевязывать их раны, и я делал все, что мог.

У Волка Ларсена снова был приступ головной боли, длившийся два дня. Должно быть, он жестоко страдал, так как позвал меня и подчинялся моим указаниям, как больной ребенок. Но ничто не помогает ему. По моему совету, он бросил курить и пить. Мне казалось просто невероятным, что это великолепное животное может страдать такими головными болями.

— Это божья кара, уверяю вас,— высказался по этому поводу Луис.— Кара за его черные дела. И это еще не все, иначе...

— Иначе что? — спросил я.

— Иначе бог, видать, только грозится, а дела не делает. Эх, вот слетит с языка...

Нет, зря я сказал, что нахожусь в добрых отношениях со всеми. Томас Магридж не только по-прежнему ненавидит меня, но даже нашел для своей ненависти новый повод. Я долго не понимал, в чем дело, но, наконец догадался: он не мог простить мне, что я родился «джентльменом», как он выражается, то есть под более счастливой звездой, нежели он.

— А покойников что-то не видать! — поддразнил я Луиса, когда Смок и Гендерсон, дружески беседуя, прогуливались рядом по палубе в первый раз после выздоровления.

Луис поднял на меня хитрые серые глазки и зловеще покачал головой.

— Шквал налетит, говорю вам, и тогда берите все

рифы и держитесь крепче. Я чую, давно чую — быть буре. Я ее вижу — вот как такелаж над головой в темную ночь. Она уже близко, близко!

— И кто же будет первой жертвой? — спросил я.

— Только не старый толстый Луис, за это я поручусь,— рассмеялся он.— Я чую нутром, что через год буду глядеть в глаза моей старой матушке; ведь она заждалась своих сыновей — все пятеро ушли в море.

— Что он говорил тебе? — спросил меня потом Томас Магридж.

— Что он когда-нибудь съездит домой повидаться с матерью,— осторожно отвечал я.

— У меня никогда не было матери,— заявил кок, уставив на меня унылый взгляд своих тусклых, бесцветных глаз.

Глава четырнадцатая

Я думаю о том, что никогда не умел по-настоящему ценить женское общество, хотя почти всю свою жизнь провел в окружении женщин. Я жил с матерью и сестрами и всегда старался освободиться от их опеки. Они доводили меня до отчаяния своими заботами о моем здоровье и вторжениями в мою комнату, где неизменно нарушали тот систематизированный хаос, который был предметом моей гордости и в котором я отлично разбирался, и учиняли еще больший, с моей точки зрения, хаос, хотя комната и приобретала более опрятный вид. После их ухода я никогда ничего не мог найти. Но, увы, как рад был бы я теперь ощутить возле себя их присутствие, услышать шелест их юбок, который так докучал мне подчас! Я уверен, что никогда не буду ссориться с ними, если только мне удастся попасть домой. Пусть с утра до ночи пичкают меня, чем хотят, пусть весь день вытирают пыль в моем кабинете и подметают пол — я буду спокойно взирать на все это и благодарить судьбу за то, что у меня есть мать и сестры.

Подобные воспоминания заставляют меня задуматься о другом. Где матери всех этих людей, плавающих на «Призраке»? И противоестественно и нездорово, что все эти мужчины совершенно оторваны от женщин и одни скитаются по белу свету. Грубость и дикость толь-

ко неизбежный результат этого. Всем этим людям следовало бы тоже иметь жен, сестер, дочерей. Тогда они были бы мягче, человечнее, были бы способны на сочувствие. А ведь никто из них даже не женат. Годами никому из них не приходится испытывать на себе влияния хорошей женщины, ее смягчающего воздействия. Жизнь их однобока. Их мужественность, в которой есть нечто животное, чрезмерно развилась в них за счет духовной стороны, притупившейся, почти атрофированной.

Это компания холостых мужчин. Жизнь их протекает в грубых стычках, от которых они еще более черствеют. Порой мне просто не верится, что их породили на свет женщины. Кажется, что это какая-то полузвериная, получеловеческая порода, особый вид живых существ, не имеющих пола, что они вылупились, как черепахи, из согретых солнцем яиц или получили жизнь каким-нибудь другим необычным способом. Дни они проводят среди грубости и зла и в конце концов умирают столь же скверно, как и жили.

Под влиянием таких мыслей я разговорился вчера вечером с Иогансеном. Это была первая неофициальная беседа, которой он удостоил меня с начала путешествия. Иогансен покинул Швецию, когда ему было восемнадцать лет; теперь ему тридцать восемь, и за все это время он ни разу не был дома. Года два назад в Чили он встретил в каком-то портовом трактире земляка и узнал от него, что его мать еще жива.

— Верно, уж порядком состарилась теперь,— сказал он, задумчиво глянув на компас и тотчас метнул колючий взгляд на Гаррисона, отклонившегося на один румб от курса.

— Когда вы в последний раз писали ей?

Он принялся высчитывать вслух.

— В восемьдесят первом... нет, в восемьдесят втором, кажется. Или в восемьдесят третьем? Да, в восемьдесят третьем. Десять лет назад. Из какого-то маленького порта на Мадагаскаре. Я служил тогда на торговом судне. Видишь ты,— продолжал он, будто обращаясь через океан к своей забытой матери,— ведь каждый год собирался домой. Так стоило ли писать? Через год, думаю, попаду. Да всякий раз что-нибудь мешало. Теперь вот стал помощником, так дело пойдет

по-другому. Как получу расчет во Фриско — может, набежит долларов пятьсот,— так наймусь на какое-нибудь парусное судно, махну вокруг мыса Горн в Ливерпуль и зашибу еще. А оттуда уж поеду домой на свои денежки. Вот тогда моей старушке не придется больше работать!

— Неужто она еще работает? Сколько же ей лет?

— Под семьдесят,— отвечал он. И добавил хвастливо: — У нас на родине работают с рождения и до самой смерти, поэтому мы и живем так долго. Я дотяну до ста.

Никогда не забуду я этого разговора. То были последние слова, которые я от него слышал, и, быть может, вообще последние его слова.

В тот вечер, спустившись в каюту, я решил, что там слишком душно спать. Ночь была тихая. Мы вышли из полосы пассатов, и «Призрак» еле полз вперед, со скоростью не больше одного узла. Захватив под мышку подушку и одеяло, я поднялся на палубу.

Проходя мимо Гаррисона, я взглянул на компас, установленный на палубе рубки, и заметил, что на этот раз рулевой отклонился от курса на целых три румба. Думая, что он заснул, и желая спасти его от взбучки, а то и от чего-нибудь похуже, я заговорил с ним. Но он не спал, глаза его были широко раскрыты и устремлены вдаль. Казалось, он был так чем-то взволнован, что не мог ответить мне.

— В чем дело? — спросил я.— Ты болен?

Он покачал головой и глубоко вздохнул, словно пробуждаясь от сна.

— Так держи курс получше,— посоветовал я.

Он перехватил ручки штурвала; стрелка компаса медленно поползла к северо-западу и установилась там после нескольких отклонений.

Я уже собрался пойти дальше и поднял свои вещи, как вдруг что-то необычное за бортом привлекло мое внимание. Чья-то жилистая мокрая рука ухватилась за планшир. Потом из темноты появилась другая. Я смотрел разинув рот. Что это за гость из морской глубины? Кто бы это ни был, я знал, что он взбирается на борт, держась за лаглинь. Появилась голова с мокрыми взъерошенными волосами, и я увидел лицо Волка Ларсена. Его правая щека была в крови, струившейся из ра-

ны на голове. Сильным рывком он перекинул тело через фальшборт и, очутившись на палубе, метнул быстрый взгляд на рулевого, словно проверяя, кто стоит у штурвала и не грозит ли с этой стороны опасность. Вода ручьями стекала с его одежды, и я бессознательно прислушивался к ее журчанию. Когда он двинулся ко мне, я невольно отступил,— я отчетливо прочел слово смерть в его взгляде.

— Стой, Хэмп,— тихо сказал он.— Где помощник?

Я с недоумением покачал головой.

— Иогансен! — негромко позвал капитан.— Иогансен! Где помощник? — спросил он у Гаррисона.

Молодой матрос уже успел прийти в себя и довольно спокойно ответил:

— Не знаю, сэр. Недавно он прошел на бак.

— Я тоже шел на бак, но ты, верно, заметил, что вернулся я с противоположной стороны. Как это могло получиться, а?

— Вы, верно, были за бортом, сэр.

— Посмотреть — нет ли его в кубрике, сэр? — предложил я.

Ларсен покачал головой.

— Ты не найдешь его там, Хэмп. Идем, ты мне нужен! Оставь вещи здесь.

Я последовал за ним. На палубе было тихо.

— Проклятые охотники,— проворчал он.— Так разленились, что не могут выстоять четыре часа на вахте!

На полубаке мы нашли трех спящих матросов. Капитан перевернул их на спину и заглянул им в лицо. Они несли вахту на палубе, а по корабельным правилам все, за исключением старшего вахтенного, рулевого и сигнальщика, в хорошую погоду имели право спать.

— Кто сигнальщик? — спросил капитан.

— Я, сэр,— с легкой дрожью в голосе ответил Холиок, один из старых матросов.— Я только на минуту задремал, сэр. Простите, сэр! Больше этого не будет.

— Ты ничего не заметил на палубе?

— Нет, сэр, я...

Но Волк Ларсен уже отвернулся, презрительно буркнув что-то, и оставил матроса с раскрытым ртом,— кто мог думать, что он так дешево отделается!

— Тише теперь,— шепотом предупредил меня Волк Ларсен, спускаясь по трапу в кубрик.

С бьющимся сердцем я последовал за ним. Я не знал, что нас ожидает, как не знал и того, что уже произошло. Но я видел, что была пролита кровь. И уж, конечно, не по своей воле Волк Ларсен очутился за бортом. Странно было и отсутствие Иогансена.

Я впервые спускался в матросский кубрик и не скоро забуду то зрелище, которое предстало предо мной, когда я остановился внизу у трапа. Кубрик занимал треугольное помещение на самом носу шхуны и был не больше обыкновенной дешевой каморки на Граб-стрит[1]. Вдоль трех его стен в два яруса тянулись койки. Их было двенадцать. Двенадцать человек ютились в этой тесноте — и спали и ели здесь. Моя спальня дома была невелика, но все же она могла вместить дюжину таких кубриков, а если принять во внимание высоту потолка, то и все двадцать.

Тут пахло плесенью и чем-то кислым, и при свете качающейся лампы я разглядел переборки, сплошь увешанные морскими сапогами, клеенчатой одеждой и всевозможным тряпьем — чистым и грязным вперемешку. Все это раскачивалось взад и вперед с шуршащим звуком, напоминавшим стук веток о стену дома или о крышу. Время от времени какой-нибудь сапог глухо ударялся о переборку. И хотя море было тихое, балки и доски скрипели неумолчным хором, а из-под настила неслись какие-то странные звуки.

Все это нисколько не мешало спящим. Их было восемь человек — две свободные от вахты смены,— и спертый воздух был согрет их дыханием; слышались вздохи, храп, невнятное бормотанье — звуки, сопровождавшие сон этих людей, спящих в своей берлоге. Но в самом ли деле все они спали? И давно ли? Вот что, по-видимому, интересовало Волка Ларсена. И, чтобы разрешить свои сомнения, он прибег к приему, напомнившему мне одну из новелл Боккаччо.

Ларсен вынул лампу из ее качающейся оправы и подал мне. Свой обход он начал с первой койки по правому борту. Наверху лежал канак[2], красавец-матрос, которого товарищи называли Уфти-Уфти. Он спал, ле-

---

[1] Граб-стрит — улица в Лондоне, где жили бедные литераторы.

[2] Канак — гаваец или полинезиец.

жа на спине, и дышал тихо, как женщина. Одну руку он подложил под голову, другая покоилась поверх одеяла. Волк Ларсен взял его за руку и начал считать пульс. Это разбудило матроса. Он проснулся так же спокойно, как спал, и даже не пошевельнулся при этом. Он только широко открыл свои огромные черные глаза и, не мигая, уставился на нас. Волк Ларсен приложил палец к губам, требуя молчания, и глаза снова закрылись.

На нижней койке лежал Луис, толстый, распаренный. Он спал непритворным, тяжелым сном. Когда Волк Ларсен взял его за руку, он беспокойно заерзал и вдруг изогнулся так, что тело его какую-то секунду опиралось только на плечи и пятки. Губы его зашевелились, и он изрек следующую загадочную фразу:

— Кварта — шиллинг. Но гляди в оба, не то трактирщик мигом всучит тебе трехпенсовую за твои шесть пенсов.

Затем он повернулся набок и с тяжелым вздохом произнес:

— Шесть пенсов — «теннер», а шиллинг — «боб». А вот что такое «пони» [1] — я не знаю.

Удостоверившись, что Луис и канак не прикидываются спящими, Волк Ларсен перешел к следующим двум койкам по правому борту, занятым — как мы увидели, осветив их лампой,— Личем и Джонсоном.

Когда капитан нагнулся над нижней койкой, чтобы прощупать пульс Джонсону, я, стоя с лампой в руках, заметил, что Лич на верхней койке приподнял голову и осторожно глянул вниз. Должно быть, он разгадал хитрость капитана и понял, что сейчас будет уличен, так как лампа внезапно была выбита у меня из рук, и кубрик погрузился в темноту. В тот же миг Лич спрыгнул вниз, прямо на Волка Ларсена.

Звуки, доносившиеся из мрака, напоминали схватку волка с быком. Ларсен взревел, как разъяренный зверь, и Лич зарычал тоже. От этих звуков кровь стыла в жилах. Джонсон, должно быть, тотчас вмешался в драку. Я понял, что его униженное поведение все последние дни было лишь хорошо обдуманным притворством.

---

[1] «Пони» — простонародное название кредитного билета в двадцать пять фунтов стерлингов.

Эта схватка в темноте казалась столь ужасной, что я, весь дрожа, прислонился к трапу, не в силах сдвинуться с места. Я снова испытал знакомое сосущее ощущение под ложечкой, всегда появлявшееся у меня при виде физического насилия. Правда, в этот миг я ничего не мог видеть, но до меня долетали звуки ударов и глухой стук сталкивающихся тел. Койки трещали, слышно было тяжелое дыхание, короткие возгласы боли.

Должно быть, в покушении на жизнь капитана и помощника участвовало несколько человек, так как по возросшему шуму я догадался, что Лич и Джонсон уже получили подкрепление со стороны своих товарищей.

— Эй, кто-нибудь, дайте нож! — кричал Лич.

— Двинь его по башке! Вышиби из него мозги! — орал Джонсон.

Но Волк Ларсен больше не издал ни звука. Он молча и свирепо боролся за свою жизнь. Ему приходилось туго. Сразу же сбитый с ног, он не смог подняться, и мне казалось, что, несмотря на его чудовищную силу, положение его безнадежно. О ярости этой борьбы я получил весьма наглядное представление, так как сам был сбит с ног сцепившимися телами и, падая, сильно ушибся. Однако среди общей свалки мне как-то удалось заползти на одну из нижних коек и таким образом убраться с дороги.

— Все сюда! Мы держим его! Попался! — слышал я выкрики Лича.

— Кого? — спрашивал кто-то, разбуженный шумом, не понимая, что происходит.

— Кровопийцу-помощника! — хитро отвечал Лич, с трудом выговаривая слова.

Его сообщение было встречено восторженными возгласами, и с этой минуты Волку Ларсену пришлось отбиваться от семерых дюжих матросов, наседавших на него. Луис, я полагаю, не принимал участия в драке. Кубрик гудел, как потревоженный улей.

— Эй, вы, что там у вас такое? — донесся с палубы крик Лэтимера. Он был слишком осторожен, чтобы спуститься в этот ад кипевших во мраке страстей.

— У кого есть нож? Дайте нож! — снова услышал я голос Лича, когда шум на мгновение затих.

Многочисленность нападавших повредила им. Они мешали друг другу, а у Волка Ларсена была только

одна цель — пробраться ползком к трапу,— и он в конце концов достиг своего. Несмотря на полный мрак, я следил за его передвижением — по звукам. И только такой силач мог сделать то, что сделал он, когда дополз все же до трапа. Хватаясь за ступеньки руками, он мало-помалу выпрямился во весь рост и начал взбираться вверх, невзирая на то, что целая куча людей старалась стащить его вниз.

Конец этой сцены я не только слышал, но и видел, так как Лэтимер принес фонарь и осветил им люк. Волк Ларсен — его едва можно было разглядеть под уцепившимися за него матросами — уже почти добрался до верха трапа. Этот клубок сплетенных тел напоминал огромного многолапого паука и раскачивался взад и вперед в такт ритмичной качке шхуны. И медленно, с большими остановками, вся эта копошащаяся масса тел неуклонно ползла кверху. Раз она дрогнула, застыла на месте и чуть не покатилась вниз, но равновесие восстановилось, и она снова поползла по трапу.

— Что тут такое? — крикнул Лэтимер.

При свете фонаря я увидел его склоненное над люком испуганное лицо.

— Это я, Ларсен,— донесся приглушенный голос.

Лэтимер протянул руку. Снизу быстро высунулась рука Ларсена. Лэтимер схватил ее и стал тянуть кверху, и следующие две ступеньки были пройдены быстро. Показалась другая рука Ларсена и ухватилась за комингс люка. Клубок тел отделился от трапа, но матросы все еще цеплялись за своего ускользавшего врага. Однако один за другим они начали скатываться вниз. Ларсен сбрасывал их, ударяя о закраину люка, пиная ногами. Последним был Лич,— он свалился с самого верха вниз головой прямо на своих товарищей. Волк Ларсен и фонарь исчезли, и мы остались в темноте.

Глава пятнадцатая

Со стонами, с ругательствами матросы стали подниматься на ноги.

— Зажгите лампу, я вывихнул большой палец,— крикнул Парсонс, смуглый, мрачный парень, рулевой из шлюпки Стэндиша, где Гаррисон был гребцом.

— Лампа где-то тут, на полу,— сказал Лич, опускаясь на край койки, на которой притаился я.

Послышался шорох, чирканье спички, потом тускло вспыхнула коптящая лампа, и при ее неверном свете босоногие матросы принялись обследовать свои ушибы и раны. Уфти-Уфти завладел пальцем Парсонса, сильно дернул его и вправил сустав. В то же время я заметил, что у самого канака суставы пальцев разбиты в кровь. Он показывал их всем, скаля свои великолепные белые зубы, и хвалился, что своротил скулу Волку Ларсену.

— Так это ты, черное пугало, постарался? — воинственно вскричал Келли, американец ирландского происхождения, бывший грузчик, первый раз выходивший в море и состоявший гребцом при Керфуте.

Он выплюнул выбитые зубы и с перекошенным от бешенства лицом двинулся на Уфти-Уфти. Канак отпрыгнул к своей койке и выхватил длинный нож.

— А, брось! Надоело! — вмешался Лич. Очевидно, при всей своей молодости и неопытности он был коноводом в кубрике.— Ступай прочь, Келли, оставь Уфти в покое! Как, черт подери, мог он узнать тебя в темноте?

Келли нехотя повиновался, а Уфти-Уфти благодарно сверкнул своими белыми зубами. Он был красив. В линиях его фигуры была какая-то женственная мягкость, а большие глаза смотрели мечтательно, что странно противоречило его репутации драчуна и забияки.

— Как ему удалось уйти? — спросил Джонсон.

Все еще тяжело дыша, он сидел на краю своей койки; вся его фигура выражала крайнее разочарование и уныние. Во время борьбы с него сорвали рубашку; кровь из раны на щеке капала на обнаженную грудь и красной струйкой стекала на пол.

— Удалось, потому что он дьявол. Я ведь говорил вам,— отозвался Лич, вскочив с койки; в глазах у него блеснули слезы отчаяния.— И ни у кого из вас вовремя не нашлось ножа! — простонал он.

Но никто не слушал его; в матросах уже проснулся страх перед ожидавшей их карой.

— А как он узнает, кто с ним дрался? — спросил Келли и, свирепо оглянувшись кругом, добавил:—Если, конечно, никто не донесет.

— Да стоит ему только поглядеть на нас...— пробормотал Парсонс.— Взглянет хоть на тебя, и все!.

— Скажи ему, что палуба встала дыбом и дала тебе по зубам,— усмехнулся Луис.

Он один не слезал во время драки с койки и торжествовал, что у него нет ни ран, ни синяков — никаких следов участия в ночном побоище.

— Ну и достанется вам завтра, когда Волк увидит ваши рожи! — хмыкнул он.

— Скажем, что приняли его за помощника,— пробормотал кто-то.

А другой добавил:

— А я скажу, что услышал шум, соскочил с койки и сразу же получил по морде за любопытство. Ну и понятно, не остался в долгу. А кто там был — я и не разобрал в этой темнотище.

— И съездил мне в зубы! — дополнил Келли и даже просиял на миг.

Лич и Джонсон не принимали участия в этом разговоре, и было ясно, что товарищи смотрят на них, как на обреченных. Лич некоторе время молчал, но, наконец, его взорвало.

— Тошно слушать! Слюнтяи! Если бы вы поменьше мололи языком да побольше работали руками, ему бы уже была крышка. Почему ни один из вас не дал мне ножа, когда я просил? Черт бы вас побрал! И чего вы нюни распустили — убьет он вас, что ли? Сами знаете, что не убьет. Он не может себе этого позволить. Здесь нет корабельных агентов, чтобы подыскать других бродяг на ваше место. Кто без вас будет грести, и править на шлюпках, и работать на его чертовой шхуне? А теперь нам с Джонсоном придется расплачиваться за все. Ну, лезьте на койки и заткнитесь. Я хочу спать.

— Что верно, то верно! — отозвался Парсонс.— Убить он нас, пожалуй, не убьет. Но уж житья нам теперь тоже не будет на этой шхуне!

А я все это время с тревогой думал о своем собственном незавидном положении. Что произойдет, когда они заметят меня? Мне-то не пробиться наверх, как Волку Ларсену. И в эту минуту Лэтимер крикнул с палубы:

— Хэмп! Капитан зовет!

— Его здесь нет! — отозвался Парсонс.

— Нет, я здесь! — крикнул я, спрыгивая с койки и стараясь придать своему голосу твердость.

Матросы ошеломленно уставились на меня. Я читал на их лицах страх. Страх и злобу, порождаемую страхом.

— Иду! — крикнул я Лэтимеру.

— Нет, врешь! — заорал Келли, становясь между мной и трапом и пытаясь схватить меня за горло.— Ах ты подлая гадина! Я тебе заткну глотку!

— Пусти его! — приказал Лич.

— Черта с два! — последовал сердитый ответ.

Лич, сидевший на краю койки, даже не шевельнулся.

— Пусти его, говорю я! — повторил он, но на этот раз голос его прозвучал решительно и жестко.

Ирландец колебался. Я шагнул к нему, и он отступил в сторону. Дойдя до трапа, я повернулся и обвел глазами круг свирепых и озлобленных лиц, глядевших на меня из полумрака. Внезапно глубокое сочувствие пробудилось во мне. Я вспомнил слова кока. Как бог должен ненавидеть их, если обрекает на такие муки!

— Будьте покойны, я ничего не видел и не слышал,— негромко произнес я.

— Говорю вам, он не выдаст,— услышал я, поднимаясь по трапу, голос Лича.— Он любит капитана не больше, чем мы с вами.

Я нашел Волка Ларсена в его каюте. Обнаженный, весь в крови, он ждал меня и приветствовал обычной иронической усмешкой:

— Приступайте к работе, доктор! По-видимому, в этом плавании вам предстоит обширная практика. Не знаю, как «Призрак» обошелся бы без вас. Будь я способен на столь благородные чувства, я бы сказал, что его хозяин глубоко вам признателен.

Я уже был хорошо знаком с нашей нехитрой судовой аптечкой и, пока кипятилась на печке вода, стал приготовлять все нужное для перевязок. Ларсен тем временем, смеясь и болтая, расхаживал по каюте и хладнокровно рассматривал свои раны. Я впервые увидел его обнаженным и был поражен. Культ тела никогда не был моей слабостью, но я обладал все же достаточным художественным чутьем, чтобы оценить великолепие этого тела.

Должен признаться, что я был зачарован совершенством этих линий, этой, я бы сказал, свирепой красотой. Я видел матросов на баке. Многие из них поражали своими могучими мускулами, но у всех имелся какой-нибудь недостаток: одна часть тела была слишком сильно развита, другая слишком слабо, или же какое-нибудь искривление нарушало симметрию; у одних были слишком длинные ноги, у других — слишком короткие; одних портила излишняя жилистость, других — костлявость. Только Уфти-Уфти отличался безупречным сложением, однако в красоте его было что-то женственное.

Но Волк Ларсен являлся воплощением мужественности и сложен был почти как бог. Когда он ходил или поднимал руки, мощные мускулы напрягались и играли под атласной кожей. Я забыл сказать, что бронзовым загаром были покрыты только его лицо и шея. Кожа у него была белой, как у женщины, что напомнило мне о его скандинавском происхождении. Когда он поднял руку, чтобы пощупать рану на голове, бицепсы, как живые, заходили под этим белым покровом. Эти самые бицепсы на моих глазах наносили столько страшных ударов и не так давно чуть не отправили меня на тот свет. Я не мог оторвать от Ларсена глаз и стоял, как пригвожденный к месту. Бинт выпал у меня из рук и, разматываясь, покатился по полу.

Капитан заметил, что я смотрю на него.

— Бог хорошо слепил вас,— сказал я.

— Вы находите? — отозвался он.— Я сам так считаю и часто думаю, к чему это?

— Предназначение...— начал было я.

— Приспособленность! — прервал он меня.— Все в этом теле приспособлено для дела. Эти мускулы созданы для того, чтобы хватать и рвать, уничтожать все живое, что станет на моем пути. Но подумали ли вы о других живых существах? У них тоже как-никак есть мускулы, также предназначенные для того, чтобы хватать, рвать, уничтожать. И когда они становятся на моем жизненном пути, я хватаю лучше их, рву лучше, уничтожаю лучше. В чем же тут предназначение? Приспособленность — больше ничего.

— Это некрасиво,— возразил я.

— Вы хотите сказать, что жизнь некрасива?—улыб-

нулся он.— Однако вы говорите, что я неплохо сложен. А теперь поглядите.

Он широко расставил ноги, будто прирос к полу, вцепившись в него пальцами, как когтями. Узлы, клубки, бугры мускулов забегали под кожей.

— Пощупайте! — приказал он.

Мускулы были тверды, как сталь, и я заметил, что все тело у него подобралось и напряглось. Мускулы мягко округлились на бедрах, на спине, вдоль плеч. Он слегка приподнял руки, мышцы сократились, пальцы согнулись, напоминая когти. Даже глаза изменили выражение — в них появилась настороженность, расчет и хищный огонек.

— Устойчивость, равновесие,— сказал он и, вмиг расслабив мышцы, принял более спокойную позу.— Ноги для того, чтобы упираться в землю, а руки, зубы и ногти, чтобы бороться и убивать, стараясь не быть убитым. Предназначение? Приспособленность — самое верное слово.

Я не спорил. Передо мной был организм хищника, первобытного хищника, и это произвело на меня столь сильное впечатление, как если бы я увидел машины огромного броненосца или трансатлантического парохода.

Вспоминая жестокую схватку в кубрике, я дивился тому, как это Ларсену удалось так легко отделаться. Могу не без гордости сказать, что перевязку я, кажется, сделал ему неплохо. Впрочем, серьезных повреждений было немного, остальное — просто кровоподтеки и ссадины. Первый полученный им удар, тот, от которого он упал за борт, рассек ему кожу на голове. Эту рану — длиной в несколько дюймов — я, по его указаниям, промыл и зашил, предварительно выбрив вокруг нее волосы. Помимо этого, одна икра у него была разодрана, словно ее искусал бульдог. Ларсен объяснил мне, что какой-то матрос вцепился в нее зубами еще в начале схватки, да так и висел на ней. Лишь на верху трапа Ларсену удалось стряхнуть его с себя.

— Кстати, Хэмп, я заметил, что вы толковый малый,—сказал Волк Ларсен, когда я кончил перевязки.— Как вы знаете, я остался без помощника. Отныне вы будете стоять на вахте, получать семьдесят пять

долларов в месяц, и всем будет приказано называть вас «мистер Ван-Вейден».

— Но я же ничего не смыслю в навигации,— изумился я.

— Этого и не требуется.

— И я вовсе не стремлюсь к такому высокому посту,— продолжал я протестовать.— Жизнь моя и в теперешнем моем скромном положении достаточно подвержена всяким превратностям, к тому же у меня нет никакого опыта. Посредственность, знаете ли, тоже имеет свои преимущества.

Но он только улыбнулся, словно вопрос уже был решен.

— Да не хочу я быть помощником на этом дьявольском корабле! — с возмущением вскричал я.

Его лицо сразу стало жестким, глаза холодно блеснули. Он подошел к двери каюты и сказал:

— Ну, мистер Ван-Вейден, доброй ночи!

— Доброй ночи, мистер Ларсен,— чуть слышно пробормотал я.

Глава шестнадцатая

Не могу сказать, чтобы положение помощника было мне хоть сколько-нибудь приятно, хотя я и избавился от мытья посуды. Я не знал самых элементарных обязанностей штурмана, и мне пришлось бы туго, не будь матросы расположены ко мне. Я ничего не смыслил в оснастке судна и не понимал, как надо ставить паруса. Но матросы старались подучить меня, и особенно хорошим учителем оказался Луис. Столкновений с моими подчиненными у меня не было.

Другое дело — охотники. Все они были более или менее знакомы с морем и смотрели на мое назначение, как на шутку. Мне и самому было смешно, что я, сухопутная крыса, исполнял обязанности помощника, однако быть посмешищем в глазах других мне вовсе не хотелось. Я не жаловался, но Волк Ларсен сам требовал по отношению ко мне соблюдения самого строгого морского этикета, чего никогда не удостаивался бедный Иогансен. Ценою неоднократных стычек и угроз он привел недовольных охотников к повиновению. От носа

до кормы меня титуловали «мистер Ван-Вейден», и только в неофициальных беседах Волк Ларсен называл меня Хэмпом.

Это было забавно. Иной раз, пока мы обедали, ветер менял направление на несколько румбов, и когда я вставал из-за стола, капитан говорил: «Мистер Ван-Вейден, будьте добры лечь на левый галс». Я выходил на палубу, подзывал Луиса и спрашивал у него, что нужно делать. Через несколько минут, усвоив его указания и уяснив себе сущность маневра, я начинал отдавать распоряжения. Помнится, однажды Волк Ларсен появился на палубе как раз в ту минуту, когда я отдавал команду. Он остановился с сигарой в зубах и принялся спокойно наблюдать за выполнением маневра. Затем поднялся ко мне на ют.

— Хэмп,— сказал он.— Виноват, мистер Ван-Вейден. Поздравляю вас! Сдается мне, что отцовские ноги вам теперь больше не понадобятся. Вы, кажется, уже научились стоять на своих собственных. Немного практики в такелажных работах и с парусами, небольшой шторм, и к концу плавания вы сумеете наняться на любую каботажную шхуну.

В этот период моего плавания на «Призраке» — после смерти Иогансена и вплоть до прибытия к месту охоты — я чувствовал себя не так уж плохо. Волк Ларсен был ко мне не слишком строг, матросы мне помогали, и я был избавлен от неприятного общества Томаса Магриджа. Должен признаться, что мало-помалу я начал даже втайне гордиться собой. Как ни фантастично было мое положение — я, сухопутная крыса, занял вдруг второе по рангу место на судне,— однако справлялся я с делом неплохо. И я был доволен собой и даже полюбил плавное покачивание под ногами палубы «Призрака», который все так же держал курс от тропиков на северо-запад — к тому островку, где нам предстояло пополнить запас пресной воды.

Но это было лишь время сравнительного благополучия. Такие же муки, какие я испытал вначале, ждали меня и впереди. А для команды, особенно для матросов, «Призрак» по-прежнему оставался ужасным, сатанинским кораблем. Никто не знал на нем ни минуты покоя. Волк Ларсен не простил матросам покушения на его жизнь и трепки, которую они задали ему в кубри-

ке. И днем и ночью он всячески старался отравить им существование.

Он хорошо понимал психологическое значение мелочей и умел мелкими придирками доводить матросов до исступления. Я видел, как он поднял Гаррисона с койки, чтобы тот убрал валявшуюся не на месте малярную кисть. Но и этого ему показалось мало, и он разбудил еще всех подвахтенных и велел им пойти за Гаррисоном и поглядеть, как он будет это делать. Это был, конечно, пустяк, но его изобретательный ум придумывал их тысячи, и легко можно себе представить, какое настроение царило на баке.

Понятно, что команда роптала, и отдельные столкновения повторялись снова и снова. Капитан продолжал избивать матросов и ежедневно двое-трое из них врачевали, как могли, нанесенные им увечья. Однако на решительное выступление они не отваживались, так как в кубрике у охотников и в кают-компании хранился большой запас оружия. Больше всего доставалось от Волка Ларсена Личу и Джонсону — на них он вымещал свою дьявольскую злобу, и глубокая тоска, которую я читал в глазах Джонсона, заставляла сжиматься мое сердце.

Лич относился к своему положению иначе. Он был затравлен, но не сдавался. Он весь горел неукротимой яростью, не оставлявшей места для скорби. На его губах застыла злобная усмешка, и при виде Волка Ларсена с них всякий раз — как видно, бессознательно — срывалось угрожающее ворчание. Он следил глазами за капитаном, как зверь следит из клетки за своим стражем, и злоба, клокотавшая в его груди, рвалась наружу сквозь стиснутые зубы.

Помню, как однажды на палубе я средь бела дня тронул его за плечо, собираясь отдать какое-то приказание. Он стоял ко мне спиной и, когда моя рука коснулась его, отпрянул с диким возгласом. Он принял меня за ненавистного ему человека.

Лич и Джонсон убили бы Волка Ларсена при первой возможности, только она им никогда не представлялась,— Волк Ларсен был слишком хитер. К тому же у них не было сподручного оружия. На одни кулаки им никак не приходилось рассчитывать. Время от времени капитан показывал свою силу Личу, и тот всегда

давал сдачи и кидался на него, как дикая кошка, пуская в ход и зубы, и ногти, и кулаки, но в конце концов всякий раз падал на палубу без сил и часто даже без сознания. И все же он никогда не старался избежать схватки. Дьявол, сидевший в нем, бросал вызов дьяволу в Волке Ларсене. Стоило им только столкнуться на палубе, и поднималась драка. Мне случалось видеть, как Лич кидался на Волка Ларсена без всякого предупреждения или внешнего повода. Однажды он метнул в капитана тяжелый кортик и промахнулся всего на какой-нибудь дюйм, а еще как-то уронил на него с салинга стальную свайку. Не простая это была задача — попасть в цель при качке, с высоты семидесяти пяти футов, но острие инструмента, просвистав в воздухе, мелькнуло почти у самой головы Волка Ларсена, когда тот показался из люка, и вонзилось на целых два дюйма в толстые доски палубы. В другой раз Лич пробрался в кубрик охотников, завладел чьим-то заряженным дробовиком и уже хотел выскочить с ним на палубу, но тут его перехватил и обезоружил Керфут.

Я часто задавал себе вопрос, почему Волк Ларсен не убьет Лича и не положит этому конец. Но он только смеялся и, казалось, наслаждался опасностью. В этой игре была для него особая прелесть; быть может, он чувствовал себя в роли укротителя диких зверей.

— Жизнь получает особую остроту,— объяснял он мне,— когда висит на волоске. Человек по природе игрок, а жизнь — самая крупная его ставка. Чем больше риск, тем острее ощущение. Зачем мне отказывать себе в удовольствии доводить Лича до белого каления? Этим я ему же оказываю услугу. Мы оба испытываем весьма сильные ощущения. Его жизнь богаче, чем у любого матроса на баке, хотя он этого и не сознает. Он имеет то, чего нет у них,— цель, поглощающую его: он стремится убить меня и не теряет надежды, что это ему удастся. Право, Хэмп, он живет полной, насыщенной жизнью. Я сомневаюсь, чтобы когда-либо его жизнь протекала так напряженно и остро, и порой искренно завидую ему, когда вижу его на вершине страсти и исступления.

— Но ведь это низость! Низость! — воскликнул я.— Все преимущества на вашей стороне.

— Кто из нас двоих, вы или я, более, низок? — на-

хмурившись, спросил он.— Попадая в неприятное положение, вы вступаете в компромисс с вашей совестью. Если бы вы действительно были на высоте и оставались верны себе, вы должны были бы объединиться с Личем и Джонсоном. Но вы боитесь, боитесь! Вы хотите жить. Жизнь в вас кричит, что она хочет жить, чего бы это ни стоило. Вы влачите презренное существование, изменяете вашим идеалам, грешите против своей жалкой морали и, если есть ад, прямым путем ведете туда свою душу. Я выбрал себе более достойную роль. Я не грешу, так как остаюсь верен велениям жизни во мне. Я по крайней мере не поступаю против совести, чего вы не можете сказать о себе.

В том, что он говорил, была неприятная правда. Быть может, я и в самом деле праздновал труса. Чем больше я размышлял об этом, тем яснее сознавал, что мой долг перед самим собой — сделать то, к чему Ларсен подстрекает меня, то есть примкнуть к Джонсону и Личу и вместе с ними постараться убить его. В этом, мне кажется, сказалось наследие моих суровых предков пуритан, оправдывавших даже убийство, если оно совершается для благой цели. Я не мог отделаться от этих мыслей. Освободить мир от такого чудовища казалось мне актом высшей морали. Человечество станет от этого только лучше и счастливее, а жизнь чище и приятнее.

Я раздумывал об этом, ворочаясь на своей койке в долгие бессонные ночи, и снова и снова перебирал в уме все события. Во время ночных вахт, когда Волк Ларсен был внизу, я беседовал с Джонсоном и Личем. Оба они потеряли всякую надежду: Джонсон — по мрачному складу своего характера, а Лич — потому, что истощил силы в тщетной борьбе. Однажды он взволнованно схватил мою руку и сказал:

— Вы честный человек, мистер Ван-Вейден! Но оставайтесь на своем месте и помалкивайте. Наша песенка спета, я знаю. И все-таки в трудную минуту вы, может, сумеете помочь нам.

На следующий день, когда на траверзе у нас с наветренной стороны вырос остров Уэнрайт, Волк Ларсен изрек пророческие слова. Он только что поколотил Джонсона, а заодно и Лича, который пришел товарищу на подмогу.

— Лич,— сказал он,— ты знаешь, что я когда-нибудь убью тебя?

Матрос в ответ только зарычал.

— А тебе, Джонсон, так в конце концов осточертеет жизнь, что ты сам бросишься за борт, не ожидая, чтобы я тебя прикончил. Помяни мое слово!

— Это — внушение,— добавил он, обращаясь ко мне.— Держу пари на ваше месячное жалованье, что он так и сделает.

Я питал надежду, что его жертвы найдут случай бежать, когда мы будем наполнять водой бочонки, но Волк Ларсен хорошо выбрал место, где бросить якорь. «Призрак» лег в дрейф в полумиле за линией прибоя, окаймлявшей пустынный берег. Здесь открывалось глубокое ущелье, окруженное отвесными скалами вулканического происхождения, по которым невозможно было вскарабкаться наверх. И здесь, под непосредственным наблюдением самого капитана, съехавшего на берег, Лич и Джонсон наполняли пресной водой бочонки и скатывали их к берегу. Удрать на шлюпке у них не было никакой возможности.

Но Гаррисон и Келли сделали такую попытку. На их обязанности лежало курсировать на своей шлюпке между шхуной и берегом, перевозя каждый раз по одному бочонку. Перед самым обедом, двинувшись с пустым бочонком к берегу, они внезапно изменили курс и отклонились влево, стремясь обогнуть мыс, далеко выступавший в море и отделявший их от свободы. Там, за белыми пенистыми бурунами, раскинулись живописные деревушки японских колонистов и приветливые долины, уходящие в глубь острова. Если бы матросам удалось скрыться туда, Волк Ларсен был бы им уже не страшен.

Однако Гендерсон и Смок все утро бродили по палубе, и теперь я понял — с какой целью. Достав винтовки, они неторопливо открыли огонь по беглецам. Это была хладнокровная демонстрация меткой стрельбы. Сначала их пули, не нанося вреда, шлепались в воду по обеим сторонам шлюпки. Но матросы продолжали грести изо всех сил, и тогда пули начали ложиться все ближе и ближе.

— Смотрите, сейчас я прострелю правое весло Келли,— сказал Смок и прицелился более тщательно.

Я увидел в бинокль, как лопасть весла разлетелась в щепы. Гендерсон проделал то же самое с правым веслом Гаррисона. Шлюпку завертело на месте. Два остальные весла быстро подверглись той же участи. Матросы пытались грести обломками, но и те были выбиты у них из рук. Тогда Келли оторвал доску от дна шлюпки и начал было грести этой доской, но тут же выронил ее, вскрикнув от боли,— пуля расщепила доску, и заноза вонзилась ему в руку. Тогда беглецы покорились своей доле, и шлюпку носило по волнам, пока вторая шлюпка, посланная Волком Ларсеном, не взяла ее на буксир и не доставила беглецов на борт.

К вечеру мы снялись с якоря. Теперь нам предстояло целых три или четыре месяца охотиться на котиков. Мрачная перспектива, и я с тяжелым сердцем занимался своим делом. На «Призраке» царило похоронное настроение. Волк Ларсен валялся на койке — у него опять был один из этих странных мучительных приступов головной боли. Гаррисон с унылым видом стоял у штурвала, навалившись на него всем телом, словно ноги не держали его. Остальные хранили угрюмое молчание. Я наткнулся на Келли: он сидел с подветренной стороны у люка матросского кубрика в позе безысходного отчаяния, уронив голову в колени и охватив ее руками.

Джонсон растянулся на самом носу и следил, как пенятся волны у форштевня. Я с ужасом вспомнил пророчество Волка Ларсена, и у меня мелькнула мысль, что его внушение начинает действовать. Мне захотелось отвлечь Джонсона от его дум, и я окликнул его, но он только грустно улыбнулся мне и не тронулся с места.

На корме ко мне подошел Лич.

— Я хочу попросить вас кое о чем, мистер Ван-Вейден,— сказал он.— Если вам повезет и вы вернетесь во Фриско, не откажите разыскать Матта Мак-Карти. Это мой старик. Он сапожник, живет на горе, за пекарней Мэйфера. Его там все знают, и вам не трудно будет его найти. Скажите старику, что я не хотел огорчать его и жалею о том, что я наделал, и... и скажите ему еще так от меня: «Да хранит тебя бог».

Я кивнул и прибавил:

— Мы все вернемся в Сан-Франциско, Лич, и я вместе с вами пойду повидать Матта Мак-Карти.

— Хорошо, кабы так,— ответил он, пожимая мне

руку.— Да не верю я в это. Волк Ларсен прикончит меня, я знаю. Да пусть бы уж поскорее.

Он ушел, а я почувствовал, что и сам желаю того же. Пусть неизбежное случится поскорее. Общая подавленность передалась и мне. Гибель казалась неотвратимой. И, час за часом шагая по палубе, я чувствовал все отчетливее, что начинаю поддаваться отвратительным идеям Волка Ларсена. К чему ведет все на свете? Где величие жизни, раз она допускает такое разрушение человеческих душ по какому-то бессмысленному капризу? Жизнь — дешевая и скверная штука, и чем скорее придет ей конец, тем лучше. Покончить с ней, и баста! По примеру Джонсона я перегнулся через борт и не отрывал глаз от моря, испытывая глубокую уверенность в том, что рано или поздно буду опускаться вниз, вниз, вниз, в холодные зеленые пучины забвения.

Глава семнадцатая

Как ни странно, но, несмотря на мрачные предчувствия, овладевшие всеми, на «Призраке» пока никаких особенных событий еще не произошло. Мы плыли на северо-запад, пока не достигли берегов Японии и не наткнулись на большое стадо котиков. Явившись сюда откуда-то из безграничных просторов Тихого океана, они совершали свое ежегодное переселение на север, к лежбищам у берегов Берингова моря. Повернули за ними к северу и мы, свирепствуя и истребляя, бросая ободранные туши акулам и засаливая шкуры, которые впоследствии должны были украсить прелестные плечи горожанок.

Это было безжалостное избиение, совершавшееся во славу женщин. Мяса и жира никто не ел. После дня успешной охоты наши палубы были завалены тушами и шкурами, скользкими от жира и крови, и в шпигаты стекали алые ручейки. Мачты, снасти и борты — все было забрызгано кровью. А люди с обнаженными окровавленными руками, словно мясники, усердно работали ножами, сдирая шкуры с убитых ими красивых морских животных.

На моей обязанности лежало считать шкуры, поступившие на борт со шлюпок, и наблюдать за тем, как ве-

дется свежеванье и последующая уборка палуб. Невеселое занятие! Все во мне возмущалось против него. Но вместе с тем мне еще никогда не приходилось распоряжаться столькими людьми, и это развивало мои довольно слабые административные способности. Я чувствовал, что становлюсь тверже и решительнее, и это не могло не пойти на пользу «неженке Ван-Вейдену».

Я начинал понимать, что мне никогда уже не стать прежним Хэмфри Ван-Вейденом. Хотя моя вера в человека и в жизнь все еще противилась разрушительной критике Волка Ларсена, кое в чем он все же успел сильно повлиять на меня. Он открыл мне реальный мир, с которым я практически не был знаком, так как всегда стоял от него в стороне. Теперь я научился ближе присматриваться к окружающему, спустился из мира отвлеченностей в мир фактов.

С тех пор как началась охота, мне больше чем когда-либо приходилось проводить время в обществе Волка Ларсена. Когда погода бывала хороша и мы оказывались посреди стада, весь экипаж был занят в шлюпках, а на борту оставались только мы с ним да Томас Магридж, который в счет не шел. Впрочем, мы тоже не сидели без дела. Шесть шлюпок веером расходились от шхуны, пока расстояние между первой наветренной и последней подветренной шлюпками не достигало десяти, а то и двадцати миль. Потом они плыли прямым курсом, и только ночь или плохая погода загоняли их обратно. Мы же должны были направлять «Призрак» в подветренную сторону, к крайней шлюпке, для того чтобы остальные могли с попутным ветром подойти к нам в случае шквала или угрозы шторма.

Нелегкая это задача для двух человек, особенно при свежем ветре,— справляться с таким судном, как «Призрак»: управлять рулем, следить, за шлюпками, ставить или убирать паруса. Я должен был овладеть всем этим, и овладеть быстро. Управление рулем далось мне легко. Но взбираться наверх на салинг и подтягиваться на руках, когда нужно было лезть еще выше, уже без выбленок, оказалось потруднее. Однако я скоро научился и этому, так как чувствовал какое-то необъяснимое желание поднять себя в глазах Волка Ларсена, доказать свое право на жизнь, и доказать не путем одних только рассуждений. И настало время, когда мне даже доставляло

радость взбираться на самую верхушку мачты и, охватив ее ногами, осматривать с этой жуткой высоты море в бинокль, ища шлюпки.

Помню, как в один ясный тихий день охотники выехали спозаранку и звуки выстрелов постепенно удалялись и замерли: шлюпки рассеялись по безграничному простору океана. С запада тянул чуть приметный ветерок. Мы едва успели выполнить наш обычный маневр в подветренную сторону, как ветер упал совсем. С верхушки мачты я следил за шлюпками: все шесть, одна за другой, исчезли за горизонтом, преследуя плывших на запад котиков. Мы стояли, чуть покачиваясь на водной глади. Ларсен начал беспокоиться. Барометр упал, и небо на востоке не предвещало ничего хорошего. Ларсен неотступно всматривался вдаль.

— Если нагрянет оттуда,— сказал он,— и отнесет нас от шлюпок, много коек опустеет в обоих кубриках.

К одиннадцати часам море стало гладким, как зеркало. К полудню жара сделалась невыносимой, хотя мы находились уже довольно далеко в северных широтах. В воздухе — ни малейшего дуновения. Душная, гнетущая атмосфера; в Калифорнии в таких случаях говорят: «Как перед землетрясением». Во всем этом было что-то зловещее, и возникло ощущение приближающейся опасности. Понемногу все небо на востоке затянуло тучами; они надвигались на нас, словно чудовищные черные горы, и так ясно можно было различить в них ущелья, пещеры и пропасти, где сгустились черные тени, что глаз невольно искал там белую линию прибоя, с ревом бьющего о берег. А шхуна все так же плавно покачивалась на мертвой зыби, и ветра не было.

— Это не шквал,— сказал Волк Ларсен.— Природа собирается встать на дыбы, и когда буря заревет во всю глотку, придется нам поплясать. Боюсь, Хэмп, что мы не увидим половины наших шлюпок. Полезайте-ка наверх и отдайте топселя!

— Но что же мы будем делать, если в самом деле «заревет»? Ведь нас только двое! — ответил я с нотой протеста в голосе.

— Мы должны воспользоваться первыми порывами ветра и добраться до наших шлюпок прежде, чем у нас сорвет паруса. А там будь что будет. Мачты выдержат,

и нам с вами тоже придется выдержать, хотя будет не сладко!

Штиль продолжался. Мы пообедали на скорую руку. Меня тревожила судьба восемнадцати человек, скрывавшихся где-то за горизонтом, в то время как на нас медленно надвигались черные громады туч. Но Волка Ларсена это, по-видимому, не особенно беспокоило, хотя, когда мы вышли на палубу, я заметил, что у него слегка раздуваются ноздри и движения стали быстрее. Лицо его было сурово и жестко, но глаза — ясно-голубые в тот день — как-то особенно поблескивали. Меня поразило, что Ларсен был весел — свирепо весел, словно он радовался предстоящей борьбе, ликовал в предвкушении великой минуты, когда стихии обрушатся на него.

Не заметив меня, он презрительно и, должно быть, бессознательно расхохотался, словно бросая вызов приближающемуся шторму. И сейчас еще вижу я, как он стоял, словно пигмей из «Тысячи и одной ночи» перед исполинским злым гением. Да, он бросал вызов судьбе и ничего не боялся.

Потом он прошел в камбуз.

— Кок, ты можешь понадобиться на палубе. Когда покончишь со своими кастрюлями и сковородками, будь наготове — тебя позовут!

— Хэмп,— сказал он, заметив, что я смотрю на него во все глаза,— это получше виски, хотя ваш Омар Хайам этого и не понимал. В конце концов он не так уж умел пользоваться жизнью!

Теперь и западная половина неба нахмурилась. Солнце померкло и скрылось во мгле. Было два часа дня, а вокруг нас сгустился призрачный полумрак, прорезываемый беглыми багровыми лучами. В том призрачном свете лицо Волка Ларсена пылало, и моему растревоженному воображению мерещилось как бы некое сияние вокруг его головы. Стояла необычайная, сверхъестественная тишина, и в то же время все вокруг предвещало приближение шума и движения. Духота и зной становились невыносимы. Пот выступил у меня на лбу, и я почувствовал, как он каплями стекает по лицу. Мне казалось, что я теряю сознание, и я ухватился за поручни.

В эту минуту пронесся еле заметный вздох ветерка. Будто легкий шепот, прилетел он с востока и растаял.

Нависшие паруса не шелохнулись, но лицо мое ощутило это дуновение, как приятную свежесть.

— Кок,— негромко позвал Волк Ларсен.

Показалось жалкое, все в шрамах, лицо Томаса Магриджа.

— Отдай тали фока-гика и переложи гик. Когда фок начнет наполняться, потрави шкот и опять заложи тали. Если напутаешь, это будет последней ошибкой в твоей жизни. Понял?

— Мистер Ван-Вейден, будьте готовы перенести передние паруса. Потом поставьте топселя — и как можно скорее; чем быстрее вы это сделаете, тем легче вам будет справиться с ними. Если кок замешкается, дайте ему в зубы.

Я почувствовал в этих словах скрытую похвалу и был доволен, что отданное мне приказание не сопровождалось угрозой. Нос шхуны был обращен к северо-западу, и капитан хотел сделать поворот фордевинд при первом же порыве ветра.

— Ветер будет дуть нам в корму,— объяснил он мне.— Судя по последним выстрелам, шлюпки отклонились немного к югу.

Он повернулся и пошел к штурвалу. Я же направился на бак и занял свое место у кливеров. Снова и снова пронеслось дыхание ветерка. Паруса лениво заполоскали.

— Наше счастье, что буря налетела не сразу, мистер Ван-Вейден! — возбужденно крикнул мне кок.

Я тоже был этому рад, так как знал уже достаточно, чтобы понимать, какое несчастье грозило нам — ведь все паруса были поставлены. Ветер дул сильными порывами, паруса наполнились, и «Призрак» двинулся вперед. Волк Ларсен круто положил руля под ветер, и мы пошли быстрее. Теперь ветер дул нам прямо в корму; он завывал все громче, и передние паруса оглушительно хлопали. Я не мог видеть, что делается на остальной палубе, но почувствовал, как шхуна внезапно накренилась, когда фок и грот наполнились ветром. Я возился с кливером, бом-кливером и стакселем, и когда справился, наконец, со своей задачей, «Призрак» уже мчался на юго-запад под всеми парусами, вынесенными на правый борт. Не успев перевести дух, с бешено бьющимся сердцем, я бросился к топселям и успел вовремя убрать

их. Затем отправился на корму за новыми приказаниями.

Волк Ларсен одобрительно кивнул и передал мне штурвал. Ветер крепчал, волнение усиливалось. Я стоял у штурвала около часу, и с каждой минутой править становилось все труднее. У меня не было достаточного опыта, чтобы вести шхуну бакштаг при таком ветре.

— Теперь поднимитесь с биноклем наверх и поищите шлюпки. Мы прошли не меньше десяти миль, а сейчас делаем по крайней мере двенадцать или тринадцать узлов. Моя старушка быстра на ходу!

Я ограничился тем, что взобрался на салинг, в семидесяти футах над палубой, и выше не полез. Осматривая пустынное пространство океана, я понял, что нам необходимо очень спешить, если мы хотим подобрать наших людей. Меня охватывало сомнение, могут ли шлюпки уцелеть среди этих бушующих волн. Казалось невероятным, чтобы такие хрупкие суденышки устояли против двойного напора ветра и волн.

Я не ощущал всей силы ветра, так как мы мчались вместе с ним. Но я смотрел с высоты вниз, и порой мне казалось, что я нахожусь не на судне, а смотрю на него как бы со стороны. Контуры мчащейся шхуны резко выделялись на фоне пенистых вод. Порой, накренившись правым бортом, она взлетала на огромную волну, и тогда палубу до самых люков заливало водой. В такие мгновения — когда шхуна переваливалась с одного борта на другой — я с головокружительной быстротой описывал в воздухе дугу и мне казалось, что я нахожусь на конце огромного перевернутого маятника, амплитуда колебаний которого достигает семидесяти футов. Ужас охватил меня от этой бешеной качки. Дрожащий и обессиленный, я руками и ногами уцепился за мачту и уже не мог искать в море пропавшие шлюпки,— взор мой был в страхе прикован к бушевавшей подо мной разъяренной стихии, грозившей поглотить «Призрак».

Но мысль о погибавших людях заставила меня опомниться, и я в тревоге принялся искать глазами шлюпки, забыв о себе. Целый час я не видел ничего, кроме пустынных кипящих волн. Но вот вдали, там, где одинокий луч солнца, прорвавшись сквозь тучи, превратил мутную поверхность океана в расплавленное серебро, я заметил маленькое черное пятнышко. Оно то взлетало на

гребень волны, то скрывалось из виду. Я стал терпеливо выжидать. Снова крошечная черная точка мелькнула среди свирепых валов, слева по носу от нас. Кричать было бы бесполезно, но я жестами сообщил Волку Ларсену о своем открытии. Он изменил курс, и когда пятнышко мелькнуло прямо впереди нас, я утвердительно махнул рукой.

Пятнышко росло так быстро, что только тут я впервые вполне оценил скорость нашего бега по волнам. Волк Ларсен дал мне знак спуститься вниз и, когда я подошел к штурвалу, велел положить шхуну в дрейф и растолковал, что я должен для этого предпринять.

— Теперь весь ад обрушится на вас,— предостерег он меня,— но вы не робейте. Делайте свое дело и смотрите, чтобы кок стоял у фока-шкота.

Мне удалось кое-как пробраться на бак, хотя то с одного, то с другого борта палубу заливало водой. Отдав распоряжения Томасу Магриджу, я взобрался на несколько футов по фор-вантам. Шлюпка была теперь очень близко и дрейфовала против ветра на своей мачте и парусе, выброшенных за борт и служивших пловучим якорем. В шлюпке было трое, все они вычерпывали воду. Каждый водяной вал скрывал их из виду, и я с замиранием сердца ждал, что вот-вот они исчезнут совсем. Но внезапно шлюпка стрелой вылетала из пенистых волн, становясь при этом почти вертикально и опираясь только на корму, так что обнажался весь ее мокрый черный киль. Потом нос опускался, корма оказывалась высоко над ним, и на мгновение становилось видно, как все трое в безумной спешке вычерпывают воду. И шлюпка снова низвергалась в зияющую пучину. Каждое новое ее появление воспринималось как чудо.

«Призрак» вдруг изменил курс и уклонился в сторону. Я с содроганием подумал, что Волк Ларсен считает спасение шлюпки невозможным, но тут же сообразил, что он просто готовится лечь в дрейф. Я поспешил спуститься на палубу, чтобы быть наготове. Мы шли теперь прямо фор-девинд, а шлюпка была у нас на траверзе, и довольно далеко.

Внезапно я почувствовал, как шхуна пошла ровнее и скорость ее заметно возросла. Она почти на месте разворачивалась носом к ветру.

Когда шхуна стала под прямым углом к волнам, ве-

тер, от которого мы до сих пор убегали, со всей силой обрушился на нас. По неопытности я повернулся лицом к ветру. Он надвинулся на меня плотной стеной, воздух стремительно ворвался в мои легкие, и я не мог его выдохнуть. Я задыхался, и когда «Призрак», сильно накренившись на наветренный борт, вдруг словно замер на месте, я увидел огромную волну прямо у себя над головой. Я повернулся спиной к ветру, перевел дух и взглянул снова. Волна нависла над судном. Луч солнца играл на ее молочно-белом пенистом гребне, и я смотрел прямо в ее зеленовато-прозрачную глубь.

И вот волна обрушилась на шхуну, и началось светопреставление. Все произошло в единый миг. Сокрушительный удар, который я ощутил всем телом, сбил меня с ног, и я очутился под водой. Промелькнула страшная мысль, что сейчас совершится то, о чем мне пока приходилось только слышать,— я буду смыт в море. Меня перевернуло, ударило о палубу и понесло куда-то. Я был не в силах больше задерживать дыхание, вздохнул и набрал в легкие жгуче-соленой воды. Однако все это время я ни на минуту не забывал, что должен вынести кливер на ветер. Страха смерти я не ощущал. Почему-то я был уверен, что как-нибудь спасусь. Настойчивая мысль о необходимости выполнить приказание Волка Ларсена не покидала меня, и мне казалось, что я вижу, как он стоит у штурвала, среди дикого разгула стихий, и бросает буре дерзкий вызов, противопоставляя ей свою волю.

Меня с силой ударило обо что-то, должно быть о планшир. Я вздохнул и почувствовал, что вдыхаю спасительный воздух. Я попытался встать, но снова ударился обо что-то головой и снова очутился на четвереньках. Оказалось, что меня отнесло волной под полубак. Ползком выбираясь оттуда, я наткнулся иа Томаса Магриджа, который, скорчившись, лежал на палубе и стонал. Но у меня не было времени возиться с ним. Я должен был перенести кливер.

Когда я выбрался на палубу, мне показалось, что нам приходит конец. Кругом стоял треск ломающегося дерева, рвущейся парусины, лязг железа. Буря швыряла шхуну, стремясь разнести ее в щепы. Фок и фор-топсель, повиснув без ветра, благодаря нашему маневру хлопали и рвались, так как некому было вовремя выбрать шкот;

тяжелый гик с треском перебрасывало с борта на борт. В воздухе со свистом проносились обломки; обрывки снастей трепались на ветру, извиваясь, как змеи; и вдруг в довершение всего с треском рухнул на палубу фок-гафель.

Он упал всего в нескольких дюймах от меня, и это напомнило мне, что надо спешить. Быть может, не все еще было потеряно. Я вспомнил слова Волка Ларсена. Он ведь предупреждал, что «на нас обрушится ад». Но где же он сам? И вдруг я увидел его перед собой. Пустив в ход всю свою чудовищную силу, он выбирал грота-шкот. В это время корма шхуны поднялась высоко в воздух, и фигура капитана четко вырисовалась на фоне мчавшихся на нас белых от пены валов. Все это и еще больше — целый мир хаоса и разрушения — я воспринял зрением и слухом меньше чем за четверть минуты.

У меня не было времени поглядеть, что сталось со шлюпкой,— я бросился к кливер-шкоту. Кливер хлопал, то наполняясь ветром, то обвисая. Напрягая все силы, я начал постепенно обтягивать шкот. Я делал все, что мог. Я тянул шкот так, что в кровь ободрал себе пальцы. В это время бом-кливер и стаксель лопнули по всей длине, и их унесло в море.

Но я продолжал тянуть, закрепляя двумя оборотами каждую выбранную часть шкота, и как только снасть ослабевала, выбирал ее снова. Потом шкот пошел легче,— ко мне подоспел Волк Ларсен. Он тянул шкот, а я подбирал слабину.

— Закрепляйте! — крикнул он.— А потом идите сюда!

Я последовал за ним и увидел, что, несмотря на разрушения, на шхуне восстановился некоторый порядок. «Призрак» лег в дрейф. Он был еще в состоянии бороться. Хотя почти все паруса сорвало, но кливер, вынесенный на наветренный борт, и выбранный до конца грот уцелели и удерживали шхуну носом к разъяренным волнам.

Пока Волк Ларсен готовил шлюпочные тали, я стал искать глазами шлюпку и увидел ее на вершине большой волны футах в двадцати от нас, с подветренной стороны. Капитан так ловко рассчитал свой маневр, что мы дрейфовали прямо на нее, и нам оставалось только заложить на ней тали и поднять ее на борт. Но сделать это было не так-то просто.

На носу шлюпки находился Керфут; Уфти-Уфти сидел у руля, а Келли посредине. Когда нас поднесло ближе, лодку вскинуло на волну, и мы провалились куда-то в бездну, и я увидел почти прямо над собой троих людей, смотревших на нас из-за борта шлюпки. В следующий миг наверх взлетели мы, они же провалились в пропасть между двумя волнами. Так повторялось снова и снова, и всякий раз мне казалось, что «Призрак» неминуемо раздавит эту хрупкую скорлупку.

Но в нужную минуту я бросил свой конец Уфти-Уфти, а Волк Ларсен — Керфуту. Концы были тотчас закреплены, после чего все трое, улучив момент, одновременно перепрыгнули на борт шхуны. Когда «Призрак» поднялся из воды, шлюпку прижало к нему, и, воспользовавшись этим, мы успели втянуть ее на борт, а затем перевернули вверх днищем. Я заметил, что левая рука Керфута в крови. Он размозжил себе палец. Однако, не обращая на это внимания, он правой рукой помогал нам принайтовливать шлюпку.

— Приготовься перенести кливер, Уфти! — скомандовал Волк Ларсен, как только мы покончили со шлюпкой.— Келли, иди на корму, потрави грота-шкот! А вы, Керфут, ступайте на нос и посмотрите, что там с коком! Мистер Ван-Вейден, полезайте наверх и по пути обрубите все лишнее!

Отдав распоряжения, он, как тигр, прыгнул к штурвалу. Пока я взбирался на передние ванты, «Призрак» медленно уваливался под ветер. Однако на этот раз, когда шхуна нырнула между валами и ее стало накрывать волной, у нас не оставалось ни одного паруса, который мог бы быть сорван ветром. Шхуна дала чудовищный крен, и мачты ее легли почти горизонтально над водой. Я еще не добрался до салинга, как был прижат ветром к вантам с такой силой, что, казалось, даже при желании не мог бы упасть. Я видел перед собой палубу, но не внизу, а почти под прямым углом к поверхности моря. И видел я собственно даже не палубу, а захлестнувший ее поток воды, из которого торчали две мачты. И это было все. В этот миг вся шхуна была под водой. Но мало-помалу, все больше уваливаясь под ветер, «Призрак» выпрямился и высунул свою палубу из-под воды, как кит высовывает спину, поднимаясь на поверхность.

А потом нас понесло дальше по бушующему морю, а я висел на салинге, прилипнув к нему, как муха, и высматривал остальные шлюпки. Через полчаса я завидел еще одну: она плавала днищем кверху, вместе с уцепившимися за нее Джоком Хорнером, толстым Луисом и Джонсоном. На этот раз я остался наверху. Волку Ларсену удалось благополучно лечь в дрейф, и опять нас стало сносить к шлюпке. Приготовлены были тали. Людям бросили концы, и они, как обезьяны, вскарабкались по ним на борт. Шлюпку же сильно побило о корпус шхуны, когда ее поднимали на борт, но мы все же принайтовили ее на палубе, рассчитывая починить.

И снова «Призрак» помчался вперед, гонимый бурей, порой так зарываясь в воду, что бывали минуты, когда я уже не надеялся на спасение. Даже штурвал, расположенный значительно выше шкафута, то и дело исчезал под водой. В такие мгновения мною овладевало странное чувство: мне казалось, что я здесь наедине с богом и один наблюдаю ярость его гнева. Но штурвал появлялся снова, показывались широкие плечи Волка Ларсена и его руки, вертевшие колесо и подчинявшие бег шхуны воле капитана. Словно некий бог, повелитель бури, стоял он, рассекая своим судном волны и заставляя ее служить себе. Поистине, разве это было не чудо? Ничтожные букашки — люди — жили, дышали, делали свое дело и, наперекор разбушевавшейся стихии, управляли утлой посудиной из дерева и парусины!

И «Призрак» опять взлетал на волну, палуба поднималась над водой, и он устремлялся вперед. Часов около шести, когда дневной свет уже померк и над морем сгустились тусклые зловещие сумерки, я заметил третью шлюпку. Она тоже плавала вверх днищем, но людей не было видно. Волк Ларсен повторил свой маневр — отошел и затем повернул к ветру и дал волнам отнести шхуну к шлюпке. Однако на этот раз он ошибся футов на сорок, и шлюпка прошла у нас за кормой.

— Шлюпка номер четыре! — крикнул Уфти-Уфти, зоркие глаза которого успели различить надпись, когда шлюпка на миг вынырнула из пены.

Это была шлюпка Гендерсона, и вместе с ним на ней погибли Хилиок и Вильямс. В том, что они погибли, не могло быть сомнений, но шлюпка уцелела, и Волк Ларсен сделал еще одну отчаянную попытку завладеть ею.

Я в это время уже спустился на палубу и слышал, как Хорнер и Керфут тщетно протестовали против этого намерения.

— Я не брошу шлюпку, провались всё к дьяволу! — орал Ларсен, и хотя мы стояли близко, голос его доносился до нас, словно из неизмеримой дали.

— Мистер Ван-Вейден! — крикнул он мне, и в реве бури его слова прозвучали как шепот.— Станьте на кливер вместе с Джонсоном и Уфти! Остальные — на грот! Живо, а не то я всем вам шею сверну! Поняли?

И когда он положил руль на борт и начал поворачивать нос шхуны, охотникам ничего не оставалось, как повиноваться и принять участие в этом рискованном предприятии. Насколько велика была опасность, я понял лишь после того, как снова очутился под водой, затопившей палубу, и едва успел уцепиться за планку у фокмачты. Но пальцы мои почти тотчас оторвало от планки, меня смыло за борт и понесло в море. Плавать я не умел, однако волна, не дав мне погрузиться, швырнула меня обратно на палубу. Тут чья-то сильная рука подхватила меня, и когда «Призрак» вынырнул из воды, я увидел, что обязан своим спасением Джонсону. Но тот тревожно оглядывался кругом, и я заметил, что Келли, который минуту назад пришел на бак, теперь исчез.

Снова проскочив мимо шлюпки, мы находились по отношению к ней в ином положении, чем прежде, и Волк Ларсен вынужден был прибегнуть к другому маневру. Идя фордевинд, он привел шхуну к ветру и подошел к шлюпке круто бейдевинд левым галсом.

— Здо́рово! — прокричал у меня над ухом Джонсон, когда мы, сманеврировав, благополучно выдержали очередной по́топ. Я знал, что его похвала относится не к морскому искусству Волка Ларсена, а к самой шхуне.

Стемнело, и шлюпки уже не было видно, но Волк Ларсен вел шхуну, словно руководимый каким-то безошибочным инстинктом. На этот раз, хотя нас снова и снова захлестывало волной, мы не отклонились в сторону. Нас понесло прямо на шлюпку, и мы порядком побили ее, поднимая на борт.

После этого мы еще часа два работали до одурения. Все — двое охотников, три матроса, Волк Ларсен и я — брали рифы на кливере и гроте. При уменьшенной па-

русности палубу уже не так заливало водой, и «Призрак» прыгал и нырял среди волн, как пробка.

Я, еще выбирая кливер, в кровь ободрал себе пальцы, и от боли слезы все время катились у меня по щекам. Когда же все было кончено, я не выдержал и в полном изнеможении повалился на палубу.

Томаса Магриджа вытащили из-под полубака, куда он в страхе забился, словно крыса в наводнение. Я увидел, как его поволокли на корму в кают-компанию, и лишь тогда с изумлением заметил, что камбуз исчез. Там, где он раньше стоял, теперь на палубе ничего не было.

Все, не исключая матросов, собрались в кают-компании, и пока на печурке варился кофе, мы пили виски и грызли галеты. Никогда в жизни не ел я с таким аппетитом. Я пил горячий кофе, и он казался мне вкуснее всего на свете. «Призрак» так кидало и швыряло, что даже моряки не могли ходить, не придерживаясь за что-нибудь, и часто с криком «берегись!» мы кучей валились на переборки, принимавшие почти горизонтальное положение.

— К черту сигнальщика! — заявил Волк Ларсен, когда мы наелись и напились.— На палубе нечего делать. Если кому-нибудь придет охота налететь на нас, так мы все равно не сможем свернуть в сторону. Ступай все спать!

Матросы пробрались на бак, по дороге выставив отличительные огни, а двое охотников остались спать в кают-компании, так как не стоило рисковать, открывая люк, ведущий в их кубрик. Мы с Волком Ларсеном отрезали Керфуту его изувеченный палец и зашили рану. Магридж, стряпая, подавая нам кофе и поддерживая огонь в печке, все время жаловался на боль в боку и клялся, что у него сломано одно или два ребра. Осмотрев его, мы убедились, что у него сломано целых три. Однако мы отложили его лечение до следующего дня, главным образом потому, что я ровно ничего не смыслил в этом деле и хотел сначала прочитать что-нибудь о переломах ребер.

— Не стоило, пожалуй, жертвовать жизнью Келли из-за разбитой лодки,— сказал я Волку Ларсену.

— Ну и сам Келли тоже немного стоил,— последовал ответ.— Спокойной ночи!

Мне казалось, что после перенесенных испытаний я не смогу уснуть. Меня невыносимо мучила боль в пальцах, тревожила судьба трех пропавших шлюпок, а шхуну все так же неистово швыряло по волнам. Но глаза мои сомкнулись, едва голова коснулась подушки, и в полном изнеможении я проспал до утра, в то время как «Призрак», никем не управляемый, один на один боролся с бурей.

Глава восемнадцатая

На следующий день, пока шторм понемногу утихал, мы с Волком Ларсеном почитали кое-что по части анатомии и хирургии и принялись лечить Магриджу его переломы, а когда волнение несколько улеглось, Волк Ларсен начал крейсировать к западу от того места, где нас настигла буря. Тем временем команда чинила шлюпки и шила для них новые паруса. Нам все чаще и чаще стали попадаться промысловые шхуны. Почти все они тоже искали свои потерянные шлюпки, а заодно подбирали и чужие, если встречались с ними в море. Большинство судов промысловой флотилии находились к западу от нас, и рассеянные в океане шлюпки искали спасения на первой встреченной ими шхуне.

Мы сняли две наши лодки со всем экипажем с «Сиско», а на другой шхуне — «Сан-Диего» — обнаружили, к великой радости Волка Ларсена и к моему немалому огорчению, Смока с Нилсоном и Личем. Таким образом, к концу пятого дня мы не досчитывались только четверых — Гендерсона, Холиока, Вильямса и Келли,— и решено было возобновить охоту.

Следуя за стадом котиков на север, мы начали встречать опасные морские туманы. Мгла проглатывала спущенные шлюпки, как только они касались воды. На борту шхуны через равномерные промежутки трубили в рог и каждые четверть часа стреляла сигнальная пушка. Шлюпки все время то терялись, то находились вновь; согласно морским обычаям, их принимала на борт любая шхуна, с тем чтобы потом возвратить хозяину. Но Волк Ларсен, у которого не хватало одной шлюпки, поступил так, как и следовало от него ожидать: завладел первой отбившейся от своей шхуны шлюпкой, заставил ее эки-

паж охотиться вместе с нашим и не позволил ему вернуться к себе на шхуну, когда она показалась вдали. Помню, как охотника и обоих матросов, наставив на них ружья, загнали вниз, когда их шхуна проходила мимо и капитан справлялся о них.

Томас Магридж, с таким удивительным упорством цеплявшийся за жизнь, вскоре начал опять ковылять по палубе и исполнять свои двойные обязанности кока и юнги. Джонсон и Лич больше прежнего подвергались побоям и знали, что по окончании охотничьего сезона им не сносить головы. Остальным тоже жилось, по милости капитана, как собакам, причем этот безжалостный человек заставлял их работать до полного изнурения. Что же касается меня, то мы с Волком Ларсеном коекак ладили, хотя я не мог отделаться от мысли, что мне следовало бы убить его. Он необъяснимо притягивал меня к себе и вместе с тем нагонял на меня неописуемый страх. И все же я не мог представить его себе распростертым на смертном одре. Это слишком не вязалось с его обликом. Я мог думать о нем только как о живом, всегда живом, властвующем, борющемся и разрушающем.

Когда мы попадали в самую середину котикового стада и волнение было слишком сильно, чтобы спускать шлюпки, Ларсен любил выезжать на охоту сам, с двумя гребцами и рулевым. Он был хорошим стрелком и привозил на борт много шкур в такую погоду, когда охотники считали промысел невозможным. Казалось, ему лишь тогда дышалось легко, когда он, рискуя жизнью, вел борьбу с грозным противником.

Я все больше осваивался с морским делом, и однажды, в ясный денек, какие редко выпадали теперь на нашу долю, мне, к моему немалому удовлетворению, привелось самостоятельно управлять шхуной и убирать наши шлюпки. Волк Ларсен опять валялся у себя в каюте с головной болью, а я дотемна стоял у штурвала. Обойдя крайнюю шлюпку, я положил шхуну в дрейф и одну за другой поднял все шесть шлюпок без какихлибо указаний со стороны капитана.

Время от времени на нас налетали бури — мы находились в штормовой полосе,— а в середине июня нас настиг тайфун; это было памятное для меня событие, так как оно внесло большую перемену в мою жизнь. По-ви-

димому, мы попали почти в самый центр тайфуна, но Волку Ларсену удалось удрать от него на юг — сначала под кливером с двумя рифами, а потом и вовсе с голыми мачтами. Никогда еще не видал я таких волн. Все штормы, испытанные мною раньше, казались по сравнению с этим легкой рябью. От гребня до гребня было не меньше полумили, и эти валы вздымались выше наших мачт. Даже Волк Ларсен не осмелился лечь в дрейф, хотя нас и относило все дальше к югу от котикового стада.

Когда тайфун утих, мы оказались на пути океанских пароходов. И здесь, к изумлению охотников, мы повстречались со вторым стадом котиков, составлявшим как бы арьергард первого. Это было чрезвычайно редкое явление. Раздалась команда: «Спустить шлюпки!», затрещали выстрелы, и жестокая бойня продолжалась весь день.

В этот вечер ко мне в темноте подошел Лич. Я только что кончил подсчитывать шкуры с последней поднятой на борт шлюпки; молодой матрос остановился возле меня и тихо спросил:

— Мистер Ван-Вейден, на каком мы расстоянии от берега и в какой стороне Иокогама?

Мое сердце радостно забилось. Я понял, что у него на уме, и дал ему нужные указания: к запад-северо-западу, расстояние пятьсот миль.

— Благодарю вас, сэр,— ответил он и скрылся во мраке.

Утром исчезла лодка номер три, а с нею — Джонсон и Лич. Одновременно исчезли анкерки с водой и ящики с провизией со всех остальных шлюпок, а также постельные принадлежности и сундучки обоих беглецов. Волк Ларсен неистовствовал. Он поставил паруса и помчался на запад-северо-запад. Двое охотников не сходили с салинга, осматривая море в бинокль, а сам он, как разъяренный лев, метался по палубе. Он слишком хорошо знал мою симпатию к беглецам, чтобы послать наблюдающим меня.

Ветер был свежий, но неровный, и легче было бы найти иголку в стоге сена, чем крошечную шлюпку в беспредельном синем просторе. Но капитан старался выжать из «Призрака» все, что мог, и отрезать беглецов от суши. Когда, по его расчетам, ему это удалось, он стал крейсировать поперек их предполагаемого пути.

На утро третьего дня, едва пробило восемь склянок, Смок крикнул с салинга, что видна шлюпка. Все столпились у борта. Резкий ветер дул с запада и крепчал, предвещая шторм. И вот, с подветренной стороны, на фоне волн, позолоченных первыми лучами солнца, начала появляться и исчезать черная точка.

Мы изменили курс и помчались к ней. У меня было тяжело на душе. Я видел торжествующий блеск в глазах Волка Ларсена и, внезапно охваченный мрачным предчувствием, ощутил непреодолимое желание кинуться на этого человека. Мысль о судьбе Лича и Джонсона так взволновала меня, что разум мой помутился. Фигура Ларсена поплыла у меня перед глазами, и, не помня себя, я бросился в кубрик охотников и готов уже был выскочить на палубу с заряженным ружьем в руках, как вдруг услыхал чей-то изумленный возглас:

— На шлюпке пять человек!

Я задрожал и ухватился за трап, прислушиваясь к голосам на палубе, подтверждавшим сделанное кем-то открытие. Затем страшная слабость вдруг охватила меня, колени подогнулись, я опустился на ступеньки и только тут окончательно пришел в себя и содрогнулся при мысли о том, что́ я готов был совершить. Возблагодарив судьбу, я положил ружье на место и поднялся на палубу.

Никто не заметил моего отсутствия. Шлюпка была теперь уже близко, и я увидел, что она крупнее охотничьей и построена иначе. Когда она почти совсем приблизилась к нам, на ней убрали парус и сняли мачту. Вставив весла в уключины, люди в лодке ждали, пока мы ляжем в дрейф и возьмем их на борт.

Смок уже спустился на палубу и стоял теперь рядом со мной; он многозначительно ухмыльнулся. Я вопросительно взглянул на него.

— Ну и заварится каша! — хмыкнул он.

— В чем дело? — спросил я.

Он снова хмыкнул.

— Разве не видите, кто там на корме? Чтоб мне не убить больше ни одного котика, если это не женщина!

Я вгляделся, но не сразу смог что-нибудь различить. Однако все вокруг говорили, что в лодке четверо мужчин, а на корме, по-видимому,— женщина. Это открытие взволновало всех, за исключением Волка Ларсена, кото-

рый был явно разочарован тем, что это не его шлюпка и ему не на кого обрушить свою злобу.

Мы спустили бом-кливер, выбрали кливер-шкот на наветренный борт, добрали грота-шкот и легли в дрейф. Весла опустились в воду, и после нескольких взмахов шлюпка подошла к борту шхуны. Теперь я уже мог лучше разглядеть женщину. Она куталась в длинное широкое пальто, так как утро было холодное. Я увидел ее лицо и светло-каштановые волосы, выбившиеся из-под морской фуражки. У нее были большие карие блестящие глаза, нежный, приятно очерченный рот и правильный овал лица, обветренного и обожженного солнцем.

Она показалась мне существом из другого мира. Меня потянуло к ней, как голодного к хлебу. Ведь я так давно не видел женщин! Всецело поглощенный этим чудесным видением, я совершенно забыл о своих обязанностях помощника и даже не помогал поднять спасенных на борт. Когда один из матросов подхватил женщину на руки и передал ее Волку Ларсену, она взглянула на наши исполненные любопытства лица и улыбнулась так приветливо и мило, как может улыбаться только женщина. Как давно не видел я подобной улыбки! Казалось, я уже забыл, что на свете есть люди, которые умеют так улыбаться!

— Мистер Ван-Вейден!

Голос Ларсена вернул меня к действительности.

— Будьте добры, проводите эту даму вниз и устройте ее поудобнее. Прикажите приготовить свободную каюту на левом борту. Поручите это коку. И подумайте, чем вы можете помочь даме,— у нее сильно обожжено лицо.

С этими словами он отвернулся от нас и принялся расспрашивать мужчин. Шлюпка была брошена на произвол судьбы, хотя один из спасенных возмущался этим, так как Иокогама была совсем близко.

Сопровождая незнакомку в каюту, я странно робел и был неловок. Мне как бы впервые открылось, какое хрупкое, нежное создание женщина. Помогая ей спуститься по трапу, я взял ее за руку, и меня поразило, какая это маленькая, нежная ручка. Да и сама она была удивительно тоненькая и хрупкая и казалась мне такой воздушной, что я боялся раздавить ее руку в своей ручище. Вот что чувствовал я, так долго лишенный женского общества, когда увидел Мод Брустер — первую

женщину, встретившуюся на моем пути с тех пор, как я попал на шхуну.

— Вы напрасно так беспокоитесь обо мне,— запротестовала она, когда я усадил ее в кресло Волка Ларсена, которое поспешил притащить из его каюты.— Сегодня утром мы каждую минуту ожидали увидеть землю и к вечеру, вероятно, будем уже в порту. Не правда ли?

Ее спокойная уверенность смутила меня. Как мог я объяснить ей положение вещей и страшный характер нашего капитана, который, подобно злому року, скитался по морям,— словом, все то, что открылось мне за эти месяцы? Но я ответил ей напрямик:

— Будь у нас другой капитан, я сказал бы, что завтра утром вас доставят в Иокогаму. Но Ларсен человек со странностями, и я прошу вас быть готовой ко всему. Вы понимаете — ко всему!

— Нет, признаюсь, я не совсем понимаю вас,— отвечала она. В глазах ее промелькнуло недоумение, но не испуг.— Быть может, я ошибаюсь, но мне казалось, что потерпевшим кораблекрушение всегда оказывают внимание. Да и в сущности это такой пустяк, ведь мы совсем близко от берега.

— Правду сказать, я сам ничего не знаю,— поспешил я успокоить ее.— Мне хотелось только на всякий случай подготовить вас к худшему. Наш капитан — грубая скотина, не человек, а дьявол. Никто не знает, что может вдруг взбрести ему на ум.

Я начинал волноваться, но она устало прервала меня:

— Да, да, понимаю! — Ей, по-видимому, трудно было сейчас собраться с мыслями. Я видел, что она вот-вот лишится чувств от изнеможения.

Больше она ни о чем не спрашивала, и я, воздержавшись от дальнейших замечаний, приступил к исполнению распоряжений Волка Ларсена и постарался устроить ее поудобнее. Я хлопотал вокруг нее, как заботливая хозяйка: достал из аптечки мазь от ожогов, велел Томасу Магриджу убрать свободную каюту и, совершив налет на личные запасы Волка Ларсена, извлек оттуда бутылку портвейна.

Ветер быстро крепчал, крен увеличился, и к тому времени, когда каюта была готова, «Призрак» уже стрелой летел по волнам. Я совершенно забыл о существовании Лича и Джонсона и был как гром поражен, когда через

открытый люк донесся возглас: «Шлюпка впереди!» Сомнений быть не могло — это кричал Смок с мачты. Я бросил взгляд на женщину: она сидела смертельно усталая, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза. Я сомневался даже, слышала ли она крик Смока, и решил, что не допущу, чтобы она стала свидетельницей зверств, которые неминуемо должны были последовать за поимкой беглецов. Она устала — и отлично! Пусть спит!

На палубе раздались резкие слова команды, послышался топот ног, захлопали риф-штерты, и «Призрак» лег на другой галс. При внезапном повороте шхуна накренилась, кресло начало скользить по полу, и я едва успел подхватить задремавшую женщину, чтобы не дать ей свалиться на пол.

Она приоткрыла глаза и сонно и недоуменно взглянула на меня. Я повел ее в приготовленную ей каюту. Она еле передвигала ноги и спотыкалась на каждом шагу. Магридж гадко осклабился, когда я выпроводил его из каюты и приказал ему вернуться к своим обязанностям. Он расквитался со мной, расписав охотникам, какой прекрасной камеристкой я оказался.

Наша новая пассажирка тяжело опиралась на мою руку, когда я вел ее, и, кажется, начала засыпать, еще не дойдя до своей каюты. Да, конечно, она спала на ходу, и когда шхуну резко качнуло, не устояла на ногах и упала на койку. Потом приподняла голову, улыбнулась и снова погрузилась в сон. Я оставил ее спящей под двумя толстыми матросскими одеялами; голова ее покоилась на подушке, которую я взял с койки Волка Ларсена.

Глава девятнадцатая

Поднявшись на палубу, я увидел, что «Призрак» догоняет с наветренной стороны знакомую мне парусную шлюпку, идущую против ветра тем же галсом, что и мы, но чуть правее. Вся команда была на палубе — все ждали, что произойдет, когда Лича и Джонсона поднимут на борт.

Пробило четыре склянки. Луис пришел на корму сменить рулевого. Воздух был влажен, и я заметил, что Луис надел клеенчатую куртку и штаны.

— Что нас ожидает на этот раз? — спросил я его.

— Судя по всему, сэр,— отвечал он,— небольшой шторм с дождичком — как раз хватит, чтобы промочить нам жабры.

— Какая досада, что у нас заметили шлюпку,— сказал я.

Бо́льшая волна, ударив в нос шхуны, повернула ее примерно на румб, и шлюпка на миг мелькнула между кливерами.

Луис перехватил ручки штурвала и, помолчав, сказал:

— А мне думается, они все равно не добрались бы до берега, сэр.

— Не добрались бы? — переспросил я.

— Нет, сэр. Видали? — Порыв ветра накренил шхуну и заставил Луиса быстро завертеть штурвал.— Через час начнется такое,— продолжал он,— что им на своей скорлупе несдобровать. Им еще повезло, что мы подоспели вовремя и можем их подобрать.

Волк Ларсен разговаривал на палубе со спасенными моряками, потом поднялся на ют. В его походке больше обычного чувствовалось что-то кошачье, а в глазах вспыхивали холодные огоньки.

— Три смазчика и механик,— сказал он вместо приветствия.— Но мы из них сделаем матросов или хотя бы гребцов. Ну, а как там эта особа?

Не знаю почему, но когда Ларсен заговорил о спасенной женщине, его слова полоснули меня, словно ножом. Сознавая, как глупо быть таким сентиментальным, я все же не мог избавиться от тяжелого ощущения и в ответ только пожал плечами.

Волк Ларсен протяжно и насмешливо свистнул.

— Как ее зовут? — резко спросил он.

— Не знаю,— ответил я.— Она спит. Очень утомлена. По правде говоря, я рассчитывал узнать что-нибудь от вас. С какого они судна?

— С почтового пароходишка «Город Токио»,— буркнул он.— Шел из Фриско в Иокогаму. Тайфун доконал это старое корыто — потекло, как решето. Их носило по волнам четверо суток. Так вы не знаете, кто она — девица, замужняя дама или вдова? Ну, ну...

Он смотрел на меня, насмешливо прищурившись и покачивая головой.

— А вы...— начал я. У меня чуть не сорвался с языка вопрос — собирается ли он доставить потерпевших кораблекрушение в Иокогаму.

— А я?..— переспросил он.

— Как вы намерены поступить с Личем и Джонсоном?

— Не знаю, Хэмп, не знаю. Видите ли, с этими четырьмя у меня теперь достаточно людей.

— А Джонсон и Лич достаточно натерпелись при попытке бежать,— сказал я.— Отчего бы вам не изменить свое отношение к ним? Возьмите их на борт и попробуйте обходиться с ними мягче. Что бы там они ни сделали, их до этого довели.

— Кто? Я?

— Да, вы,— отвечал я, не колеблясь.— И предупреждаю вас, Ларсен, если вы будете по-прежнему издеваться над этими беднягами, я могу забыть все, даже свою любовь к жизни, и убить вас.

— Браво! — воскликнул он.— Я горжусь вами, Хэмп. Вы превосходно научились стоять на ногах. Я вижу перед собой вполне самостоятельную личность! До сих пор вам не везло — жизнь ваша протекала слишком легко,— но теперь вы подаете надежды. Таким вы мне нравитесь куда больше.

Внезапно тон его изменился, лицо стало серьезным.

— Верите ли вы людям на слово? — спросил он.— Считаете ли, что слово священно?

— Конечно,— отвечал я.

— Так вот, предлагаю вам соглашение,— продолжал этот неподражаемый актер.— Если я дам слово не притронуться пальцем к Личу и Джонсону, обещаете ли вы в свою очередь отказаться от попыток убить меня? Только не подумайте, что я боюсь вас, нет, нет, не воображайте! — поспешно добавил он.

Я едва мог поверить своим ушам,— что это вдруг на него нашло?

— Идет? — нетерпеливо спросил он.

— Идет,— отвечал я.

Он протянул мне руку, и я с жаром пожал ее, но в глазах у него — я мог бы поклясться — промелькнула издевка.

Мы перешли на подветренную сторону юта. Шлюпка была совсем близко, и я увидел, что положение ее поис-

тине отчаянное. Джонсон сидел на руле, Лич вычерпывал воду. Мы шли вдвое быстрее их. Волк Ларсен подал Луису знак отклониться немного в сторону, и мы пронеслись в каких-нибудь двадцати футах от шлюпки с наветренной стороны. На мгновение «Призрак» закрыл ее от ветра. Парус на шлюпке захлопал, она потеряла скорость и стала прямо, что заставило матросов поспешно отодвинуться от борта. Тут нас подхватила огромная волна, а шлюпка скользнула вниз.

В это мгновение Лич и Джонсон взглянули в лица своим товарищам, столпившимся у борта. Но никто со шхуны не послал им приветствия. В глазах команды те двое были уже мертвецами,— пространство воды, отделявшее их от нас, было как бы рубежом между жизнью и смертью.

Через миг они очутились против юта, где стояли мы с Волком Ларсеном. Теперь уже шхуна скользнула вниз, а шлюпка взлетела на гребень волны. Джонсон посмотрел на меня, и я увидел его измученное, осунувшееся лицо. Я помахал ему рукой, и он ответил мне, но в этом жесте было глубокое отчаяние. Он словно прощался со мной. Мне не удалось встретиться глазами с Личем,— он смотрел на Волка Ларсена, и лицо его, как следовало ожидать, было перекошено от ненависти.

Еще мгновение, и шлюпка оказалась уже за кормой. Парус тотчас наполнился ветром и так накренил утлое суденышко, что оно чуть не перевернулось. Гребень огромной волны навис над шлюпкой и обрушил на нее шапку белоснежной пены. Потом полузатопленная шлюпка вынырнула: Лич поспешно вычерпывал воду, а Джонсон с бледным испуганным лицом судорожно сжимал в руке кормовое весло.

Волк Ларсен резко расхохотался, словно пролаял над самым моим ухом, и перешел на наветренную сторону юта. Я ожидал, что он велит лечь в дрейф, но шхуна продолжала идти вперед, а он не подавал никакой команды. Луис невозмутимо стоял у штурвала, но я заметил, что столпившиеся на носу матросы с беспокойством поглядывают в нашу сторону. «Призрак» мчался все вперед и вперед, и шлюпка превратилась уже в еле заметную точку, когда раздался голос Волка Ларсена — матросы получили приказание сделать поворот на правый галс.

Мы пошли назад по ветру навстречу боровшейся с волнами шлюпке, но милях в двух от нее была отдана новая команда спустить бом-кливер и лечь в дрейф. Промысловые лодки не приспособлены лавировать против ветра. Весь расчет строится на том, что в море они находятся с наветренной стороны, и когда ветер крепчает, он гонит их прямо к шхуне. Но теперь, среди разгулявшейся стихии, у Лича и Джонсона не было иного выхода, как искать убежища на «Призраке», и они вступили в отчаянную борьбу, направив шлюпку против ветра. При такой волне они с трудом пробивались вперед. Каждую минуту им грозила гибель среди разъяренных валов. Снова и снова видели мы, как лодка зарывается носом в белопенные гребни и ее, словно щепку, отбрасывает назад.

Но Джонсон был превосходным моряком и со шлюпкой умел управляться не хуже, чем со шхуной. Часа через полтора он почти поравнялся с нами и прошел у нас за кормой, рассчитывая следующим галсом подойти к шхуне.

— Значит, вы передумали? — услышал я голос Волка Ларсена и не понял — то ли он бормочет про себя, то ли обращается к людям в шлюпке, словно они могут его услышать.— Вы не прочь вернуться на шхуну, а? Ну что ж, попытайтесь, попытайтесь!

— Руль под ветер! — скомандовал он Уфти-Уфти, который тем временем сменил Луиса.

Команда следовала за командой. Потравили фока и грота-шкоты, и шхуна, прыгая по волнам, быстро рванулась вперед с сильным попутным ветром, как раз в ту минуту, когда Джонсон, пренебрегая опасностью, потравил шкот и прошел у нас за кормой футах в ста. Волк Ларсен снова громко рассмеялся и помахал рукою, приглашая шлюпку следовать за нами. Его намерение было очевидно: он решил поиграть с ними, думал я, дать им хороший урок вместо побоев. Но это был очень опасный урок, так как шлюпку в любую минуту могло захлестнуть волной.

Джонсон быстро повернул шлюпку и погнался за нами. Ему больше ничего не оставалось. Смерть подстерегала их со всех сторон. Рано или поздно одна из этих огромных волн обрушится на шлюпку, перекатится через нее, и все будет кончено.

— То-то им сейчас, поди, тошно — у смерти-то в лапах,— шепнул мне Луис, когда я проходил мимо, чтобы отдать приказ убрать бом-кливер и стаксель.

— Ну, он скоро ляжет в дрейф и подберет их,— бодро сказал я.— Решил, как видно, проучить их.

Луис многозначительно посмотрел на меня.

— Вы так думаете? — спросил он.

— Конечно,— отвечал я.— А вы?

— Я теперь думаю только об одном — о собственной шкуре,— был его ответ.— И перестаю дивиться, как все складывается. В хорошую историю попал я из-за лишнего стаканчика в Фриско. Но вы-то влопались и того хуже — из-за этой дамочки. Будто я вас не знаю! Видали мы таких простаков!

— Что вы хотите этим сказать? — поспешно спросил я, так как, выпустив этот заряд, он уже двинулся прочь.

— Что я хочу сказать? — воскликнул он.— Не вам бы об этом спрашивать! Неважно, что хочу сказать я, важно, что скажет Волк, Волк, да, да, Волк!

— Если заварится каша, вы будете на моей стороне? — невольно вырвалось у меня, ибо он выразил то, чего в душе боялся я сам.

— На вашей стороне? Я буду на стороне старого толстого Луиса. Это еще все пустяки, только начало, говорю вам.

— Не думал я, что вы такой трус,— укорил я его.

Он окинул меня презрительным взглядом.

— Если я пальцем не пошевельнул, чтобы помочь этому дурню,— он кивнул в сторону крошечного паруса где-то там за кормой,— так неужто вы думаете, что я дам проломить себе башку из-за какой-то дамочки, которой и в глаза не видал?

Я отвернулся, возмущенный, и пошел на корму.

— Уберите топселя, мистер Ван-Вейден,— сказал мне Волк Ларсен, когда я поднялся на ют.

Услышав это приказание, я несколько успокоился за судьбу беглецов. Было ясно, что капитан не имеет намерения слишком удаляться от них. Эта мысль приободрила меня, и я быстро исполнил его распоряжение. Едва успел я отдать команду, как одни матросы уже бросились к фалам и ниралам, а другие полезли вверх по вантам. Волк Ларсен заметил их усердие и мрачно улыбнулся. И все же расстояние между шхуной и шлюпкой

продолжало увеличиваться, и только когда шлюпка отстала на несколько миль, мы легли в дрейф и стали поджидать ее. Все с тревогой следили за ее приближением. Один Волк Ларсен оставался невозмутим. Даже у Луиса, пристально вглядывавшегося вдаль, отразилось на лице беспокойство, которого он не сумел скрыть.

Шлюпка подходила все ближе и ближе, точно живое существо, рывками пробираясь среди зеленых бурлящих волн. Она то раскачивалась на гребнях огромных валов, то скрывалась из глаз, чтобы через секунду снова взлететь на гребень. Казалось непостижимым, что она еще цела, и всякий раз ее появление, сопровождавшееся очередным головокружительным взлетом, воспринималось как чудо. Налетел шквал с дождем, и из-за колышущейся водяной завесы вдруг вынырнула шлюпка — почти вровень с нами.

— Руль на борт! — заорал Волк Ларсен и, бросившись к штурвалу, сам резко повернул его.

И снова «Призрак» рванулся вперед и помчался по ветру, и еще в продолжении двух часов Джонсон и Лич гнались за нами. А мы опять ложились в дрейф и потом вновь уносились вперед, и все это время лоскут паруса метался где-то за кормой, то взлетая к небу, то проваливаясь в пучину. Он был от нас всего в четверти мили, когда налетел новый шквал и за пеленой дождя парус совсем скрылся из глаз. Больше мы его не видели. Ветер разогнал облака, но уже нигде среди волн не маячил жалкий обрывок паруса. На миг мне показалось, что на высоком гребне мелькнуло черное днище шлюпки. И это было все. Земные труды Джонсона и Лича пришли к концу.

Команда продолжала толпиться на палубе. Никто не спускался вниз, никто не произносил ни слова. Люди не осмеливались взглянуть друг другу в глаза. Все, казалось, были так ошеломлены случившимся, что не могли еще прийти в себя, осознать до конца то, что произошло. Но Волк Ларсен не оставил им времени на размышления. Он сразу же приказал положить шхуну на курс — и не на Иокогаму, а на котиковые лежбища. Теперь, натягивая снасти, матросы работали вяло, угрюмо, и я слышал, как с губ их срывались проклятья — такие же угрюмые и вялые. Другое дело охотники. Неунывающий

Смок уже принялся рассказывать какую-то историю, и они спустились в свой кубрик, дружно гогоча.

Направляясь на корму, я увидел спасенного нами механика. Он шагнул ко мне; лицо его было бледно, губы дрожали.

— Помилуй бог, сэр! На какое судно мы попали? — воскликнул он.

— Вы не слепой, сами все видели,— отвечал я почти грубо, так как сердце у меня сжималось от боли и страха.

— Где же ваше обещание? — обратился я к Волку Ларсену.

— Я ведь не обещал взять их на борт — я вовсе не имел этого в виду,— отвечал он.— И как-никак вы должны признать, что я «и пальцем к ним не притронулся».

И, рассмеявшись, он повторил:

— Нет, нет, я и пальцем к ним не притронулся!

Я промолчал. Я был слишком ошеломлен и не мог вымолвить ни слова. Мне надо было собраться с мыслями. Я чувствовал на себе ответственность за женщину, которая спала сейчас там, внизу в каюте, и отчетливо сознавал только одно: нельзя действовать опрометчиво, если я хочу хоть чем-нибудь быть ей полезен.

Глава двадцатая

День закончился без новых происшествий. Небольшой шторм, «промочив нам жабры», начал затихать. Механик и трое смазчиков после горячей перепалки с Волком Ларсеном были все же распределены по шлюпкам под начало охотников и назначены на вахты на шхуне, для чего их экипировали в разное старье, отыскавшееся на складе. После этого, продолжая протестовать, хотя и не очень громко, они спустились в кубрик на баке. Они были уже основательно напуганы тем, что им привелось наблюдать, и характер Волка Ларсена становился им в какой-то мере ясен, а то, что они услышали здесь о капитане от матросов, окончательно отбило у них охоту бунтовать.

Мисс Брустер — имя ее мы узнали от механика — все еще спала. За ужином я попросил охотников говорить

тише, чтобы не потревожить ее. Она вышла из своей каюты лишь на следующее утро. Я было распорядился, чтобы ей подавали отдельно, но Волк Ларсен тотчас наложил на это запрет.

— Кто она такая,— заявил он,— чтобы гнушаться кают-компанией?

Появление нашей пассажирки за столом привело к довольно комичным результатам. Охотники тотчас примолкли, точно воды в рот набрали. Только Джек Хорнер и Смок не проявляли смущения: они украдкой поглядывали на пассажирку и даже пытались принять участие в разговоре. Остальные четверо уткнулись в свои тарелки и жевали задумчиво и не торопясь; уши их двигались в такт с челюстями, как у животных.

Вначале Волк Ларсен говорил мало, разве что отвечал на вопросы. Нельзя сказать, чтобы он был смущен,— отнюдь нет. Но в мисс Брустер он видел женщину нового для него типа, незнакомой ему породы, и его любопытство было задето. Он внимательно изучал ее — почти не отрывал глаз от ее лица или следил за движениями ее рук и плеч. Сам я тоже наблюдал за нею, и хотя разговор в сущности поддерживал один я, мне трудно было избавиться от некоторого чувства робости и растерянности. Волк Ларсен, наоборот, держался совершенно непринужденно. Он был исполнен такой уверенности в себе, которую ничто не могло поколебать. Женщин он боялся ничуть не больше, чем шторма или драки.

— Когда же мы будем в Иокогаме? — спросила она вдруг, повернувшись к капитану и взглянув ему прямо в глаза.

Вопрос был задан без обиняков. Все челюсти сразу перестали жевать, уши перестали шевелиться, и хотя глаза у всех по-прежнему были устремлены в тарелки, каждый ждал ответа с напряжением и жадным вниманием.

— Месяца через четыре, а может, и через три, если сезон кончится рано,— отвечал Волк Ларсен.

Она нервно глотнула и неуверенно проговорила:

— А я считала... мне сказали, что до Иокогамы всего одни сутки пути. Вы...— Она запнулась, и глаза ее обежали круг ничего не выражающих лиц, склоненных над тарелками.— Вы не имеете права так поступать,— закончила она.

— Этот вопрос вам лучше обсудить с мистером Ван-Вейденом,— ответил капитан, насмешливо кивнув в мою сторону.— Он у нас специалист по вопросам права. А я — простой моряк и смотрю на дело иначе. Вам, быть может, покажется несчастьем то, что вы должны остаться с нами, но для нас это, несомненно, большое счастье.

Он, улыбаясь, глядел на нее, и она опустила глаза, но тут же снова подняла их и с вызовом посмотрела на меня. Я прочел в ее взгляде немой вопрос: прав ли он? Но я уже заранее решил, что должен для виду занимать нейтральную позицию, и промолчал.

— Каково ваше мнение? — спросила она.

— Вам не повезло, особенно если вас ждут сейчас неотложные дела. Но раз вы говорите, что предприняли путешествие в Японию с целью поправить здоровье, то, смею вас уверить, на борту «Призрака» вы окрепнете, как нигде.

В ее взгляде вспыхнуло негодование, и на этот раз потупиться пришлось мне; я чувствовал, что у меня горят щеки. Я вел себя как трус, но другого выхода не было.

— Ну, тут мистеру Ван-Вейдену и карты в руки,— рассмеялся Волк Ларсен.

Я кивнул, а мисс Брустер уже овладела собой и молча ждала, что последует дальше.

— Нельзя сказать, чтобы он стал здоровяком,— продолжал Волк Ларсен,— но он изменился к лучшему, поразительно изменился. Посмотрели бы вы на него, когда он только появился на шхуне. Жалкий, щупленький человечишко — смотреть не на что. Верно, Керфут?

Керфут был так захвачен врасплох этим неожиданным обращением к нему, что уронил на пол нож и промычал в знак согласия что-то маловразумительное.

— Чистка картофеля и мытье посуды пошли ему впрок. Так, что ли, Керфут?

Сей достойный муж снова промычал что-то.

— Поглядите на него сейчас. Силачом его, правда, не назовешь, но все же у него появились мускулы, чего раньше и в помине не было. И теперь он довольно твердо стоит на ногах. А вначале, поверите ли, совершенно не мог обходиться без посторонней помощи.

Охотники посмеивались, но сочувственный взгляд девушки вознаградил меня с лихвой за все издевательства

Волка Ларсена. По правде говоря, я так давно не встречал ни в ком участия, что теперь оно глубоко тронуло меня, и я сразу стал ее добровольным рабом. Но на Волка Ларсена я был зол. Своими оскорблениями он бросал вызов моему мужскому достоинству, как бы подстрекая меня доказать, насколько твердо я стою на ногах,— ведь этим, по его словам, я был обязан ему.

— Возможно, что стоять на ногах я уже научился,— отпарировал я,— а вот попирать людей ногами — к этому еще не привык.

Он пренебрежительно поглядел на меня.

— Значит, ваше перевоспитание еще далеко не закончено,— сухо обронил он и повернулся к мисс Брустер: — Мы здесь на «Призраке» очень гостеприимны. Мистер Ван-Вейден уже убедился в этом. Мы идем на все, лишь бы наши гости чувствовали себя как дома. Не так ли, мистер Ван-Вейден?

— Даже разрешаете им чистить картофель и мыть посуду, не говоря уже о том, что порой хватаете их за горло, в знак особого дружеского расположения.

— Боюсь, что со слов мистера Ван-Вейдена вы можете составить себе превратное представление о нас,— с притворным беспокойством перебил меня Волк Ларсен.— Заметьте, мисс Брустер, что он носит на поясе тесак, а это, гм, вещь довольно необычная для помощника капитана. Вообще мистер Ван-Вейден человек, достойный всяческого уважения, но иногда он, как бы это сказать, бывает довольно неуживчив, и тогда приходится прибегать к крутым мерам. Впрочем, в спокойные минуты он достаточно рассудителен и справедлив, как, например, сейчас, и, вероятно, не станет отрицать, что лишь вчера грозил убить меня.

Я чуть не задохнулся от возмущения, и глаза мои, верно, пылали. Ларсен указал на меня.

— Вот, посмотрите на него! Он еле сдерживается, даже в вашем присутствии. Конечно, он не привык к женскому обществу! Придется и мне вооружиться, иначе я не рискну выйти вместе с ним на палубу.

— Прискорбно, прискорбно,— помолчав, пробормотал он, в то время как охотники покатывались со смеху.

Осипшие от морского ветра голоса этих людей и раскаты их грубого хохота звучали зловеще и дико. Да и все кругом было диким. И, глядя на эту женщину, такую

далекую и чуждую всем нам, я впервые осознал, насколько сам я сжился с этой средой. Я успел хорошо узнать этих людей, узнать их мысли и чувства; я стал одним из них, жил их жизнью — жизнью морских промыслов, питался как все на морских промыслах, и был погружен в те же заботы. И это уже не казалось мне странным, как не казалась странной эта грубая одежда и грубые лица, дикий смех, ходившие ходуном переборки каюты и раскачивающиеся лампы.

Намазывая маслом ломоть хлеба, я случайно остановил взгляд на своих руках. Суставы были ободраны в кровь и воспалены, пальцы распухли, под ногтями — грязь. Я знал, что оброс густой щетинистой бородой, что рукав моей куртки лопнул по шву, что у ворота грубой синей рубахи не хватает пуговицы. Тесак, о котором упомянул Волк Ларсен, висел в ножнах у пояса. До сих пор это казалось мне вполне естественным, и только сейчас, взглянув на все глазами Мод Брустер, я понял, насколько дикий, должно быть, у меня вид — и у меня, и у всех окружающих.

Она почувствовала насмешку в словах Волка Ларсена и снова бросила мне сочувственный взгляд. Но я заметил, что она смущена. Ироническое отношение ко мне Волка Ларсена заставило ее еще больше встревожиться за свою судьбу.

— Быть может, меня возьмет на борт какой-нибудь встречный пароход? — промолвила она.

— Никаких пароходов, кроме охотничьих шхун, вы здесь не встретите,— возразил Волк Ларсен.

— Но у меня нет одежды, нет ничего необходимого,— сказала она.— Вы, верно, забываете, сэр, что я не мужчина и не привыкла к той кочевой жизни, которую, видимо, ведете вы и ваши люди.

— Чем скорее вы привыкнете к ней, тем лучше,— отвечал Волк Ларсен.— Я дам вам материю, иголку и нитки,— помолчав, добавил он.— Надеюсь, для вас не составит слишком большого труда сшить себе одно-два платья.

Она криво усмехнулась, давая понять, что не искушена в швейном искусстве. Мне было ясно, что она испугана и сбита с толку, но отчаянно старается не подать виду.

— Надо полагать, вы, вроде нашего мистера Ван-

Вейдена, привыкли, чтобы за вас все делали другие. Думаю все же, что ваше здоровье не пострадает, если вы будете кое-что делать для себя сами. Кстати, чем вы зарабатываете на жизнь?

Она поглядела на него с нескрываемым изумлением.

— Не в обиду вам будь сказано, но людям ведь надо есть и они должны как-то добывать себе пропитание. Эти вот бьют котиков, тем и живут, я управляю своей шхуной, а мистер Ван-Вейден, по крайней мере сейчас, добывает свой харч, помогая мне. А вы чем занимаетесь?

Она пожала плечами.

— Вы сами кормите себя? Или это делает за вас кто-то другой?

— Боюсь, что большую часть жизни меня кормили другие,— засмеялась она, мужественно стараясь попасть ему в тон, но я видел, как в ее глазах, которые она не сводила с него, растет страх.

— Верно, и постель вам стлали другие?

— Мне случалось и самой делать это.

— Часто?

Она покачала головой с шутливым раскаянием.

— А вы знаете, как поступают в Соединенных Штатах с бедняками, которые, подобно вам, не зарабатывают себе на хлеб?

— Я очень невежественна,— жалобно проговорила она.— Что же там делают с такими, как я?

— Сажают в тюрьму. Их преступление заключается в том, что они не зарабатывают на пропитание, и это называется бродяжничеством. Будь я мистером Ван-Вейденом, который вечно рассуждает о том, что справедливо и что нет, я бы спросил вас: по какому праву вы живете на свете, если вы не делаете ничего, чтобы оправдать свое существование?

— Но вы не мистер Ван-Вейден, и я не обязана отвечать вам, не так ли?

Она насмешливо улыбнулась, хотя в глазах у нее по-прежнему стоял страх, и у меня сжалось сердце,— так это было трогательно. Я чувствовал, что должен вмешаться и направить разговор в другое русло.

— Заработали вы хоть доллар собственным трудом?— тоном торжествующего обличителя спросил капитан, заранее уверенный в ее ответе.

— Да, заработала,— отвечала она не спеша, и я чуть

не расхохотался, увидев, как вытянулось лицо Волка Ларсена.— Помнится, когда я была совсем маленькой, отец дал мне доллар за то, что я целых пять минут просидела смирно.

Он снисходительно улыбнулся.

— Но это было давно,— продолжала она,— и навряд ли вы станете требовать, чтобы девятилетняя девочка зарабатывала себе на хлеб.

И, немного помедлив, она добавила:

— А сейчас я зарабатываю около тысячи восьмисот долларов в год.

Все, как по команде, оторвали глаза от тарелок и уставились на нее. На женщину, зарабатывающую тысячу восемьсот долларов в год, стоило посмотреть! Волк Ларсен не скрывал своего восхищения.

— Это жалованье или сдельно? — спросил он.

— Сдельно,— тотчас отвечала она.

— Тысяча восемьсот. Полтораста долларов в месяц,— подсчитал он.— Ну что ж, мисс Брустер. У нас здесь на «Призраке» широкий размах. Считайте себя на жалованье все время, пока вы остаетесь с нами.

Она ничего не ответила. Неожиданные выверты этого человека были для нее еще внове, и она не знала, как к ним отнестись.

— Я забыл спросить о вашей профессии,— вкрадчиво продолжал он.— Какие предметы вы изготовляете? Какие вам потребуются материалы и инструменты?

— Бумага и чернила,— рассмеялась она.— Ну и, разумеется, пишущая машинка!

— Так вы — Мод Брустер! — медленно и уверенно проговорил я, словно обвиняя ее в преступлении.

Она с любопытством взглянула на меня.

— Почему вы так думаете?

— Ведь я не ошибся? — настаивал я.

Она кивнула. Теперь уже Волк Ларсен был озадачен. Это магическое имя ничего не говорило ему. Я же гордился тем, что мне оно говорило очень много, и впервые за время этой томительной беседы почувствовал свое превосходство.

— Помнится, мне как-то пришлось писать рецензию на маленький томик...— начал я небрежно, но она перебила меня.

— Вы? — воскликнула она.— Так вы...

Она смотрела на меня во все глаза.

Я кивком подтвердил ее догадку.

— Хэмфри Ван-Вейден! — закончила она со вздохом облегчения и, бросив невольный взгляд в сторону Волка Ларсена, воскликнула: — Как я рада!..

Ощутив некоторую неловкость, когда эти слова сорвались у нее с губ, она поспешила добавить:

— Я помню эту чересчур лестную для меня рецензию...

— Вы не правы,— галантно возразил я.— Говоря так, вы сводите на нет мою беспристрастную оценку и ставите под сомнение мои критерии. А ведь все наши критики были согласны со мной. Разве Лэнг не отнес ваш «Вынужденный поцелуй» к числу четырех лучших английских сонетов, вышедших из-под пера женщины?

— Но вы сами при этом назвали меня американской миссис Мейнелл! [1]

— А разве это неверно?

— Не в том дело,— отвечала она.— Просто мне было обидно.

— Неизвестное измеримо только через известное,— пояснил я в наилучшей академической манере.— Я как критик обязан был тогда определить ваше место в литературе. А теперь вы сами стали мерой вещей. Семь ваших томиков стоят у меня на полке, а рядом с ними — две книги потолще — очерки, о которых я, если позволите, скажу, что они не уступают вашим стихам, причем я, пожалуй, не возьмусь определить, для каких ваших произведений это сопоставление более лестно. Недалеко то время, когда в Англии появится никому не известная поэтесса и критики назовут ее английской Мод Брустер.

— Вы, право, слишком любезны,— мягко проговорила она, и сама условность этого оборота и манера, с которой она произнесла эти слова, пробудили во мне множество ассоциаций, связанных с моей прежней жизнью далеко, далеко отсюда. Я был глубоко взволнован. И в этом волнении была не только сладость воспоминаний, но и внезапная острая тоска по дому.

— Итак, вы — Мод Брустер! — торжественно произнес я, глядя на нее через стол.

---

[1] Мейнелл, Алиса (1847—1922) — английская поэтесса и литературный критик.

— Итак, вы — Хэмфри Ван-Вейден!—отозвалась она, глядя на меня столь же торжественно и с уважением.— Как все это странно! Ничего не понимаю. Может быть, надо ожидать, что из-под вашего трезвого пера выйдет какая-нибудь безудержно романтическая морская история?

— О нет, уверяю вас, я здесь не занимаюсь собиранием материала,— отвечал я.— У меня нет ни способностей, ни склонности к беллетристике.

— Скажите, почему вы погребли себя в Калифорнии? — спросила она, помолчав.— Это, право, нелюбезно с вашей стороны. Вас, нашего второго «наставника американской литературы» [1], почти не было видно у нас на Востоке.

Я ответил на ее комплимент поклоном, но тут же возразил:

— Тем не менее я однажды чуть не встретился с вами в Филадельфии. Там отмечали какой-то юбилей Браунинга, и вы выступали с докладом. Но мой поезд опоздал на четыре часа.

Мы так увлеклись, что совсем забыли окружающее, забыли о Волке Ларсене, безмолвно внимавшем нашей беседе. Охотники поднялись из-за стола и ушли на палубу, а мы все сидели и разговаривали. Один Волк Ларсен остался с нами. Внезапно я снова ощутил его присутствие: откинувшись на стуле, он с любопытством прислушивался к чужому языку неведомого ему мира.

Я оборвал незаконченную фразу на полуслове. Настоящее, со всеми его опасностями и тревогами, грозно встало предо мной. Мисс Брустер, видимо, почувствовала то же, что и я: она взглянула на Волка Ларсена, и я снова прочел затаенный ужас в ее глазах. Ларсен встал и деланно рассмеялся. Смех его звучал холодно и безжизненно.

— О, не обращайте на меня внимания! — сказал он, с притворным самоуничижением махнув рукой.— Я в счет не иду. Продолжайте, продолжайте, прошу вас!

Но поток нашего красноречия сразу иссяк, и мы тоже натянуто рассмеялись и встали из-за стола.

---

[1] «Наставник американской литературы» — эпитет, некогда применявшийся к Ральфу Уолдо Эмерсону (1803—1882), американскому поэту и публицисту.

Глава двадцать первая

Волк Ларсен был чрезвычайно раздосадован тем, что мы с Мод Брустер не обращали на него внимания во время нашей застольной беседы, и ему нужно было сорвать на ком-то злобу. Жертвой ее пал Томас Магридж. Кок не изменил своим привычкам, как не сменил он и своей рубашки. Насчет рубашки он, впрочем, утверждал обратное, но вид ее опровергал его слова. Засаленные же кастрюли и сковородки и грязная плита так же отнюдь не свидетельствовали о том, что камбуз содержится в чистоте.

— Я тебя предупреждал,— сказал ему Волк Ларсен.— Теперь пеняй на себя.

Лицо Магриджа побледнело под слоем сажи, а когда Волк Ларсен позвал двух матросов и велел принести конец, злополучный кок выскочил, как ошпаренный, из камбуза и заметался по палубе, увиливая от матросов, с хохотом пустившихся за ним в погоню. Вряд ли что-нибудь могло доставить им большее удовольствие. У всех чесались руки выкупать его в море, ведь именно в матросский кубрик посылал он самую омерзительную свою стряпню. Погода благоприятствовала затее. «Призрак» скользил по тихой морской глади со скоростью не более трех миль в час. Но Магридж был не из храброго десятка, и купанье ему не улыбалось. Возможно, ему уже доводилось видеть, как провинившихся тащат за кормой на буксире. К тому же вода была холодна, как лед; а кок не мог похвалиться крепким здоровьем.

Как всегда в таких случаях, подвахтенные и охотники высыпали на палубу, предвкушая потеху. Магридж, должно быть, смертельно боялся воды и проявил такую юркость и проворство, каких никто от него не ожидал. Загнанный в угол между камбузом и ютом, он, как кошка, вскочил на палубу рубки и побежал к корме. Матросы бросились ему наперерез, но он повернул, промчался по крыше рубки, перескочил на камбуз и спрыгнул на палубу. Тут он понесся на бак, преследуемый по пятам гребцом Гаррисоном. Тот уже почти настиг его, как вдруг Магридж подпрыгнул, ухватился за снасти и, повиснув на них, выбросил вперед обе ноги и угодил подбежавшему Гаррисону в живот. Матрос глухо охнул, согнулся пополам и повалился на палубу.

Охотники приветствовали подвиг кока аплодисментами и взрывом хохота, а Магридж, увернувшись у фок-мачты от доброй половины своих преследователей, опять побежал к корме, проскальзывая между остальными матросами, как нападающий между игроками на футбольном поле. Кок стремительно мчался по юту к корме. Он удирал с такой поспешностью, что, заворачивая за угол рубки, поскользнулся и упал. У штурвала стоял Нилсон, и кок, падая, сшиб его с ног. Оба покатились по палубе, но встал один Магридж. По странной игре случая, его тщедушное тело не пострадало, а здоровенный матрос при этом столкновении сломал себе ногу.

К штурвалу стал Парсонс, и преследование продолжалось. Магридж, обезумев от страха, носился по всему судну — с носа на корму и обратно. Матросы с криками, с улюлюканьем гонялись за ним, а охотники гоготали и подбадривали кока. У носового люка на Магриджа навалились было трое матросов, но он тут же, как угорь, выскользнул из-под этой кучи тел и с окровавленной губой и разодранной в клочья рубахой — виновницей всех его бед — прыгнул на грот-ванты. Он карабкался все выше и выше, на самую верхушку мачты.

Человек шесть матросов преследовали его до салинга, где часть их и осталась, выжидая, а дальше, по тонким стальным штагам, полезли, подтягиваясь на руках, только двое — Уфти-Уфти и Блэк, гребец Лэтимера.

Это было рискованное предприятие: они висели в воздухе в ста футах над палубой, и в таком положении им трудно было защищаться от ног Магриджа. А тот лягался, и весьма свирепо. Наконец, Уфти-Уфти, держась одной рукой, изловчился и схватил кока за ногу, и почти тотчас Блэк схватил его за другую ногу, и все трое, сплетясь в один качающийся клубок и продолжая бороться, начали скользить вниз, пока не свалились прямо на руки поджидавших их на салинге товарищей.

Борьба в воздухе окончилась, и Томаса Магриджа спустили на палубу. Он визжал и выкрикивал что-то невнятное, на губах у него выступила кровавая пена. Волк Ларсен завязал петлю на конце троса и продел ее под мышки коку. Затем Магриджа потащили на корму и швырнули за борт. Трос начали травить: сорок, пятьдесят, шестьдесят футов,— и только тогда Волк Ларсен крикнул:

— Довольно!

Уфти-Уфти закрепил трос. «Призрак» качнуло носом вниз, трос натянулся и вытащил кока на поверхность.

Нельзя было не пожалеть беднягу. Пусть он и не мог утонуть, пусть даже у него, как у кошки, было «девять жизней», но он испытывал все муки утопающего. «Призрак» шел медленно; когда волна поднимала корму и судно скользило носом вниз, трос вытаскивал несчастного на поверхность и он мог немного отдышаться; но затем судно начинало лениво взбираться на другую волну, корма опускалась, трос ослабевал; и кок снова погружался в воду.

Я совсем забыл о существовании Мод Брустер и вспомнил о ней лишь в ту минуту, когда она внезапно появилась рядом со мной. Она подошла так неслышно, что я вздрогнул от неожиданности, увидав ее. Она впервые показывалась на палубе, и команда встретила ее гробовым молчанием.

— Что тут за веселье? — спросила она.

— Спросите капитана Ларсена,— холодно отвечал я, стараясь сохранить самообладание, хотя вся кровь во мне закипела при мысли, что женщине предстоит стать свидетельницей этой жестокой потехи.

Мод Брустер повернулась, чтобы последовать моему совету, и взгляд ее упал на Уфти-Уфти. Он стоял в двух шагах от нее, держа в руке конец троса, вся его подобранная, настороженная фигура дышала природным изяществом.

— Вы ловите рыбу? — спросила она матроса.

Он не отвечал. Глаза его, внимательно оглядывавшие море за кормой, внезапно расширились.

— Акула, сэр! — крикнул он.

— Тащи! Живо! Берись все разом! — скомандовал Волк Ларсен, и сам, опередив других, подскочил к тросу.

Магридж услыхал предостерегающий крик Уфти-Уфти и дико заорал. Я уже мог разглядеть черный плавник, рассекавший воду и настигавший кока быстрее, чем мы успевали подтаскивать его к шхуне. У нас и у акулы шансы были равны — вопрос решали доли секунды. Когда Магридж был уже под самой кормой, нос шхуны взмыл на гребень волны. Корма опустилась, и это дало преимущество акуле. Плавник скрылся, в воде мелькнуло белое брюхо. Волк Ларсен действовал почти столь

же стремительно. Всю свою силу он вложил в один могучий рывок. Тело кока взвилось над водой, а за ним высунулась голова хищника. Магридж поджал ноги. Акула, казалось, едва коснулась одной из них и тут же с всплеском ушла под воду. Но в этот миг Томас Магридж издал пронзительный вопль. В следующую секунду он, как пойманная на удочку рыба, перелетел через борт, упал на четвереньки и перекувырнулся раза два.

На палубу брызнул фонтан крови. Правой ступни Магриджа как не бывало: акула отхватила ее по самую щиколотку. Я взглянул на Мод Брустер. Ее лицо побелело, глаза расширились от ужаса. Но она смотрела не на Томаса Магриджа, а на Волка Ларсена. Он заметил это и сказал с обычным коротким смешком:

— У мужчин свои развлечения, мисс Брустер. Может, они грубее, чем те, к которым вы привыкли, но это наши, мужские развлечения. Акула не входила в расчет. Она...

В этот миг Магридж приподнял голову и, оценив размеры своей потери, переполз по палубе и со всей мочи впился зубами в ногу капитана. Ларсен спокойно нагнулся и большим и указательным пальцами сдавил ему шею чуть пониже ушей. Челюсти кока медленно разжались, и Ларсен высвободил ногу.

— Как я уже сказал,— продолжал он, будто ничего не произошло,— акула не входила в расчет. То была... ну, скажем, воля провидения!

Мод Брустер словно не слышала его слов, но в глазах у нее появилось новое выражение — гнева и отвращения. Она хотела уйти, сделала шага два, пошатнулась и протянула ко мне руку. Я подхватил ее и усадил на палубу рубки. Я боялся, что она лишится чувств, но она овладела собой.

— Принесите турникет, мистер Ван-Вейден,— крикнул мне Волк Ларсен.

Я колебался. Губы мисс Брустер зашевелились, и хотя она не могла вымолвить ни слова, ее глаза ясно приказывали мне прийти на помощь пострадавшему.

— Прошу вас! — собравшись с силами, пробормотала она, и я не мог ослушаться.

Я уже приобрел некоторый навык в хирургии, и Волк Ларсен, дав мне в помощь двоих матросов и сделав несколько указаний, тут же занялся другим делом — он

решил отомстить акуле. За борт бросили на тросе массивный крюк, насадив на него в качестве приманки жирный кусок солонины. Я едва успел зажать Магриджу все поврежденные вены и артерии, как матросы, помогая себе песней, уже вытаскивали провинившегося хищника из воды.

Я не видел, что происходило у грот-мачты, но мои «ассистенты» поочередно бегали туда поглядеть. Шестнадцатифутовую акулу подтянули к грот-вантам. Рычагами ей до предела раздвинули челюсти, вставили в пасть заостренный с обоих концов крепкий кол, и челюсти уже не могли сомкнуться. После этого, вытащив из пасти засевший там крюк, акулу бросили в море. Все еще полная сил, но совершенно беспомощная, она была обречена на медленную голодную смерть, которой заслуживала куда меньше, чем человек, придумавший для нее эту кару.

Глава двадцать вторая

Когда Мод Брустер направилась ко мне, я уже знал, о чем пойдет речь. Минут десять я наблюдал, как она толкует о чем-то с механиком, и теперь молча поманил ее в сторону, подальше от рулевого. Лицо ее было бледно и решительно, глаза, расширившиеся от волнения, казались особенно большими и смотрели на меня испытующе. Я почувствовал какую-то робость и даже страх, так как знал, что она хочет заглянуть в душу Хэмфри Ван-Вейдена, а Хэмфри Ван-Вейден едва ли мог особенно гордиться собой, с тех пор как ступил на борт «Призрака».

Мы подошли к краю юта, и девушка повернулась и взглянула на меня в упор. Я осмотрелся — не подслушивают ли нас.

— В чем дело? — участливо спросил я, но лицо ее оставалось все таким же решительным и суровым.

— Я готова допустить,— начала она,— что утреннее происшествие было просто несчастным случаем. Но я только что говорила с мистером Хэскинсом. Он рассказал мне, что в тот день, когда нас спасли, в то самое время, когда я спала в каюте, двух человек утопили, преднамеренно утопили, попросту говоря — убили.

В голосе ее звучал вопрос, и она все так же смотре-

ла на меня в упор, словно обвиняя в этом преступлении или по крайней мере в соучастии в нем.

— Вам сказали правду,— отвечал я.— Их действительно убили.

— И вы допустили это! — воскликнула она.

— Вы хотите сказать, что я не смог этого предотвратить? — мягко возразил я.

— Но вы пытались? — Она сделала ударение на «пытались»; в голосе ее звучала надежда.— Да нет, вы и не пытались! — тут же добавила она, предвосхитив мой ответ.— Но почему же?

Я пожал плечами.

— Не забывайте, мисс Брустер, что вы еще совсем недавно попали сюда и не знаете, какие тут царят законы. Вы принесли с собой некие высокие понятия о гуманности, чести, благородстве и тому подобных вещах. Но вы скоро убедитесь, что здесь им нет места.— И, помолчав, я присовокупил с невольным вздохом: — Мне уже пришлось убедиться в этом.

Она недоверчиво покачала головой.

— Чего же вы хотите? — спросил я.— Чтобы я взял нож, ружье или топор и убил этого человека?

Она испуганно отшатнулась.

— Нет, только не это!

— Так что же? Убить себя?

— Почему вы все говорите только о физическом воздействии? — возразила она.— Ведь существует еще духовное мужество, и оно всегда оказывало свое влияние.

— Так,— улыбнулся я.— Вы не хотите, чтобы я убивал его или себя, но хотите, чтобы я позволил ему убить меня.

И, не дав ей возразить, я продолжал:

— Духовное мужество — бесполезная добродетель в этом крохотном пловучем мирке, куда мы с вами попали. У одного из убитых, Лича, это мужество было развито необычайно сильно. Да и у второго, у Джонсона,— тоже. И это не принесло им добра — наоборот, погубило их. Такая же судьба ждет и меня, если я вздумаю проявить то небольшое мужество, которое еще во мне осталось.

Вы должны понять, мисс Брустер, понять раз и навсегда, что Ларсен — это не человек, а чудовище. Он лишен совести. Для него нет ничего святого. Он не оста-

навливается ни перед чем. По его прихоти меня насильно задержали на этой шхуне, и только по его прихоти я пока еще цел. Я ничего не предпринимаю и не могу предпринять, потому что я — раб этого чудовища, как и вы теперь его рабыня, потому что я хочу жить, как и вы хотите жить, и еще потому, что я не в состоянии бороться и победить его, как и вы этого не можете.

Она молчала, ожидая, что я скажу еще.

— Что же остается? Я в положении слабого. Я молчу и терплю унижения, как и вам придется молчать и терпеть. И это разумно. Это лучшее, что мы можем сделать, если хотим жить. Победа не всегда достается сильному. У нас не хватит сил, чтобы открыто бороться с ним. Значит, мы должны действовать иначе и постараться победить его хитростью. И вы, если захотите последовать моему совету, должны будете поступать так. Я знаю, что мое положение опасно, но ваше, скажу вам откровенно,— еще опаснее. И мы должны стоять друг за друга и действовать сообща, но хранить наш союз в тайне. Может случиться, что я не смогу открыто поддержать вас; точно так же и вы должны молчать при любых оскорблениях, которые могут выпасть на мою долю. Нельзя перечить этому человеку и раздражать его. Как бы это нам ни претило, мы должны улыбаться и быть любезны с ним.

— Все же я не понимаю...— сказала она и с растерянным видом провела рукой по лбу.

— Послушайтесь меня,— решительно произнес я, заметив, что Волк Ларсен, который расхаживал по палубе, разговаривая с Лэтимером, начал поглядывать в нашу сторону.— Послушайтесь меня, и вы очень скоро убедитесь, насколько я прав.

— Так что же мне все-таки делать? — спросила она, заметив тревожный взгляд, брошенный мною на Волка Ларсена, и, по-видимому, поддавшись силе моих убеждений, что не могло не польстить мне.

— Прежде всего оставьте мысль о духовном мужестве,— поспешно сказал я.— Не восстанавливайте этого зверя против себя. Держитесь с ним приветливо, беседуйте о литературе и искусстве — такие темы он очень любит. Вы увидите, что он внимательный слушатель и отнюдь не дурак. И, ради самой себя, старайтесь не присутствовать при всевозможных зверствах, которые час-

тенько повторяются на этом судне. Тогда вам легче будет играть свою роль.

— Так я должна лгать? — с возмущением произнесла она.— Лгать словами и поступками?

Волк Ларсен отошел от Лэтимера и направлялся к нам. Я был в отчаянии.

— Умоляю вас, поймите меня,— торопливо проговорил я, понизив голос.— Весь ваш жизненный опыт здесь ничего не стоит. Вы должны все начинать сызнова. Да, я знаю, я вижу, что вы привыкли взглядом подчинять себе людей. Я читаю в ваших глазах большое духовное мужество, и вы уже подчиняли себе меня, повелевали мной. Но не пытайтесь воздействовать таким путем на Волка Ларсена — он только посмеется над вами. Скорее вам удалось бы укротить льва. Он станет... Я всегда гордился тем, что открыл этот талант,— поспешно свернул я разговор на другое, заметив, что Ларсен уже поднялся на ют и приближается к нам.— Редакторы побаивались его, издатели слышать о нем не хотели. Но я оценил его сразу и не ошибся: его гений показал себя в полном блеске, когда он выступил со своей «Кузницей».

— И подумать только, что это газетные стихи! — ловко подхватила мисс Брустер.

— Да, они действительно впервые увидели свет в газете,— подтвердил я,— но отнюдь не потому, что редакторам журналов не удалось заранее познакомиться с ними.

— Мы толковали о Гаррисе,— пояснил я, обращаясь к Волку Ларсену.

— А! — проронил он.— Помню я эту «Кузницу». Всякие красивые чувства и несокрушимая вера в иллюзии. Кстати, мистер Ван-Вейден, заглянули бы вы к нашему коку. Он воет от боли и мечется на койке.

Так меня бесцеремонно спровадили с юта к Магриджу; Магридж лежал, погруженный в крепкий сон после хорошей дозы морфия, которую я сам же ему дал. Но я не стал торопиться обратно на палубу, а когда поднялся, то почувствовал некоторое удовлетворение, увидав, что мисс Брустер оживленно беседует с капитаном. Значит, она все-таки последовала моему совету. Повторяю, я был доволен. И вместе с тем несколько огорчен и уязвлен: итак, она оказалась способной на то, о чем я ее просил и что так явно претило ей!

Глава двадцать третья

Крепкий попутный ветер дул ровно и гнал «Призрак» к северу, прямо на стадо котиков. Мы встретились с ними почти у самой сорок четвертой параллели, в бурных холодных водах, над которыми ветер вечно терзает и рвет густую пелену тумана. Иногда мы целыми днями не видели солнца и не могли делать наблюдений. Потом ветер разгонял туман, вокруг нас снова искрились и сверкали волны, и мы могли определять свои координаты. Но после двух-трех дней ясной погоды туман опять стлался над морем и, казалось, еще более густой, чем прежде.

Охота была опасной. Но каждое утро шлюпки спускались на воду, туман тут же поглощал их, и мы уже не видели их до самого вечера, а то и до ночи, когда они, одна за другой, появлялись, наконец, из серой мглы, словно вереница морских призраков. Уэйнрайт — охотник, захваченный Волком Ларсеном вместе со шлюпкой и двумя матросами,— воспользовался туманом и бежал. Как-то утром он скрылся за плотной пеленой тумана вместе со своими людьми, и больше мы их не видели. Вскоре мы узнали, что они, переходя со шхуны на шхуну, благополучно добрались до своего судна.

Я твердо решил последовать их примеру, но удобного случая все не представлялось. Помощнику капитана не положено выходить на шлюпке, и хотя я всячески пытался обойти это правило, Волк Ларсен не изменил заведенного порядка. Если бы этот план мне удался, я так или иначе сумел бы увезти с собой и мисс Брустер. Ее положение на шхуне все более усложнялось, и я со страхом думал о том, к чему это может привести. Как ни старался я гнать от себя эти мысли, они неотступно преследовали меня.

В свое время я перечитал немало морских романов, в которых неизменно фигурировала женщина — одна на корабле среди матросов,— но только теперь я понял, что никогда в сущности не вдумывался в эту ситуацию, хотя авторы и обыгрывали ее со всех сторон. И вот я сам столкнулся с таким же положением лицом к лицу и переживал его чрезвычайно остро. Ведь героиней была Мод Брустер — та самая Мод Брустер, чьи книги уже

давно очаровывали меня, а теперь я испытывал на себе и всю силу ее личного обаяния.

Трудно было представить себе существо, более чуждое этой грубой силе. Это было нежное, эфирное создание. Тоненькая и гибкая, как тростинка, она отличалась удивительной легкостью и грацией движений. Мне чудилось, что эта девушка совсем не ступает по земле,— такой она казалась невесомой. Когда Мод Брустер приближалась ко мне, у меня всякий раз создавалось впечатление, что она не идет, а скользит по воздуху, как пушинка, или парит бесшумно, как птица.

Нежная и хрупкая, она походила на дрезденскую фарфоровую статуэтку, и было в этом что-то необычайно трогательное. С той минуты, когда я, поддерживая ее под локоть, помог ей спуститься в каюту, мне постоянно казалось, что одно грубое прикосновение — и ее не станет. Никогда я не видел более полной гармонии тела и духа. Ее стихи называли утонченными и одухотворенными, но то же самое можно было сказать и о ее внешности. Казалось, ее тело переняло свойства ее души, приобрело те же качества и служило лишь тончайшей нитью, связующей ее с реальной жизнью. Воистину, легки были ее шаги по земле и мало было в ней от сосуда скудельного.

Она являла разительный контраст Волку Ларсену. Между ними не только не было ничего общего, но они во всем были резко противоположны друг другу. Как-то утром, когда они гуляли вдвоем по палубе, я, глядя на них, подумал, что они стоят на крайних ступенях эволюции человеческого общества. Ларсен воплощал в себе первобытную дикость, Мод Брустер — всю утонченность современной цивилизации. Правда, Ларсен обладал необычайно развитым для дикаря интеллектом, но этот интеллект был целиком направлен на удовлетворение его звериных инстинктов и делал его еще более страшным дикарем. У него была великолепная мускулатура, мощное тело, но, несмотря на его грузность, шагал он легко и уверенно. В том, как он поднимал и ставил ногу, было что-то напоминавшее хищника в джунглях. Все его движения отличались кошачьей мягкостью и упругостью, но превыше всего в нем чувствовалась сила. Я сравнивал этого человека с огромным тигром, бесстрашным и хищным зверем. Да, он, несомненно, походил на тигра, и в

глазах у него часто вспыхивали такие же свирепые огоньки, какие мне доводилось видеть в глазах у леопардов и других хищников, посаженных в клетку.

Сегодня, наблюдая за Ларсеном и мисс Брустер, когда они прохаживались взад и вперед по палубе, я заметил, что не он, а она положила конец прогулке. Они прошли мимо меня, направляясь к трапу в кают-компанию, и я сразу почувствовал, что мисс Брустер чем-то крайне встревожена, хотя и не подает виду. Взглянув на меня, она произнесла несколько ничего не значащих слов и рассмеялась довольно непринужденно, но глаза ее, словно помимо воли, обратились на Волка Ларсена, и хотя она тотчас опустила их, я успел заметить промелькнувший в них ужас.

Разгадку этого я прочел в его глазах. Серые, холодные, жестокие, глаза эти теплились сейчас мягким, золотистым светом. Казалось, в них пляшут крохотные искорки, которые то меркнут и затухают, то разгораются так, что весь зрачок полнится лучистым сиянием. Оттого, быть может, в них и был этот золотистый свет. Они манили и повелевали, говорили о волнении в крови. В них горело желание — какая женщина могла бы этого не понять! Только не Мод Брустер!

Ее испуг передался мне, и в этот миг самого отчаянного страха, какой может испытать мужчина, я понял, как она мне дорога. И вместе с нахлынувшим на меня страхом росло сознание, что я люблю ее. Страх и любовь терзали мое сердце, заставляли кровь то леденеть, то бурно кипеть в жилах, и в то же время какая-то сила, над которой я был не властен, приковывала мой взгляд к Волку Ларсену. Но он уже овладел собой. Золотистый свет и пляшущие искорки погасли в его глазах, взгляд снова стал холодным и жестким. Он сухо поклонился и ушел.

— Мне страшно,— прошептала Мод Брустер, и по телу ее пробежала дрожь.— Как мне страшно!

Мне тоже было страшно, и я был в полном смятении, поняв, как много она для меня значит. Все же, сделав над собой усилие, я отвечал спокойно:

— Все обойдется, мисс Брустер! Все обойдется, поверьте!

Она взглянула на меня с благодарной улыбкой, от которой сердце мое затрепетало, и начала спускаться по трапу.

А я долго стоял там, где она оставила меня. Я должен был разобраться в происшедшем, понять значение совершившейся в моей жизни перемены. Итак, любовь, наконец, пришла ко мне, пришла, когда я менее всего ее ждал, когда все запрещало мне даже помышлять о ней. Раздумывая над жизнью, я, разумеется, всегда признавал, что любовь рано или поздно постучится и ко мне. Но долгие годы, проведенные в одиночестве, среди книг, не могли подготовить меня к встрече с нею.

И вот любовь пришла! Мод Брустер! Память мгновенно перенесла меня к тому дню, когда первый тоненький томик ее стихов появился на моем письменном столе. Как наяву, встал предо мной и весь ряд таких же томиков, выстроившихся на моей книжной полке. Как я приветствовал появление каждого из них! Они выходили по одному в год и как бы знаменовали для меня наступление нового года. Я находил в них родственные мне мысли и чувства, и они стали постоянными спутниками моей духовной жизни. А теперь заняли место и в моем сердце.

В сердце? Внезапно мои мысли приняли другое направление. Я словно взглянул на себя со стороны и усомнился в себе. Мод Брустер... Я — Хэмфри Ван-Вейден, которого Чарли Фэрасет окрестил «рыбой», «бесчувственным чудовищем», «демоном анализа»,— влюблен! И тут же, без всякой видимой связи, мне пришла на память маленькая заметка в биографическом справочнике, и я сказал себе: «Она родилась в Кэмбридже, ей двадцать семь лет». И мысленно воскликнул: «Двадцать семь лет, и она все еще свободна и не влюблена!» Но откуда я мог знать, что она не влюблена? Боль от внезапно вспыхнувшей ревности подавила остатки сомнений. В чем тут еще сомневаться! Я ревную — значит люблю. И женщина, которую я люблю,— Мод Брустер.

Как? Я, Хэмфри Ван-Вейден, влюблен? Сомнения снова овладели мной. Не то чтобы я боялся любви или был ей не рад. Напротив, убежденный идеалист, я всегда восхвалял любовь, считал ее величайшим благом на земле, целью и венцом существования, самой яркой радостью и самым большим счастьем, которое следует призывать и встречать с открытой душой. Но когда любовь пришла, я не мог этому поверить. Такое счастье не для

меня. Это слишком невероятно. Мне невольно припомнились стихи Саймонса:

Средь сонма женщин много долгих лет
Блуждал я, но искал тебя одну.

А я давно перестал искать, решив, что «величайшее благо», как видно, не для меня и Фэрасет прав: я не такой, как все нормальные люди, я — «бесчувственное чудовище», книжный червь, живущий только разумом и только в этом способный находить усладу. И хотя всю жизнь я был окружен женщинами, но воспринимал их чисто эстетически. По временам мне и самому начинало казаться, что я из другого теста, нежели все, и обречен жить монахом, и не дано мне испытать те вечные или преходящие страсти, которые я наблюдал и так хорошо понимал в других. И вот страсть пришла. Пришла нежданно-негаданно.

В каком-то экстазе я побрел по палубе, бормоча про себя прелестные стихи Элизабет Броунинг:

Когда-то я покинул мир людей
И жил один среди моих видений.
Я не знавал товарищей милей
И музыки нежней их песнопений.

Но еще более нежная музыка звучала теперь в моих ушах, и я был глух и слеп ко всему окружающему. Резкий окрик Волка Ларсена заставил меня очнуться.

— Какого черта вам тут нужно? — рявкнул он.

Я набрел на матросов, красивших борт шхуны, и чуть не опрокинул ведро с краской.

— Вы что — очумели? Может, у вас солнечный удар? — продолжал он бушевать.

— Нет, расстройство желудка,— отрезал я и как ни в чем не бывало зашагал дальше.

Глава двадцать четвертая

События, разыгравшиеся на «Призраке» вскоре после того, как я сделал открытие, что влюблен в Мод Брустер, останутся навсегда одним из самых волнующих воспоминаний моей жизни. Все произошло на протяжении каких-нибудь сорока часов. Прожив тридцать пять

лет в тиши и уединении, я неожиданно попал в полосу самых невероятных приключений. Никогда не доводилось мне испытывать столько треволнений за какие-нибудь сорок часов. И если какой-то голос нашептывает мне порой, что при сложившихся обстоятельствах я держался не так уж плохо,— я не очень-то плотно затыкаю уши...

Все началось с того, что в полдень, за обедом, Волк Ларсен предложил охотникам питаться впредь в своем кубрике. Это было неслыханным нарушением обычая, установившегося на промысловых шхунах, где охотники неофициально приравниваются к офицерам. Ларсен не пожелал пускаться в объяснения, но все было ясно без слов. Хорнер и Смок начали оказывать Мод Брустер знаки внимания. Это было только смешно и нисколько не задевало ее, но капитану явно пришлось не по вкусу.

Распоряжение капитана было встречено гробовым молчанием; остальные четверо охотников многозначительно покосились на виновников изгнания. Джок Хорнер, малый выдержанный, и глазом не сморгнул, но Смок побагровел и уже готов был что-то возразить. Однако Волк Ларсен следил за ним и ждал, глаза его холодно поблескивали, и Смок так и не проронил ни слова.

— Вы, кажется, хотели что-то сказать? — вызывающе спросил его Волк Ларсен.

Но Смок не принял вызова.

— Это насчет чего? — в свою очередь спросил он и при этом с таким невинным видом, что Волк Ларсен не сразу нашелся, что сказать, а все присутствующие усмехнулись.

— Не знаю,— протянул Волк Ларсен.— Мне, откровенно говоря, показалось, что вам не терпится получить пинка.

— Это за что же? — все так же невозмутимо возразил Смок.

Охотники уже откровенно улыбались во весь рот. Капитан готов был убить Смока, и я убежден, что только присутствие Мод Брустер удержало его от кровопролития. Впрочем, не будь ее здесь, Смок и не вел бы себя так. Он был слишком осторожен, чтобы раздражать Волка Ларсена в такую минуту, когда тот беспрепятственно мог пустить в ход кулаки. Все же я очень

боялся, что дело дойдет до драки, но крик рулевого разрядил напряжение.

— Дым на горизонте! — донеслось с палубы через открытый люк трапа.

— Направление? — крикнул в ответ Волк Ларсен.

— Прямо за кормой, сэр.

— Не русские ли? — высказал предположение Лэтимер.

При этих словах лица охотников помрачнели. Русский пароход мог быть только крейсером, и хотя охотники имели лишь смутное представление о координатах шхуны, но они все же знали, что находятся вблизи границ запретных вод, а браконьерские подвиги Волка Ларсена были общеизвестны. Все глаза устремились на него.

— Вздор! — со смехом отозвался тот.— На этот раз, Смок, вы еще не попадете на соляные копи. Но вот что я вам скажу: ставлю пять против одного, что это «Македония».

Никто не принял его пари, и он продолжал:

— А если это «Македония», так держу десять против одного, что не миновать нам стычки.

— Нет уж, покорно благодарю,— проворчал Лэтимер.— Можно, конечно, и рискнуть, когда есть какой-нибудь шанс. Но разве у вас с вашим братцем дело хоть раз обошлось без стычки? Ставлю двадцать против одного, что и теперь будет то же.

Все засмеялись, в том числе и сам Ларсен, и обед прошел сравнительно гладко — главным образом благодаря моему долготерпению, так как капитан взялся после этого изводить меня, то вышучивая, то принимая покровительственный тон, и довел дело до того, что меня уже трясло от бешенства и я еле сдерживался. Но я знал, что должен держать себя в руках ради Мод Брустер, и был вознагражден, когда глаза ее на миг встретились с моими и сказали мне яснее слов: «Крепитесь, крепитесь!»

Встав из-за стола, мы поднялись на палубу. Встреча с пароходом сулила какое-то разнообразие в монотонном морском плавании, а предположение, что это Смерть Ларсен на своей «Македонии», особенно взволновало всех. Свежий ветер, поднявший накануне сильную волну, уже с утра начал стихать, и теперь можно

было спускать лодки; охота обещала быть удачной. С рассвета мы шли по совершенно пустынному морю, а сейчас перед нами было большое стадо котиков.

Дымок парохода по-прежнему виднелся вдали за кормой, и пока мы спускали лодки, стал заметно приближаться к нам. Наши шлюпки рассеялись по океану и взяли курс на север. Время от времени на какой-нибудь из них спускали парус, после чего оттуда доносились звуки выстрелов, а затем парус взвивался снова. Котики шли густо, ветер совсем стих, все благоприятствовало охоте. Выйдя на подветренную сторону от крайней шлюпки, мы обнаружили, что море здесь буквально усеяно телами спящих котиков. Я никогда еще не видел ничего подобного — котики окружали нас со всех сторон и, растянувшись на воде по двое, по трое или небольшими группами, мирно спали, как ленивые щенки.

Дым все приближался, и уже начал вырисовываться корпус парохода и его палубные надстройки. Это была «Македония». Я прочел название судна в бинокль, когда оно проходило справа, всего в какой-нибудь миле от нас. Волк Ларсен бросил злобный взгляд в его сторону, а Мод Брустер с любопытством посмотрела на капитана.

— Где же стычка, которую вы предрекали, капитан Ларсен? — весело спросила она.

Он взглянул на нее с усмешкой, и лицо его на миг смягчилось.

— А вы чего ждали? Что они возьмут нас на абордаж и перережут нам глотки?

— Да, чего-нибудь в этом роде,— призналась она.— Я ведь так мало знаю нравы морских охотников, что готова ожидать чего угодно.

Он кивнул.

— Правильно, правильно! Ваша ошибка лишь в том, что вы могли ожидать чего-нибудь и похуже.

— Как? Что же еще может быть хуже, если нам перережут глотки? — наивно удивилась она.

— Хуже, если у нас взрежут кошельки,— отвечал он.— В наше время человек устроен так, что его жизнеспособность определяется содержанием его кошелька.

— «Горсть мусора получит тот, кто кошелек мой украдет»,— процитировала она.

— Но кто крадет мой кошелек, крадет мое право на

жизнь,— последовал ответ.— Старая поговорка наизнанку... Ведь он крадет мой хлеб, и мой кусок мяса, и мою постель и тем самым ставит под угрозу и мою жизнь. Вы же знаете, что того супа и хлеба, которые бесплатно раздаются беднякам, хватает далеко не на всех голодных, и когда у человека пуст кошелек, ему ничего не остается, как умереть собачьей смертью... если он не изловчится тем или иным способом быстро свой кошелек пополнить.

— Но я не вижу, чтобы этот пароход покушался на ваш кошелек.

— Подождите, еще увидите,— мрачно отвечал он.

Ждать нам пришлось недолго. Пройдя на несколько миль вперед за наши шлюпки, «Македония» спустила свои. Мы знали, что на ней четырнадцать шлюпок, а у нас было только пять, после того как на одной удрал Уэйнрайт. «Македония» сначала спустила несколько шлюпок с подветренной стороны и довольно далеко от нашей крайней шлюпки, потом стала спускать их поперек нашего курса и последнюю спустила далеко с наветренной стороны от нашей ближайшей шлюпки. Маневр «Македонии» испортил нам охоту. Позади нас котиков не было, а впереди бороздили море четырнадцать чужих шлюпок и, словно огромная метла, сметали перед собою стадо.

Закончив отстрел зверя на узкой полосе в три-четыре мили,— это было все, что оставила нам для охоты «Македония»,— наши шлюпки вынуждены были вернуться на шхуну. Ветер улегся, еле заметное дуновение проносилось над притихшим океаном. Такая погода, при встрече с огромным стадом котиков, могла бы обеспечить отличную охоту. Даже в удачный сезон таких дней выпадает немного, и все наши матросы — и гребцы, и рулевые, не говоря уже об охотниках,— поднимаясь на борт, кипели злобой. Каждый чувствовал себя ограбленным. Пока втаскивали шлюпки, проклятия так и сыпались на голову Смерти Ларсена, и если бы крепкие слова могли убивать, он, верно, был бы обречен на погибель.

— Провалиться бы ему в преисподнюю на веки вечные! — проворчал Луис, бросая мне многозначительный взгляд и присаживаясь отдохнуть, после того как он принайтовил свою шлюпку.

— Вот прислушайтесь-ка к их словам и скажите, что еще могло бы так их взволновать,— заговорил Волк Ларсен.— Вера? Любовь? Высокие идеалы? Добро? Красота? Истина?

— В них оскорблено врожденное чувство справедливости,— заметила Мод Брустер.

Она стояла шагах в десяти от нас, придерживаясь одной рукой за грот-ванты и чуть покачиваясь в такт легкой качке шхуны. Она сказала это негромко, но я вздрогнул — голос ее прозвенел, как чистый колокольчик. Как он ласкал мой слух! Я едва осмелился взглянуть на нее, боясь выдать себя. Светло-каштановые волосы ее, выбиваясь из-под морской фуражки, золотились на солнце и словно ореолом окружали нежный овал лица. Она была очаровательна и полна соблазна, и вместе с тем необычайная одухотворенность ее облика придавала ей что-то неземное! Все мое прежнее восторженное преклонение перед жизнью воскресло во мне перед столь дивным ее воплощением, и холодные рассуждения Волка Ларсена о смысле жизни показались нелепыми и смешными.

— Вы сентиментальны, как мистер Ван-Вейден,— язвительно произнес Ларсен.— Почему эти люди чертыхаются? Да потому, что кто-то помешал исполнению их желаний. А каковы их желания? Пожрать повкусней да поваляться на мягкой постели, сойдя на берег, после того как им выплатят кругленькую сумму. Женщины и вино, животный разгул — вот и все их желания, все, чем полны их души — их высшие стремления, их идеалы, если хотите. То, как они проявляют свои чувства, зрелище мало привлекательное, зато сейчас очень ясно видно, что они задеты за живое. Растревожить их душу можно сильнее всего, если залезть к ним в карман.

— Однако по вашему поведению не видно, чтобы к вам залезли в карман,— сказала она смеясь.

— Видимо, я просто веду себя иначе, а ко мне тоже залезли в карман и, следовательно, растревожили и мою душу. Если подсчитать примерно, сколько шкур украла у нас сегодня «Македония», то, учитывая последние цены на котиковые шкуры на лондонском рынке, «Призрак» потерял тысячи полторы долларов, никак не меньше.

— Вы говорите об этом так спокойно...— начала она.

— Но я совсем не спокоен,— перебил он.— Я мог бы убить того, кто меня ограбил. Да, да, я знаю — он мой брат! Вздор! Сентименты!

Внезапно выражение его лица изменилось, и он проговорил менее резко и с ноткой искренности в голосе:

— Вы, люди сентиментальные, должны быть счастливы, поистине счастливы, мечтая о чем-то своем и находя в жизни что-то хорошее. Найдете что-нибудь хорошее и, глядишь, сами себя чувствуете хорошими. А вот скажите мне, вы оба, есть что-нибудь хорошее во мне?

— Внешне вы, по-своему, совсем не плохи,— определил я.

— В вас заложено все, чтобы творить добро,— отвечала Мод Брустер.

— Так я и знал! — сердито воскликнул он.— Ваши слова для меня пустой звук. В том, как вы выразили свою мысль, нет ничего ясного, четкого, определенного. Ее нельзя взять в руки и рассмотреть. Собственно говоря, это даже не мысль. Это впечатление, сентимент, выросший из иллюзии, но вовсе не плод разума.

Понемногу его голос смягчался, и в нем снова прозвучала искренняя нотка.

— Видите ли, я тоже порой ловлю себя на желании быть слепым к фактам жизни и жить иллюзиями и вымыслами. Они лживы, насквозь лживы, они противоречат здравому смыслу. И, несмотря на это, мой разум подсказывает мне, что высшее наслаждение в том и состоит, чтобы мечтать и жить иллюзиями, хоть они и лживы. А ведь в конце-то концов наслаждение — единственная наша награда в жизни. Не будь наслаждения — не стоило бы и жить. Взять на себя труд жить и ничего от жизни не получать — да это же хуже, чем быть трупом. Кто больше наслаждается, тот и живет полнее, а вас все ваши вымыслы и фантазии огорчают меньше, а тешат больше, чем меня — мои факты.

Он медленно, задумчиво покачал головой.

— Часто, очень часто я сомневаюсь в ценности человеческого разума. Мечты, вероятно, дают нам больше, чем разум, приносят больше удовлетворения. Эмоциональное наслаждение полнее и длительнее интеллектуального, не говоря уж о том, что за мгновенья интеллек-

туальной радости потом расплачиваешься черной меланхолией. А эмоциональное удовлетворение влечет за собой лишь легкое притупление чувств, которое скоро проходит. Я завидую вам, завидую вам!

Он внезапно оборвал свою речь, и по губам его скользнула знакомая мне странная усмешка.

— Но я завидую вам умом, а не сердцем, заметьте. Зависть — продукт мозга, ее диктует мне мой разум. Так трезвый человек, которому надоела его трезвость, жалеет, глядя на пьяных, что он сам не пьян.

— Вы хотите сказать: так умник глядит на дураков и жалеет, что он сам не дурак,— засмеялся я.

— Вот именно,— отвечал он.— Вы пара блаженных обанкротившихся дураков. У вас нет ни одного факта за душой.

— Однако мы живем на свои ценности не хуже вас,— возразила Мод Брустер.

— Даже лучше, потому что вам это ничего не стоит.

— И еще потому, что мы берем в долг у вечности.

— Так ли это, или вы только воображаете, что это так,—не имеет значения. Все равно вы тратите то, чего у вас нет, а взамен приобретаете бóльшие ценности, чем я, тратящий то, что у меня есть и что я добыл в поте лица своего.

— Почему же вы не переведете свой капитал в другую валюту? — насмешливо спросила она.

Он быстро, с тенью надежды, взглянул на нее и, помолчав, ответил со вздохом:

— Поздно. Я бы и рад, пожалуй, да не могу. Весь мой капитал — в валюте старого выпуска, и мне от нее не избавиться. Я не могу заставить себя признать ценность какой-либо другой валюты, кроме моей.

Он умолк. Взгляд его, рассеянно скользнув по ее лицу, затерялся где-то в синей морской дали. Звериная тоска снова овладела им; по телу его пробежала дрожь. Своими рассуждениями он довел себя до приступа хандры, и можно было ждать, что часа через два она найдет себе разрядку в какой-нибудь дьявольской выходке. Мне вспомнился Чарли Фэрасет, и я подумал, что эта тоска — кара, которая постигает каждого материалиста.

Глава двадцать пятая

Утром во время завтрака Волк Ларсен обратился ко мне с вопросом:

— Вы уже поднимались на палубу, мистер Ван-Вейден? Какая сегодня погода?

— Довольно ясно,— отвечал я, бросая взгляд на солнечный луч, играющий на ступеньке трапа.— Ветер западный, свежий и, кажется, будет еще крепчать, если верить прогнозу Луиса.

Капитан кивнул с довольным видом.

— Туман не предвидится?

— На севере и на северо-западе густая пелена.

Он снова кивнул и, казалось, остался еще более доволен, услышав это.

— А что «Македония»?

— Ее нигде не видно,— отвечал я.

Я мог бы поклясться, что при этом сообщении лицо у него вытянулось, но почему это так его разочаровало, было мне непонятно.

Вскоре все разъяснилось.

— Дым впереди! — донеслось с палубы, и лицо Ларсена снова оживилось.

— Превосходно! — воскликнул он. Вскочив из-за стола, он поднялся на палубу и направился к изгнанным из кают-компании охотникам, которые вкушали свой первый завтрак у себя в кубрике.

Ни Мод Брустер, ни я почти не притронулись к еде. Мы переглянулись тревожно, в полном молчании прислушиваясь к голосу капитана, доносившемуся сквозь переборку. Говорил он долго, и конец его речи был встречен одобрительным ревом. Переборка была толстая, и мы не могли разобрать слов, но они явно произвели большое впечатление на охотников. Рев стих и перешел в оживленный говор и веселые возгласы.

Вскоре на палубе поднялся шум и возня, и я понял, что матросы вызваны наверх и готовятся спускать шлюпки. Мод Брустер вышла вместе со мной на палубу, и я покинул ее у края юта, откуда она могла видеть все и в то же время оставаться в стороне. Матросы, должно быть, тоже были посвящены в замыслы капитана, так как работали с необыкновенным рвением. Охотники, прихватив дробовики, ящики с патронами и — что было

совсем необычно — винтовки, высыпали на палубу. Они почти никогда не брали с собой винтовок, так как котики, убитые пулей с дальнего расстояния, неизменно тонули прежде, чем подоспеет шлюпка. Но сегодня каждый охотник взял с собой винтовку и большой запас патронов. Я заметил, как они довольно ухмылялись, поглядывая на дымок «Македонии», который поднимался все выше и выше, по мере того как пароход приближался к нам с запада.

Все пять шлюпок были быстро спущены на воду. Как и накануне, они разошлись веером в северном направлении. Мы следовали поодаль. Я с любопытством наблюдал за ними, но все шло, как обычно. Охотники спускали паруса, били зверя, снова ставили паруса и продолжали свой путь, как делалось это изо дня в день. «Македония» повторила свой вчерашний маневр — начала спускать свои шлюпки впереди, поперек нашего курса, с целью «подмести» море. Четырнадцать наших шлюпок для успешной охоты должны были бы рассеяться на довольно обширном пространстве, пароход же, перерезав нам путь, продолжал двигаться на северо-восток, спуская шлюпки.

— Что вы затеваете? — спросил я Волка Ларсена, снедаемый любопытством.

— Вас это не касается,— грубо ответил он.— Узнаете в свое время. А пока что молитесь о хорошем ветре.

— Впрочем, могу сказать,— добавил он, помолчав.— Я намерен угостить братца по его же рецепту. Короче говоря, «подметать» море теперь буду я, и не один день, а до конца сезона, если нам повезет.

— А если нет?

— Это исключается,— рассмеялся он.— Нам должно повезти, иначе мы пропали.

Он стоял на руле, а я пошел в матросский кубрик проведать своих пациентов — Нилсона и Магриджа. У Нилсона переломанная нога хорошо срасталась, и он был довольно бодр и весел, но кок пребывал в черной меланхолии, и мне невольно стало искренне жаль этого горемыку. Казалось поразительным, что после всего перенесенного он все еще жив и продолжает цепляться за жизнь. Судьба не щадила беднягу: калеча его из года в год, она превратила его тщедушное тело в ка-

кой-то обломок кораблекрушения, но искорка жизни упрямо тлела в нем.

— С хорошим протезом, какие теперь делают, ты сможешь топтаться в камбузах до скончания века,— подбодрил я его.

Он ответил мне очень серьезно, даже торжественно:

— Не знаю, о каких вы там протезах толкуете, мистер Ван-Вейден, только я не умру спокойно, пока не увижу, что эта скотина издохла, будь он проклят! Ему не пережить меня, нет! Он не имеет права жить, и, как сказано в священном писании: «И окончит дни свои в муках». А я добавлю: аминь, и чтоб он сдох поскорей!

Вернувшись на палубу, я увидел, что Волк Ларсен одной рукой вертит штурвал, а в другой держит морской бинокль, изучая расположение шлюпок и внимательно следя за движением «Македонии». Я заметил, что наши шлюпки привалились к ветру и взяли курс на северо-запад, но смысл этого маневра был мне неясен, так как впереди их находилось пять шлюпок «Македонии», которые в свою очередь тоже взяли круче к ветру. Таким образом, они все более уклонялись на запад, постепенно удаляясь от остальных шлюпок. Наши шлюпки шли и под парусами и на веслах. Подгоняемая каждая тремя парами весел — даже охотники гребли,— они быстро догоняли «неприятеля». Дым парохода таял вдали, превращаясь в едва различимое пятнышко на северо-востоке. Самого судна уже не было видно.

До сих пор мы еле-еле продвигались вперед, и паруса почти все время полоскались на ветру; раза два мы даже ненадолго ложились в дрейф. Но теперь все изменилось. Шкоты были выбраны, и Волк Ларсен повел «Призрак» полным ходом. Мы промчались мимо наших шлюпок и стали приближаться к ближайшей шлюпке с «Македонии».

— Отдайте бом-кливер, мистер Ван-Вейден,— скомандовал Волк Ларсен,— и приготовьтесь выбрать кливер и стаксель!

Я побежал исполнять команду, и когда мы медленно заскользили мимо шлюпки в каких-нибудь ста футах от нее с подветренной стороны, нирал бом-кливера был уже выбран и закреплен. Трое людей на шлюпке подозрительно поглядывали в нашу сторону. Они не могли не знать Волка Ларсена, хотя бы понаслышке: а ведь

они только что «подметали» море перед нашими шлюпками. Я обратил внимание на то, что охотник — здоровенный малый скандинавского типа, сидевший на носу,— держит на коленях винтовку, что, казалось, было сейчас совсем ни к чему,— винтовка могла бы лежать на месте. Когда мы поравнялись с ними, Волк Ларсен помахал им рукой и крикнул:

— Поднимайтесь к нам «подрейфовать»!

Слово «подрейфовать» на языке промысловых шхун заменяет сразу два глагола: «навестить» и «поболтать». Оно отражает общительность моряков и сулит приятное разнообразие в их монотонной жизни.

«Призрак» привелся к ветру, и я, закончив свою работу на баке, побежал на корму помочь матросам управиться с гротом.

— Прошу вас оставаться на палубе, мисс Брустер,— сказал Волк Ларсен, направляясь встречать гостей.— И вас тоже, мистер Ван-Вейден.

Матросы на шлюпке, спустив парус, подвели ее к борту шхуны. Охотник, похожий на золотобородого викинга, перелез через планшир и спрыгнул на палубу. Я заметил, что этот богатырь держится настороженно. Сомнение и недоверие были ясно написаны на его лице. Это было открытое лицо, хотя густая борода и придавала ему несколько свирепый вид. Однако когда охотник перевел взгляд с капитана на меня и увидел, что нас только двое, а потом поглядел на своих двух матросов, которые поднялись на борт следом за ним, лицо его просветлело. Бояться не было причины. Он, как Голиаф, возвышался над Волком Ларсеном. Ростом он был никак не меньше шести футов и восьми дюймов, а весил — это я узнал впоследствии — двести сорок фунтов. И притом ни капли жира, только кости и мышцы.

Но тревога снова промелькнула в его глазах, когда Волк Ларсен, остановившись у трапа, пригласил его спуститься в кают-компанию. Впрочем, он тут же приободрился, еще раз окинув взглядом капитана: Волк Ларсен был крупный мужчина, но рядом с ним казался карликом. Это положило конец колебаниям гостя, и он начал спускаться по трапу. Ларсен последовал за ним. Тем временем оба гребца направились, согласно обычаю, на бак — в гости к матросам.

Внезапно из кают-компании донеслись страшные

звуки, подобные рычанию льва, и шум яростной схватки. Это сцепились лев с леопардом. Волк Ларсен — леопард — напал на льва, и лев рычал.

— Вот вам святость нашего гостеприимства! — с горечью обратился я к Мод Брустер.

Она утвердительно кивнула; мучительное отвращение исказило ее лицо, и я вспомнил, как я сам страдал при виде физического насилия, когда впервые попал на «Призрак».

— Не лучше ли вам уйти подальше, ну хотя бы на бак, пока все это не кончится? — предложил я.

Но она отрицательно покачала головой, глядя на меня жалобными глазами. И в них не было страха, хотя я видел, что она потрясена этим новым проявлением зверства.

— Прошу вас, поймите,— сказал я, воспользовавшись случаем,— какую бы роль ни приходилось мне играть в том, что здесь происходит или может еще произойти, я не могу поступать иначе... если только мы хотим выбраться отсюда живыми. Мне тоже нелегко,— добавил я.

— Я понимаю,— отозвалась она. Голос ее звучал слабо, словно доносился издалека, но взгляд подтвердил, что она понимает меня.

Внизу все стихло, и Волк Ларсен поднялся на палубу. Лицо его под бронзовым загаром слегка покраснело, но других следов борьбы не было заметно.

— Пришлите сюда тех двоих, мистер Ван-Вейден! — сказал он.

Я повиновался, и через минуту они стояли перед ним.

— Поднимите шлюпку,— обратился он к матросам,— Ваш охотник решил немного задержаться и не хочет, чтоб ее зря колотило о борт. Поднять шлюпку, говорю я! — повторил он более резко, заметив, что они колеблются.— Почем знать, может, вам придется некоторое время поплавать со мной,— продолжал он в то время как матросы нерешительно принялись выполнять приказание. Он говорил, не повышая голоса, но в тоне его слышалась угроза.— Так что лучше уж начнем по-хорошему. А ну живей! У Смерти Ларсена небось проворнее поворачивались, сами знаете!

Его окрик заставил матросов поторопиться. В то время как шлюпку заваливали на палубу, я получил при-

казание отдать кливера. Став к штурвалу, Волк Ларсен направил «Призрак» ко второй с надветренной стороны шлюпке «Македонии».

Покончив с парусами, я стал высматривать шлюпки. Третья шлюпка была атакована двумя нашими, четвертая — остальными тремя, а пятая, повернув, шла на выручку соседней. Перестрелка завязалась с дальнего расстояния, и до нас доносилась беспрерывная трескотня винтовок. Порывистый ветер, поднявший короткую волну, мешал точному прицеливанию, и, подойдя ближе, мы увидели, как пули то тут, то там прыгают рикошетом с волны на волну.

Шлюпка, за которой мы гнались, спустилась под ветер и сделала попытку ускользнуть от нас и прийти на помощь своим.

Я не мог следить за тем, что происходило дальше, пока возился с парусами, а вернувшись на ют, услышал, как Ларсен приказывает матросам «Македонии» отправиться в кубрик на баке. Они угрюмо подчинились. Затем капитан предложил мисс Брустер спуститься в кают-компанию и улыбнулся, заметив промелькнувший в ее глазах ужас.

— Ничего страшного там нет,— сказал он.— Человек этот цел и невредим и связан по рукам и ногам. Сюда же могут залететь пули, а мне совсем не хочется потерять вас.

И почти в ту же минуту шальная пуля царапнула медную ручку штурвала, которую держал Ларсен, и рикошетом отскочила в сторону.

— Вот видите,— сказал он и повернулся ко мне: — Мистер Ван-Вейден, станьте-ка на руль.

Мод Брустер спустилась по трапу всего на несколько ступенек. Волк Ларсен взял винтовку и дослал патрон в ствол. Я глазами молил мисс Брустер уйти, но она только улыбнулась и сказала:

— Может, мы и не умеем стоять на ногах, но мы покажем капитану Ларсену, что хилые сухопутные людишки не трусливее его.

Ларсен бросил на нее восхищенный взгляд.

— Вы нравитесь мне все больше,— сказал он.— Ум, талант, отвага! Неплохое сочетание! Такой синий чулок, как вы, мог бы стать женой предводителя пиратов... Но придется нам продолжить разговор в другой раз,— ус-

мехнулся он, когда еще одна пуля вонзилась в стенку рубки.

И я снова увидел золотистые искорки в его глазах и ужас в глазах Мод Брустер.

— Мы даже храбрее его,— поспешно проговорил я.— По крайней мере про себя могу сказать, что я храбрее капитана Ларсена.

Тот резко обернулся ко мне — уж не смеюсь ли я над ним? Я немного переложил штурвал, чтобы не дать шхуне привестись к ветру, а затем снова лег на курс, и, видя, что Волк Ларсен все еще ждет объяснения, показал на свои колени.

— Вглядитесь-ка,— сказал я,— и вы заметите легкую дрожь. Это значит, что я боюсь, плоть моя боится. Я боюсь разумом, потому что не хочу умирать. Но дух мой одолевает дрожащую плоть и напуганное сознание. Это больше, чем храбрость. Это мужество. Ваша же плоть ничего не боится, и вы ничего не боитесь. Значит, вам и нетрудно встречаться с опасностью лицом к лицу. Вам это даже доставляет удовольствие, вы упиваетесь опасностью. Вы можете быть бесстрашны, мистер Ларсен, но согласитесь, что из нас двоих по-настоящему храбр — я.

— Вы правы,— сразу признал он.— В таком свете мне это еще не представлялось. Но тогда верно и обратное. Если вы храбрее меня, значит я трусливее вас?

Мы оба рассмеялись над этим странным выводом, и Ларсен, опустившись на одно колено, опер ствол винтовки о планшир. В начале перестрелки мы находились от шлюпок примерно в одной миле, но сейчас это расстояние уже сократилось вдвое. Ларсен выстрелил три раза, тщательно прицеливаясь. Первая пуля пролетела в пятидесяти футах от шлюпки, вторая — у самого борта, третья угодила в рулевого, и он, выпустив из рук кормовое весло, свалился на дно шлюпки.

— Хватит с них,— сказал Волк Ларсен, поднимаясь на ноги.— Охотником пожертвовать нельзя, да он никак и не сможет одновременно и править и стрелять, а гребец, надеюсь, править не умеет.

Его расчет полностью оправдался. Шлюпку завертело на волнах, и охотник бросился на корму сменить рулевого. С этой шлюпки больше не стреляли, но на остальных винтовки продолжали трещать.

Охотнику удалось снова увалить шлюпку под ветер, но мы шли в два раза быстрее и догоняли ее. Когда мы были от нее примерно в ста ярдах, я увидел, как гребец передал охотнику винтовку. Волк Ларсен отошел на середину палубы и взял бухту гафель-гардели. Потом, снова утвердив винтовку на планшире, прицелился в шлюпку. Раза два охотник хотел было бросить кормовое весло и схватить винтовку, но все не решался. Мы были уже борт о борт со шлюпкой и обгоняли ее.

— Эй, ты!— неожиданно крикнул Волк Ларсен гребцу.— Возьми конец за банку!

И в ту же секунду он бросил конец. Он попал прямо в матроса, чуть не сбив его с банки, но матрос не послушался. Он вопросительно посмотрел на охотника, а тот, как видно, сам не знал, что делать. Винтовка была зажата у него между колен, но стоило ему выпустить руль, и шлюпка, повернувшись, могла столкнуться со шхуной. Кроме того, он видел направленную на него винтовку Волка Ларсена и понимал, что тот выстрелит раньше, чем он успеет прицелиться.

— Прими! — тихо сказал он матросу.

Гребец повиновался и захлестнул конец за переднюю банку, а когда конец натянулся, стал его травить. Шлюпку быстро отвело от борта шхуны, после чего охотник положил ее на курс параллельно «Призраку», футах в двадцати от него.

— Убирайте парус и подходите к борту,— скомандовал Волк Ларсен.

Держа одной рукой винтовку, он начал спускать шлюпочные тали. Когда тали были заложены на носу и на корме шлюпки и оба матроса уже готовились подняться на борт, охотник взял в руку винтовку, как бы желая положить ее на стойку.

— Брось! — крикнул Волк Ларсен, и охотник выронил винтовку, словно она обожгла ему руку.

Поднявшись на палубу вместе со своим раненым товарищем, охотник и гребец, по приказу Волка Ларсена, втащили на борт шлюпку, а затем отнесли рулевого в матросский кубрик.

— Если все наши пять шлюпок справятся со своим делом не хуже нас, экипаж шхуны будет укомплектован полностью,— сказал мне Волк Ларсен.

— А человек, в которого вы стреляли... он... я надеюсь...— голос Мод Брустер дрогнул.

— Ранен в плечо,— отвечал капитан.— Ничего серьезного. Мистер Ван-Вейден приведет его в порядок в две-три недели. Вот для тех парней ему навряд ли удастся что-нибудь сделать,— добавил он, указывая на третью шлюпку «Македонии», к которой я направлял в это время шхуну.— Тут поработали Хорнер и Смок. Говорил ведь я им, что нам нужны живые люди, а не трупы. Но стоит человеку научиться стрелять, его так и тянет бить прямо в цель. Вы когда-нибудь испытывали это чувство, Ван-Вейден?

Я покачал головой и посмотрел на «работу» наших охотников. Они действительно «били в цель» и теперь, покинув жертвы этой кровавой стычки, присоединились к остальным нашим шлюпкам и уже атаковали последние две шлюпки «Македонии». Оставленная шлюпка беспомощно качалась на волнах; никем не управляемый парус торчал вбок под прямым углом и хлопал на ветру. Охотник и гребец лежали в неестественных позах на дне лодки, а рулевой — поперек планшира, наполовину свесившись за борт. Руки его бороздили воду, а голова моталась из стороны в сторону.

— Не глядите туда, мисс Брустер, прошу вас,— взмолился я; к моей радости, она послушно отвернулась и была избавлена от этого страшного зрелища.

— Держите прямо туда, мистер Ван-Вейден,— распорядился Волк Ларсен, указывая на сбившиеся в кучу шлюпки.

Когда мы приблизились к ним, стрельба стихла. Бой был окончен. Последние две шлюпки уже сдались нашим пяти, и теперь все семь шлюпок ждали, чтобы их взяли на борт.

— Посмотрите! — невольно вскрикнул я, показывая на северо-восток.

На горизонте снова появилось темное пятнышко — дымок «Македонии».

— Да, я слежу за ней,— хладнокровно отвечал Волк Ларсен. Он измерил взглядом расстояние до пелены тумана, потом подставил щеку ветру, проверяя его силу.— Думаю, что доберемся вовремя. Но можете не сомневаться, что мой драгоценный братец раскусил нашу игру и прет сюда во весь дух. Ага, что я вам говорил!

Пятно дыма быстро росло, становясь густочерным.

— Все равно я тебя обставлю, о брат мой! — усмехнулся Волк Ларсен.— Непременно обставлю! И надеюсь, что твоя старая машина развалится на части!..

Мы легли в дрейф, после чего на шхуне поднялась изрядная суматоха, в которой вместе с тем был свой порядок. Шлюпки поднимали одновременно с обоих бортов. Как только пленники ступали на палубу, наши охотники отводили их на бак, а матросы втаскивали шлюпки на палубу и оставляли их где попало, не теряя времени на то, чтобы принайтовить. Едва последняя шлюпка отделилась от воды и закачалась на талях, как мы уже понеслись вперед на всех парусах с потравленными шкотами.

Да, нам надо было спешить. Извергая из трубы клубы черного дыма, «Македония» мчалась к нам с северо-востока. Не обращая внимания на свои оставшиеся шлюпки, она изменила курс, надеясь перехватить нас. Она шла не прямо на нас, а туда, где наши пути должны были сойтись, как стороны угла, у края тумана. Только там «Македония» могла бы еще поймать «Призрак». А для «Призрака» спасение заключалось в том, чтобы достигнуть этой точки раньше «Македонии».

Волк Ларсен сам стоял у штурвала, горящими глазами следя за всем, от чего зависел исход этого состязания. Он то оборачивался и оглядывал море, проверяя, слабеет или крепнет ветер, то присматривался к «Македонии», то окидывал взглядом паруса и приказывал выбрать один шкот или потравить другой и выжимал из «Призрака» все, на что тот был способен. Ненависть и озлобление были на время забыты, и я дивился тому, с какой готовностью бросались исполнять приказания капитана те самые матросы, которые столько натерпелись от него. И вот, когда мы стремительно неслись вперед, ныряя по волнам, я вдруг вспомнил беднягу Джонсона и пожалел, что его нет среди нас: он так любил эту шхуну и так восхищался всегда ее быстроходностью.

— Приготовьте-ка на всякий случай винтовки, ребята! — крикнул Волк Ларсен охотникам, и тотчас все пятеро, с винтовками в руках, стали у подветренного борта.

«Македония» была теперь всего в миле от нас. Она мчалась с такой скоростью, что черный дым из ее трубы стлался совершенно горизонтально; она делала не меньше семнадцати узлов. «Сквозь хляби мчит, взывая к небу»,— продекламировал Волк Ларсен, бросив взгляд в ее сторону. Мы делали не больше девяти узлов, но стена тумана была уже близко.

Вдруг над палубой «Македонии» поднялось облачко дыма. Выстрел прокатился над морем, и в нашем гроте образовалась круглая дыра. Они палили из маленькой пушки,— мы уже слышали, что таких пушек там было несколько. Наши матросы, толпившиеся у грот-мачты, ответили на это насмешливыми криками. Снова над «Македонией» показался дымок, и снова прогремел выстрел. На этот раз ядро упало всего в двадцати футах за кормой и перескочило с волны на волну, прежде чем затонуть.

Из винтовок с «Македонии» не палили,— все ее охотники находились либо у нас на борту, либо далеко в море на своих шлюпках. Когда расстояние между двумя судами сократилось до полумили, третьим выстрелом пробило еще одну дыру в нашем гроте. Но тут шхуна вошла в полосу тумана. Мы вдруг погрузились в него, и он скрыл нас, окутав своей влажной, плотной завесой.

Внезапность перемены была поразительна. Секунду назад мы мчались в ярких солнечных лучах, над нами было ясное небо, и далеко-далеко, до самого горизонта, море шумело и катило свои волны, а за нами бешено гнался корабль, изрыгая дым, пламя и чугунные ядра. И вдруг, во мгновение ока, солнце точно загасили, небо исчезло, даже верхушки мачт пропали из виду, и на глаза наши, словно их заволокло слезами, опустилась серая пелена. Сырая мгла стояла вокруг нас, как стена дождя. Волосы, одежда — все покрылось алмазными блестками. С намокших вант и снастей вода стекала на палубу. Под гиками капельки воды висели длинными гирляндами, и когда шхуна взмывала на гребень волны, ветер сдувал их и они летели нам в лицо. Грудь моя стеснилась, мне было трудно дышать. Туман глушил звуки, притуплял чувства, и сознание отказывалось признать, что где-то за этой влажной серой стеной, надвинувшейся на нас со всех сторон, существует другой мир. Весь мир, вся вселенная как бы замкнулись здесь, и

границы их так сузились, что невольно хотелось упереться в эти стены руками и раздвинуть их. И то, что осталось там, за ними, казалось, было лишь сном, вернее — воспоминанием сна.

В наступившей перемене было нечто таинственное и колдовское. Я посмотрел на Мод Брустер и убедился, что она испытывает то же, что и я. Потом я перевел взгляд на Волка Ларсена, но он ничем не проявлял своих ощущений. Он все так же стоял у штурвала и, казалось, был всецело поглощен своей задачей. Я почувствовал, что он измеряет ход времени, отсчитывает секунды, всякий раз как «Призрак» то стремительно взлетит на гребень волны, то накренится от бортовой качки.

— Ступайте на бак и приготовьтесь к повороту,— сказал он мне, понизив голос.— Прежде всего возьмите топселя на гитовы. Поставьте людей на все шкоты. Но чтобы ни один блок не загремел и чтобы никто ни звука. Понимаете — ни звука!

Когда все стали по местам, команда была передана от человека к человеку, и «Призрак» почти бесшумно сделал поворот. Если где-нибудь и хлюпнул риф-штерт или скрипнул блок, звуки эти казались странными, призрачными, и обступивший нас туман тотчас поглощал их.

Но как только мы легли на другой галс, туман начал редеть, и вскоре «Призрак» снова летел вперед под ярким солнцем, и снова до самого горизонта бурлили и пенились волны. Но океан был пуст. Разгневанная «Македония» нигде не бороздила больше его поверхности и не пятнала небо своим черным дымом.

Волк Ларсен тут же спустился под ветер и повел шхуну по самому краю тумана. Его уловка была ясна. Он вошел в туман с наветренной стороны от парохода, и когда «Македония» вслепую ринулась вослед, еще надеясь поймать шхуну, сделал поворот, вышел из своего укрытия и теперь намеревался войти в туман с подветренной стороны. Если бы ему это удалось, его брату было бы так же трудно найти нас в тумане, как — по старой поговорке — иголку в стоге сена.

Мы недолго шли по краю тумана. Перекинув фок и грот и снова поставив топселя, мы опять нырнули в туман, и в этот миг я был готов поклясться, что видел смутные очертания парохода, выходившего из полосы

тумана с наветренной стороны. Я быстро взглянул на Волка Ларсена. Он кивнул головой. Да, он тоже видел — это была «Македония». На ней, вероятно, разгадали наш маневр, но не успели нас перехитрить. Не было сомнений в том, что мы ускользнули незамеченными.

— Он не может долго продолжать эту игру,— сказал Волк Ларсен.— Ему придется вернуться за своими шлюпками. Поставьте кого-нибудь на руль, мистер Ван-Вейден,— курс держать тот же,— и назначьте вахты: мы будем идти под всеми парусами до утра.

— Эх, не пожалел бы я и полтысячи долларов,— добавил он,— чтобы хоть на минуту попасть на «Македонию» и послушать, как там чертыхается мой братец!

— Теперь, мистер Ван-Вейден,— сказал он, когда его сменили у штурвала,— нам следует оказать гостеприимство нашему пополнению. Выставьте охотникам вдоволь виски и пошлите несколько бутылочек на бак. Держу пари, что завтра наши гости все до единого выйдут в море и будут охотиться для Волка Ларсена не хуже, чем для Смерти Ларсена.

— А они не сбегут, как Уэйнрайт? — спросил я.

Он усмехнулся.

— Не сбегут, потому что наши старые охотники этого не допустят. Я уже пообещал им по доллару с каждой шкуры, добытой новыми. Отчасти поэтому они так и старались сегодня. О нет, они не дадут им сбежать! А теперь вам не мешает наведаться в свой лазарет. Там, надо полагать, полным-полно пациентов.

Глава двадцать шестая

Волк Ларсен освободил меня от обязанности раздавать виски и принялся за дело сам. Пока я возился в матросском кубрике с новой партией раненых, бутылки уже заходили по рукам. Мне, конечно, доводилось видеть, как пьют виски, например в клубах, где принято пить виски с содовой, но чтобы пить так, как пили здесь,— этого я еще не видывал. Пили из кружек, из мисок и прямо из бутылок; наливали до краев и осушали залпом; одной такой порции было достаточно, чтобы захмелеть, но им все казалось мало. Они пили и пили,

и новые бутылки все прибывали в кубрик, и этому не было конца.

Пили все. Пили раненые. Пил Уфти-Уфти, помогавший мне делать перевязки. Один Луис воздерживался: раза два отхлебнул немного — и все; зато и шумел и буянил он не меньше других. Это была настоящая сатурналия. Все галдели, орали, обсуждали минувшее сражение, спорили. А потом вдруг, размякнув, начинали брататься со своими недавними врагами. Победители и побежденные икали друг у друга на плече и торжественно клялись в вечной дружбе и уважении. Они оплакивали невзгоды, перенесенные ими в прошлом и ожидавшие их в будущем в железных тисках Волка Ларсена, и, хором проклиная его, рассказывали всякие ужасы о его жестокости.

Это было дикое и страшное зрелище: тесный кубрик, загроможденный койками, качающиеся переборки, вздымающийся пол, тусклый свет лампы, колеблющиеся тени, то чудовищно вырастающие, то съеживающиеся, разгоряченные лица, потерявшие человеческий облик... И над всем этим — дым, испарения тел, запах иодоформа... Я наблюдал за Уфти-Уфти,— он держал в руках конец бинта и взирал на эту сцену своими красивыми, бархатистыми, как у оленя, глазами, в которых играли отблески света от раскачивающейся лампы. Я знал, что, несмотря на всю мягкость и даже женственность его лица и фигуры, в нем дремлют грубые инстинкты дикаря. Мне бросилось в глаза мальчишеское лицо Гаррисона, всегда такое доброе и открытое, теперь искаженное яростью, похожее на дьявольскую маску; он рассказывал захваченным в плен матросам, на какой адский корабль они попали, и истошным голосом обрушивал проклятия на голову Волка Ларсена.

Волк Ларсен! Снова и снова Волк Ларсен! Поработитель и мучитель, Цирцея в мужском облике. А они — стадо его свиней, замученные скоты, придавленные к земле, способные бунтовать только исподтишка да в пьяном виде. «А я? Тоже один из его стада? — подумалось мне.— А Мод Брустер? Нет!» Гнев закипел во мне, я скрипнул зубами и, забывшись, видимо, причинил боль матросу, которому делал перевязку, так как он передернулся, а Уфти-Уфти посмотрел на меня с любопытством. Я почувствовал внезапный прилив сил. Лю-

бовь делала меня могучим гигантом. Я ничего не боялся. Моя воля победит все препятствия — вопреки Волку Ларсену, вопреки тридцати пяти годам, проведенным среди книг. Все будет хорошо. Я добьюсь этого. И, воодушевленный сознанием своей силы, я повернулся спиной к этому разбушевавшемуся аду и поднялся на палубу, где туман серыми призрачными тенями лежал во мраке, а воздух был чист, ароматен и тих.

В кубрике у охотников тоже было двое раненых, и там шла такая же оргия, как и у матросов,— только здесь не проклинали Волка Ларсена. Очутившись снова на палубе, я облегченно вздохнул и отправился на корму, в кают-компанию. Ужин был готов; Волк Ларсен и Мод поджидали меня.

Пока весь экипаж спешил напиться, сам капитан оставался трезв. Он не выпил ни капли вина. Он не мог себе этого позволить, ведь, кроме меня и Луиса, ему ни на кого нельзя было положиться, а Луис к тому же стоял у штурвала. Мы шли в тумане наудачу, без сигнальщика, без огней. Меня очень удивило сперва, что Волк Ларсен разрешил матросам и охотникам эту пьяную оргию, но он, очевидно, хорошо знал их нрав и умел спаять дружбой то, что началось с кровопролития.

Победа над Смертью Ларсеном, казалось, необычайно благотворно подействовала на него. Вчера вечером он своими рассуждениями довел себя до хандры, и я каждый миг ждал очередной вспышки ярости. Но пока все шло гладко — Ларсен был в великолепном настроении. Быть может, обычную реакцию предотвратило то, что он захватил так много охотников и шлюпок. Во всяком случае хандру как рукой сняло, и дьявол в нем не просыпался. Так мне казалось тогда, но — увы! — как мало я его знал. Не в ту ли самую минуту он уже замышлял самое черное свое дело!

Итак, войдя в кают-компанию, я застал капитана в прекрасном расположении духа. Приступы головной боли уже давно не мучили его, и глаза его были ясны, как голубое небо. Жизнь мощным потоком бурлила в его жилах, и от бронзового лица веяло цветущим здоровьем. В ожидании меня он занимал Мод Брустер беседой. Темой этой беседы был соблазн, и из нескольких слов, брошенных Ларсеном, я понял, что он признает истин-

ным соблазном лишь тот, перед которым человек не смог бы устоять и пал.

— Ну, посудите сами,— говорил он.— Ведь человек действует, повинуясь своим желаниям. Желаний у него много. Он может желать избегнуть боли или насладиться удовольствием. Но что бы он ни делал, его поступки продиктованы желанием.

— А если, предположим, у него возникли два взаимно исключающих друг друга желания? — прервала его Мод Брустер.

— Вот к этому-то я и веду,— отвечал капитан, но она продолжала:

— Душа человека как раз и проявляет себя в борьбе этих двух желаний. И, если душа благородна, она последует доброму побуждению и заставит человека совершить доброе дело; если же она порочна — он поступит наоборот. И в том и в другом случае решает душа.

— Чушь и бессмыслица! — нетерпеливо воскликнул Волк Ларсен.— Решает желание. Вот, скажем, человек, которому хочется напиться. И вместе с тем он не хочет напиваться. Что же он делает, как он поступает? Он — марионетка, раб своих желаний и просто повинуется более сильному из этих двух желаний, вот и все. Душа тут ни при чем. Если у него появилось искушение напиться, то как он может устоять против него? Для этого должно возобладать желание остаться трезвым. Но, значит это желание было более сильным, только и всего, соблазн не играет никакой роли, если, конечно...— он остановился, обдумывая мелькнувшую у него мысль, и вдруг расхохотался,— если это не соблазн остаться трезвым! Что вы на это скажете, мистер Ван-Вейден?

— Скажу, что вы оба спорите совершенно напрасно. Душа человека — это его желание. Или, если хотите, совокупность желаний — это и есть его душа. Поэтому вы оба не правы. Вы, Ларсен, ставите во главу угла желание, отметая в сторону душу. Мисс Брустер ставит во главу угла душу, отметая желание. А в сущности душа и желание — одно и то же.

— Однако,— продолжал я,— мисс Брустер права, утверждая, что соблазн остается соблазном, независимо от того, устоял человек или нет. Ветер раздувает огонь, и он вспыхивает жарким пламенем. Желание подобно огню. Созерцание предмета желания, новое заманчивое

описание его, новое постижение этого предмета разжигает желание, подобно тому как ветер раздувает огонь. И в этом заключен соблазн. Это — ветер, который раздувает желание, пока оно не разгорится в пламя и не поглотит человека. Вот что такое соблазн! Иногда он недостаточно силен, чтобы сделать желание всепожирающим, но если он хоть в какой-то мере разжигает желание, это все равно соблазн. И, как вы сами говорите, он может толкнуть человека на добро, так же как и на зло.

Я был горд собой. Мои доводы решили спор или по крайней мере положили ему конец, и мы сели за стол.

Но Волк Ларсен был в этот день необычайно словоохотлив,— я еще не видел его таким. Казалось, накопившаяся в нем энергия ищет выхода. Почти сразу же он затеял спор о любви. Как и всегда, он подходил к вопросу грубо материалистически, а Мод Брустер отстаивала идеалистическую точку зрения. Прислушиваясь к их спору, я лишь изредка высказывал какое-нибудь соображение или вносил поправку, но больше молчал.

Ларсен говорил с подъемом; Мод Брустер тоже воодушевилась. По временам я терял нить разговора, изучая ее лицо. Ее щеки редко покрывались румянцем, но сегодня они порозовели, лицо оживилось. Она дала волю своему остроумию и спорила с жаром, а Волк Ларсен прямо упивался спором.

По какому-то поводу — о чем шла речь, не припомню, так как был увлечен в это время созерцанием каштанового локона, выбившегося из прически Мод,— Ларсен процитировал слова Изольды, которые она произносит, будучи в Тинтагеле:

Средь смертных жен я взыскана судьбой.
Так согрешить, как я, им не дано,
И грех прекрасен мой...

Если раньше, читая Омара Хайама, он вкладывал в его стихи пессимистическое звучание, то сейчас, читая Суинберна, он заставил его строки звучать восторженно, даже ликующе. Читал он правильно и хорошо. Едва он умолк, как Луис просунул голову в люк и сказал негромко:

— Нельзя ли потише! Туман поднялся, а пароход,

будь он неладен, пересекает сейчас наш курс по носу. Виден левый бортовой огонь!

Волк Ларсен так стремительно выскочил на палубу, что, когда мы присоединились к нему, он уже успел, задвинув крышку люка, заглушить пьяный рев, несшийся из кубрика охотников, и спешил на бак, чтобы закрыть люк там. Туман рассеялся не вполне — он поднялся выше, закрыв собою звезды, и сделал мрак совсем непроницаемым. И прямо впереди из мрака на меня глянули два огня, красный и белый, и я услышал мерное постукивание машины парохода. Несомненно, это была «Македония».

Волк Ларсен вернулся на ют, и мы стали в полном молчании, следя за быстро скользившими мимо нас огнями.

— На мое счастье, у него нет прожектора,— промолвил Волк Ларсен.

— А что, если я закричу? — шепотом спросил я.

— Тогда все пропало,— отвечал он.— Но вы подумали о том, что сразу же за этим последует?

Прежде чем я успел выразить какое-либо любопытство по этому поводу, он уже держал меня за горло своей обезьяньей лапой. Его мускулы едва заметно напряглись, и это был весьма выразительный намек на то, что ему ничего не стоит свернуть мне шею. Впрочем, он тут же отпустил меня, и мы снова стали следить за огнями «Македонии».

— А если бы крикнула я? — спросила Мод.

— Я слишком расположен к вам, чтобы причинить вам боль,— мягко сказал он, и в его голосе прозвучала такая нежность и ласка, что меня передернуло.— Но лучше не делайте этого, потому что я тут же сверну шею мистеру Ван-Вейдену,— добавил он.

— В таком случае я разрешаю ей крикнуть,— вызывающе сказал я.

— Навряд ли мисс Брустер захочет пожертвовать жизнью «наставника американской литературы номер два»,— с издевкой проговорил Волк Ларсен.

Больше мы не обменялись ни словом, впрочем, мы уже настолько привыкли друг к другу, что не испытывали неловкости от наступившего молчания. Когда красный и белый огни исчезли вдали, мы вернулись в кают-компанию, чтобы закончить прерванный ужин.

Ларсен снова процитировал какие-то стихи, а Мод прочла «Impenitentia Ultima» Даусона. Она читала превосходно, но я наблюдал не за нею, а за Волком Ларсеном. Я не мог оторвать от него глаз, так поразил меня его взгляд, прикованный к ее лицу. Я видел, что он совершенно поглощен ею; губы его бессознательно шевелились, неслышно повторяя за ней слова:

...И когда погаснет солнце,
Пусть ее глаза мне светят,
Скрипки в голосе любимой
Пусть поют в последний час...

— В вашем голосе поют скрипки! — неожиданно произнес он, и в глазах его опять сверкнули золотые искорки.

Я готов был громко возликовать при виде проявленного ею самообладания. Она без запинки дочитала заключительную строфу, а затем постепенно перевела разговор в более безопасное русло. Я был как в дурмане. Сквозь переборку кубрика доносились звуки пьяного разгула, а мужчина, который внушал мне ужас, и женщина, которую я любил, сидели передо мной и говорили, говорили... Никто не убирал со стола. Матрос, заменявший Магриджа, очевидно, присоединился к своим товарищам в кубрике.

Если Волк Ларсен был когда-либо всецело упоен минутой, так это сейчас. Временами я отвлекался от своих мыслей, с изумлением прислушиваясь к его словам, поражаясь незаурядности его ума и силе страсти, с которой он отдавался проповеди мятежа. Разговор коснулся Люцифера из поэмы Мильтона, и острота анализа, который давал этому образу Волк Ларсен, и красочность некоторых его описаний показывали, что он загубил в себе несомненный талант. Мне невольно пришел на память Тэн, хотя я и знал, что Ларсен никогда не читал этого блестящего, но опасного мыслителя.

— Он возглавил борьбу за дело, обреченное на неудачу, и не устрашился громов небесных, — говорил Ларсен. — Низвергнутый в ад, он не был сломлен. Он увел за собой треть ангелов, взбунтовал человека против бога и целые поколения людей привлек на свою сторону и обрек аду. Почему был он изгнан из рая? Был ли он менее отважен, менее горд, менее велик в своих

замыслах, чем господь-бог? Нет! Тысячу раз нет! Но бог был могущественнее. Как это сказано? «Он возвеличился лишь силою громов». Но Люцифер — свободный дух. Для него служить было равносильно гибели. Он предпочел страдания и свободу беспечальной жизни и рабству. Он не хотел служить богу. Он ничему не хотел служить. Он не был безногой фигурой, вроде той, что украшает нос моей шхуны. Он стоял на своих ногах. Это была личность!

— Он был первым анархистом,— рассмеялась Мод, вставая и направляясь к себе в каюту.

— Значит, быть анархистом хорошо! — воскликнул Волк Ларсен.

Он тоже поднялся и, стоя перед ней у двери в ее каюту, продекламировал:

...По крайней мере здесь
Свободны будем мы. Здесь всемогущий
Чертогов не возвел, и нас он не изгонит.
Здесь будем править мы. И хоть в аду,
Но все же править стоит, ибо лучше
Царить в аду, чем быть рабом на небе.

Это был гордый вызов могучего духа. Когда он умолк, голос его, казалось, продолжал звучать в стенах каюты, а он стоял, слегка покачиваясь, откинув назад голову, бронзовое лицо его сияло, в глазах плясали золотые искорки, и он смотрел на Мод, как смотрит на женщину мужчина,— зовущим, ласковым и властным взглядом.

И снова я отчетливо прочел в ее глазах безотчетный ужас, когда она почти шопотом произнесла:

— Вы сами — Люцифер!

Дверь за нею закрылась. Несколько секунд Волк Ларсен продолжал стоять, глядя ей вслед, потом, как бы очнувшись, обернулся ко мне:

— Я сменю Луиса у штурвала и в полночь разбужу вас. А пока ложитесь и постарайтесь выспаться.

Он натянул рукавицы, надел фуражку и поднялся по трапу, а я последовал его совету и лег. Не знаю, почему, словно повинуясь какому-то тайному побуждению, я лег не раздеваясь. Некоторое время я еще прислушивался к шуму в кубрике охотников и с восторгом и изумлением размышлял о своей неожиданной любви. Но на «Призраке» я научился спать крепким, здоровым сном,

и постепенно пение и крики стали уплывать куда-то, веки мои смежились, и глубокий сон погрузил меня в небытие.

Не знаю, что разбудило меня и подняло с койки, но очнулся я уже на ногах. Сон как рукой сняло; я весь трепетал от ощущения неведомой опасности — настойчивого, словно громкий зов трубы. Я распахнул дверь. Лампа в кают-компании была притушена. Я увидел Мод, мою Мод, бьющуюся в железных объятиях Волка Ларсена. Она тщетно старалась вырваться, руками и головой упираясь ему в грудь. Я бросился к ним.

Волк Ларсен поднял голову, и я ударил его кулаком в лицо. Но это был слабый удар. Зарычав, как зверь, Ларсен оттолкнул меня. Этим толчком, легким взмахом его чудовищной руки, я был отброшен в сторону с такой силой, что врезался в дверь бывшей каюты Магриджа и она разлетелась в щепы. С трудом выкарабкавшись из-под обломков, я вскочил и, не чувствуя боли — ничего, кроме овладевшей мной бешеной ярости,— снова бросился на Ларсена. Помнится, я тоже зарычал и выхватил висевший у бедра нож.

Но что-то случилось. Капитан и Мод Брустер стояли теперь поодаль друг от друга. Я уже занес нож, но рука моя застыла в воздухе. Меня поразила эта неожиданная и странная перемена. Мод стояла, прислонившись к переборке, придерживаясь за нее откинутой в сторону рукой, а Волк Ларсен, шатаясь, прикрыв левой рукой глаза, правой неуверенно, как слепой, шарил вокруг себя. Наконец он нащупал переборку и, казалось, испытал огромное физическое облегчение, словно не только нашел опору, но и понял, где находится.

А затем ярость вновь овладела мной. Все перенесенные мною унижения и издевательства, все, что выстрадал от Волка Ларсена я и другие, нахлынуло на меня, и я внезапно с необыкновенной отчетливостью осознал, сколь чудовищен самый факт существования этого человека на земле. Не помня себя, я кинулся на него и вонзил ему нож в плечо. Я сразу понял, что ранил его легко — нож только скользнул по лопатке,— и я снова занес его, чтобы поразить Ларсена насмерть.

Но Мод, которая видела все, с криком бросилась ко мне:

— Не надо! Умоляю вас, не надо!

Я опустил руку, но только на миг. Я замахнулся еще раз и, вероятно, убил бы Ларсена, если бы Мод не встала между нами. Ее руки обвились вокруг меня, я ощутил ее волосы на моем лице. Кровь закипела во мне, но и ярость вспыхнула с удесятеренной силой. Мод заглянула мне в глаза.

— Ради меня! — взмолилась она.

— Ради вас? Ради вас я и убью его! — крикнул я, пытаясь высвободить руку и боясь вместе с тем сделать девушке больно.

— Успокойтесь! — шепнула она, закрывая мне рот рукой.

Прикосновение ее пальцев к моим губам было так сладостно, так необычайно сладостно, что, несмотря на владевшее мною бешенство, я готов был расцеловать их, но не посмел.

— Пожалуйста, прошу вас! — молила она, и я почувствовал, что слова ее обезоруживают меня и что так будет отныне всегда.

Я отступил, вложил свой тесак в ножны и взглянул на Волка Ларсена. Он все еще стоял, прижав левую руку ко лбу, прикрывая ею глаза. Голова его свесилась на грудь. Он весь как-то обмяк, могучие плечи ссутулились, спина согнулась.

— Ван-Вейден! — хрипло, с оттенком страха в голосе позвал он.— Эй, Ван-Вейден! Где вы?

Я взглянул на Мод. Она молча кивнула мне.

— Я здесь,— ответил я и подошел к нему.— Что с вами?

— Помогите мне сесть,— сказал он тем же хриплым испуганным голосом.

— Я болен, очень болен, Хэмп! — добавил он, опускаясь на стул, к которому я подвел его.

Он уронил голову на стол, обхватил ее руками и мотал ею из стороны в сторону, словно от боли. Когда он приподнял ее, я увидел крупные капли пота, выступившие у него на лбу у корней волос.

— Я болен, очень болен,— повторил он несколько раз.

— Да что с вами такое? — спросил я, кладя ему руку на плечо.— Чем я могу помочь вам?

Но он раздраженно сбросил мою руку, и я долго

молча стоял возле него. Мод, испуганная, растерянная, смотрела на нас. Она тоже не могла понять, что с ним случилось.

— Хэмп,— сказал он, наконец,— мне надо добраться до койки. Дайте мне руку. Скоро все пройдет. Верно, опять эта проклятая головная боль. Я всегда боялся ее. У меня было предчувствие... Да нет, вздор, я сам не знаю, что говорю. Помогите мне добраться до койки.

Но когда я уложил его, он опять прикрыл глаза рукой, и, уходя, я слышал, как он пробормотал:

— Я болен, очень болен!

Я вернулся к Мод; она встретила меня вопросительным взглядом. Я в недоумении пожал плечами.

— Что-то с ним стряслось, а что — не знаю. Он совершенно беспомощен и, должно быть, впервые в жизни по-настоящему напуган. Случилось это, конечно, еще до того, как я ударил его ножом, да это и не рана, а царапина. Вы, верно, видели, как это с ним началось?

Она покачала головой.

— Я ничего не видела. Для меня это такая же загадка. Он вдруг выпустил меня и пошатнулся. Но что нам теперь делать? Что я должна делать?

— Пожалуйста, подождите меня здесь. Я скоро вернусь,— отвечал я и вышел на палубу. Луис стоял у штурвала.

— Можешь идти спать,— сказал я ему, становясь на его место.

Он охотно исполнил приказание, и я остался один на палубе. Стараясь производить как можно меньше шума, я взял топселя на гитовы, спустил бом-кливер и стаксель, вынес кливер на подветренный борт и выбрал грот. Затем я вернулся к Мод. Сделав ей знак молчать, я прошел в каюту Волка Ларсена. Он лежал в том же положении, в каком я его оставил, и голова его всё так же перекатывалась из стороны в сторону по подушке.

— Могу я чем-нибудь помочь вам? — спросил я.

Он ничего не ответил сперва, но, когда я повторил вопрос, сказал:

— Нет, нет, мне ничего не надо! Оставьте меня одного до утра.

Но, выходя из каюты, я заметил, что он опять мечется по подушке. Мод терпеливо ждала меня, и когда я увидел ее горделивую головку, ее ясные, лучистые гла-

за, радость охватила меня. Глаза ее были так же ясны и невозмутимы, как ее душа.

— Готовы ли вы доверить мне свою жизнь и отважиться на путешествие примерно в шестьсот миль?

— Вы хотите сказать...— проговорила Мод, и я понял, что она угадала мое намерение.

— Да,— отвечал я,— я хочу сказать, что нам ничего другого не остается, как пуститься в море на парусной шлюпке.

— Вернее — мне? Вам-то здесь по-прежнему ничего не грозит.

— Нет, это единственное спасение для нас обоих,— твердо повторил я.— Оденьтесь, пожалуйста, как можно теплее и быстро соберите все, что вы хотите взять с собой.

— Поспешите! — добавил я, когда она направилась в свою каюту.

Кладовая находилась непосредственно под кают-компанией. Открыв люк, я спрыгнул вниз, зажег свечу и принялся отбирать из судовых запасов самое для нас необходимое, главным образом консервы. А когда дело подошло к концу, сверху ко мне протянулись две руки, и я начал передавать все Мод.

Мы работали молча. Я запасся также одеялами, рукавицами, клеенчатой одеждой, зюйдвестками... Нам предстояло тяжелое испытание — пуститься в плавание по бурному, суровому океану в открытой шлюпке, и, чтобы выдержать его, нужно было как можно лучше защитить себя от холода, дождя и морских брызг.

Мы работали с лихорадочной поспешностью. Вынесли всю нашу добычу на палубу и уложили ее возле одной из шлюпок. Мод так устала, что вскоре совсем обессилела и в изнеможении присела на ступеньки юта. Но и это не принесло ей облегчения, и тогда она легла прямо на голые доски палубы, раскинув руки, чтобы дать полный отдых всему телу. Я вспомнил, что моя сестра всегда отдыхала точно так же, и знал, что силы Мод скоро восстановятся. Необходимо было запастись также оружием, и я спустился в каюту Волка Ларсена за его винтовкой и дробовиком. Я заговорил с ним, но он не ответил мне ни слова, хотя голова его по-прежнему перекатывалась по подушке и он, по-видимому, не спал.

— Прощай, Люцифер! — прошептал я и тихонько прикрыл за собой дверь.

Теперь предстояло раздобыть еще патроны, что было нетрудно, хотя и пришлось спуститься для этого в кубрик охотников, где у них хранились ящики с патронами, которые они брали с собой в шлюпки, когда шли на охоту. Взяв два ящика, я унес их из-под самого носа разгулявшихся кутил.

Оставалось спустить шлюпку — нелегкая задача для одного человека. Отдав найтовы, я налег сперва на носовые тали, потом на кормовые, чтобы вывалить шлюпку за борт, а затем, потравливая по очереди те и другие тали, спустил ее на два-три фута, так что она повисла над водой, прижимаясь к борту шхуны. Я проверил, на месте ли парус, весла и уключины. Запастись пресной водой было, пожалуй, важнее всего, и я забрал бочонки со всех шлюпок. На борту находилось теперь уже девять шлюпок и нам должно было хватить этой воды, а кстати, и балласта. Впрочем, я столько запас всего, что даже побаивался — не перегрузил ли я шлюпку.

Когда Мод начала передавать мне в шлюпку провизию, из кубрика на палубу вышел матрос. Он постоял у наветренного борта (шлюпку мы спускали с подветренного), потом медленно побрел на середину палубы и еще немного постоял, повернувшись лицом к ветру и спиной к нам. Я притаился на дне шлюпки; сердце у меня бешено колотилось. Мод лежала совершенно неподвижно, вытянувшись в тени фальшборта. Но матрос так и не взглянул в нашу сторону. Закинув руки за голову, он потянулся, громко зевнул и снова ушел на бак, где и исчез, нырнув в люк.

Через несколько минут я погрузил все в шлюпку и спустил ее на воду. Помогая Мод перелезть через планшир, я на мгновение ощутил ее совсем близко возле себя, и слова: «Я люблю вас! Люблю!» — чуть не слетели с моих губ. «Да, Хэмфри Ван-Вейден, вот ты и влюблен наконец!» — подумал я. Ее пальцы переплелись с моими, и я, одной рукой держась за планшир, другой поддерживал ее и благополучно спустил в шлюпку. При этом я невольно испытал чувство гордости — я почувствовал в себе силу, какой совсем не обладал еще несколько месяцев назад, в тот день, когда, простившись

с Чарли Фэрасетом, отправился в Сан-Франциско на злополучном «Мартинесе».

Набежавшая волна подхватила шлюпку, ноги Мод коснулись банки, и я отпустил ее руку. Затем я отдал тали и сам спрыгнул в шлюпку. Мне еще никогда в жизни не приходилось грести, но я вставил весла в уключины и ценою больших усилий отвел шлюпку от «Призрака». Затем я стал поднимать парус. Мне не раз приходилось видеть, как ставят парус матросы и охотники, но сам я брался за это дело впервые. Если им достаточно было двух минут, то у меня ушло на это по крайней мере минут двадцать, но в конце концов я сумел поставить и натянуть парус, после чего, взявшись за рулевое весло, привел шлюпку к ветру.

— Вон там, прямо перед нами, Япония,— сказал я.

— Хэмфри Ван-Вейден, вы храбрый человек,— сказала Мод.

— Нет,— отвечал я.— Это вы храбрая женщина.

Точно сговорившись, мы одновременно обернулись, чтобы взглянуть в последний раз на «Призрак». Невысокий корпус шхуны покачивался на волнах с наветренной стороны от нас, паруса смутно выступали из темноты, а подвязанное колесо штурвала скрипело, когда в руль ударяла волна. Потом очертания шхуны и эти звуки постепенно растаяли вдали, и мы остались одни среди волн и мрака.

Глава двадцать седьмая

Забрезжило утро — серое, промозглое. Дул свежий бриз, и шлюпка шла бейдевинд. Компас показывал, что мы держим курс прямо на Японию. Теплые рукавицы все же не спасали от холода, и пальцы у меня стыли на кормовом весле. Ноги тоже ломило от холода, и я с нетерпением ждал, когда встанет солнце.

Передо мной на дне шлюпки спала Мод. Я надеялся, что ей тепло, так как она была укутана в толстые одеяла. Краем одеяла я прикрыл ей лицо от ночного холода, и мне были видны лишь смутные очертания ее фигуры да прядь светло-каштановых волос, сверкавшая капельками осевшей на них росы.

Я долго, не отрываясь, смотрел на эту тоненькую

прядку волос, как смотрят на драгоценнейшее из сокровищ. Под моим пристальным взглядом Мод зашевелилась, отбросила край одеяла и улыбнулась мне, приподняв тяжелые от сна веки.

— Доброе утро, мистер Ван-Вейден,— сказала она.— Земли еще не видно?

— Нет,— отвечал я.— Но мы приближаемся к ней со скоростью шести миль в час.

Она сделала разочарованную гримаску.

— Но это сто сорок четыре мили в сутки,— постарался я приободрить ее.

Лицо Мод просветлело.

— А как далеко нам еще плыть?

— Вон там — Сибирь,— указал я на запад.— И примерно в шестистах милях отсюда на юго-запад — Япония. При этом ветре мы доберемся туда за пять дней.

— А если поднимется буря? Шлюпка не выдержит?

Мод умела требовать правды, глядя вам прямо в глаза, и наши взгляды встретились.

— Только при очень сильной буре,— уклончиво отвечал я.

— А если будет очень сильная буря?

Я молча наклонил голову.

— Но нас в любой момент может подобрать какая-нибудь промысловая шхуна. Их много сейчас в этой части океана.

— Да вы совсем продрогли! — вдруг воскликнула она.— Смотрите, вас трясет! Не спорьте, я же вижу. А я-то греюсь под одеялами!

— Не знаю, какая была бы польза, если бы вы тоже сидели и мерзли,— рассмеялся я.

— Польза будет, если я научусь управлять шлюпкой, а я непременно научусь!

Сидя на дне шлюпки, Мод занялась своим нехитрым туалетом. Она распустила волосы, и они пушистым облаком закрыли ей лицо и плечи. Как хотелось мне зарыться в них лицом, целовать эти милые влажные каштановые пряди, играть ими, пропускать их между пальцами! Очарованный, я не сводил с нее глаз. Но вот шлюпка повернулась боком к ветру, парус захлопал и напомнил мне о моих обязанностях. Идеалист и романтик, я до этой поры, несмотря на свой аналитический склад ума, имел лишь смутные представления о физиче-

ской стороне любви. Любовь между мужчиной и женщиной я воспринимал как чисто духовную связь, как некие возвышенные узы, соединяющие две родственные души. Плотским же отношениям в моем представлении о любви отводилась лишь самая незначительная роль. Однако теперь полученный мною сладостный урок открыл мне, что душа выражает себя через свою телесную оболочку и что вид, запах, прикосновение волос любимой — совершенно так же, как свет ее глаз или слова, слетающие с ее губ,— являются голосом, дыханием, сутью ее души. Ведь дух в чистом виде — нечто неощутимое, непостижимое и лишь угадываемое и не может выражать себя через себя самого. Антропоморфизм Иеговы выразился в том, что он мог являться иудеям только в доступном для их восприятия виде. И в представлении израильтян он вставал как образ и подобие их самих, как облако, как огненный столп, как нечто осязаемое, физически-реальное, доступное их сознанию.

Так и я, глядя на светло-каштановые волосы Мод и любуясь ими, познавал смысл любви глубже, чем могли меня этому научить песни и сонеты всех певцов и поэтов. Вдруг Мод, тряхнув головой, откинула волосы назад, и я увидел ее улыбающееся лицо.

— Почему женщины подбирают волосы, почему они не носят их распущенными? — сказал я.— Так красивее.

— Но они же страшно путаются! — рассмеялась Мод.— Ну вот, потеряла одну из моих драгоценных шпилек!

И снова парус захлопал на ветру, а я, забыв о шлюпке, любовался каждым движением Мод, пока она разыскивала затерявшуюся в одеялах шпильку. Она делала это чисто по-женски, и я испытывал изумление и восторг: мне вдруг открылось, что она — истая женщина, женщина до мозга костей.

До сих пор я слишком возносил ее в своем представлении, ставил ее на недосягаемую высоту над всеми смертными и над самим собой. Я создал из нее богоподобное, неземное существо. И теперь я радовался каждой мелочи, в которой она проявляла себя как обыкновенная женщина, радовался тому, как она откидывает назад волосы или ищет шпильку. Да, она была просто женщиной, так же как я — мужчиной, она была таким же земным существом, как я, и я мог обрести с нею эту

восхитительную близость двух родственных друг другу существ — близость мужчины и женщины,— навсегда сохранив (в этом я был убежден наперед) чувство преклонения и восторга перед нею.

С радостным возгласом, пленительным для моего слуха, она нашла, наконец, шпильку, и я сосредоточил свое внимание на управлении шлюпкой. Я сделал опыт— подвязал и закрепил рулевое весло — и добился того, что шлюпка без моей помощи шла бейдевинд. По временам она приводилась к ветру или, наоборот, уваливалась, но в общем недурно держалась на курсе.

— А теперь давайте завтракать! — сказал я.— Но сперва вам необходимо одеться потеплее.

Я достал толстую фуфайку, совсем новую, сшитую из теплой ткани, из которой шьют одеяла: ткань была очень плотная, и я знал, что она не скоро промокнет под дождем. Когда Мод натянула фуфайку, я дал ей вместо ее фуражки зюйдвестку, которая, если отогнуть вниз поля, закрывала не только волосы и уши, но даже шею. Мод в этом уборе выглядела очаровательно. У нее было одно из тех лиц, которые ни при каких обстоятельствах не теряют привлекательности. Ничто не могло испортить прелесть этого лица — его изысканный овал, правильные, почти классические черты, тонко очерченные брови и большие карие глаза, проницательные и ясные, удивительно ясные.

Внезапно резкий порыв ветра подхватил шлюпку, когда она наискось пересекала гребень волны. Сильно накренившись, она зарылась по самый планшир во встречную волну и черпнула бортом воду. Я вскрывал в это время банку консервов и, бросившись к шкоту, едва успел отдать его. Парус захлопал, затрепетал, и шлюпка увалилась под ветер. Провозившись еще несколько минут с парусом, я снова положил шлюпку на курс и возобновил приготовления к завтраку.

— Действует как будто неплохо,— сказала Мод, одобрительно кивнув головой в сторону моего рулевого приспособления.— Впрочем, я ведь ничего не смыслю в мореходстве.

— Это устройство будет служить, только пока мы идем бейдевинд,— объяснил я.— При более благоприятном ветре — с кормы, галфвинд или бакштаг — мне придется править самому.

— Я, признаться, не понимаю всех этих терминов, но вывод ясен, и он мне не очень-то нравится. Не можете же вы круглые сутки бессменно сидеть на руле! После завтрака извольте дать мне первый урок. А потом вам нужно будет лечь поспать. Мы установим вахты, как на корабле.

— Ну как я буду учить вас,— запротестовал я,— когда я сам еще только учусь! Вы доверились мне и, верно, не подумали, что у меня нет никакого опыта в управлении парусной шлюпкой. Я впервые в жизни попал на нее.

— В таком случае, сэр, мы будем учиться вместе. И так как вы на целую ночь опередили меня, вам придется поделиться со мной всем, что вы уже успели постичь. А теперь завтракать! На воздухе разыгрывается аппетит!

— Да, но кофе не будет! — с сокрушением сказал я, передавая ей намазанные маслом галеты с ломтиками языка.— Не будет ни чая, ни супа — никакой горячей еды, пока мы где-нибудь и когда-нибудь не пристанем к берегу.

После нашего незамысловатого завтрака, завершившегося чашкой холодной воды, я дал Мод урок вождения шлюпки. Обучая ее, я учился сам, хотя кое-какие познания у меня уже были,— я приобрел их, управляя «Призраком» и наблюдая за действиями рулевых на шлюпках. Мод оказалась способной ученицей и быстро научилась держать курс, приводиться к ветру и отдавать, когда нужно, шкот.

Потом, устав, как видно, она передала мне весло и принялась расстилать на дне шлюпки одеяла, которые я успел свернуть. Устроив все как можно удобнее, она сказала:

— Ну, сэр, постель готова! И спать вы должны до второго завтрака. То есть до обеда,— поправилась она, вспомнив распорядок дня на «Призраке».

Что мне оставалось делать? Она так настойчиво повторяла: «Пожалуйста, прошу вас», что я в конце концов подчинился и отдал ей кормовое весло. Забираясь в постель, постланную ее руками, я испытал необычайное наслаждение. Казалось, в этих одеялах было что-то успокаивающее и умиротворяющее, словно это передалось им от нее самой, и чувство покоя сразу охватило

меня. Сквозь сладкую дрему я видел нежный овал ее лица и большие карие глаза... Обрамленное зюйдвесткой лицо ее колыхалось передо мной, вырисовываясь то на фоне серого моря, то на фоне таких же серых облаков, и я уснул.

Я понял, что крепко спал, когда, внезапно очнувшись, взглянул на часы. Был час дня. Я проспал целых семь часов! И целых семь часов она одна правила шлюпкой! Принимая от нее весло, я должен был помочь ей разогнуть окоченевшие пальцы. Она исчерпала весь небольшой запас своих сил и теперь не могла даже приподняться. Я вынужден был бросить парус, чтобы помочь ей добраться до постели, и, уложив ее, принялся растирать ей руки.

— Как я устала!— произнесла она с глубоким вздохом и бессильно поникла головой.

Но через секунду она встрепенулась.

— Но только не вздумайте браниться, не смейте, слышите! — с шутливым вызовом сказала она.

— Разве у меня такой сердитый вид? — без улыбки отвечал я.— Уверяю вас, я не сержусь.

— Да-а...— протянула она.— Не сердитый, но укоризненный.

— Значит, мое лицо только честно выражает то, что я чувствую. А вот вы поступили нечестно — и по отношению к себе и ко мне. Как теперь прикажете доверять вам?

Она виновато взглянула на меня.

— Я буду паинькой,— сказала она, как напроказивший ребенок.— Обещаю вам...

— Повиноваться, как матрос повинуется капитану?

— Да, отвечала она.— Я знаю — это было глупо.

— Раз так, обещайте мне еще кое-что.

— Охотно!

— Обещайте мне не так часто говорить: «Пожалуйста, прошу вас». А то вы быстро сведете власть капитана на нет.

Она рассмеялась, и я почувствовал, что моя просьба не только позабавила ее, но и польстила ей. Она уже сама заметила, какую власть имеют надо мной эти слова.

— Пожалуйста — хорошее слово...— начал я.

— ...Но я не должна злоупотреблять им,— докончила она за меня. Она снова рассмеялась, но уже чуть

слышно, и уронила голову. Я оставил весло, чтобы закутать одеялом ее ноги и прикрыть ей лицо. Увы, у нее было так мало сил! С недобрым предчувствием посмотрел я на юго-запад и подумал о шестистах милях, отделявших нас от берега, и о всех предстоявших нам испытаниях. Да и бог весть, что еще ждало нас впереди! В этой части океана в любую минуту мог разыграться гибельный для нас шторм. И все же я не испытывал страха. Я не был спокоен за будущее, о нет,— самые тяжкие сомнения грызли меня,— но за всем этим не было страха. «Все обойдется,— твердил я себе,— все обойдется!».

После полудня ветер посвежел и поднял большие волны, которые основательно трепали шлюпку и задавали мне работу. Впрочем, запасенная нами провизия и девять бочонков воды придавали шлюпке достаточную остойчивость, и я шел под парусом, пока это не стало слишком опасным. Тогда я убрал шпринт, туго притянул и закрепил верхний угол паруса, превратив его в треугольный, и мы поплыли дальше.

Под вечер я заметил на горизонте с подветренной стороны дымок парохода. Это мог быть либо русский крейсер, либо скорее всего «Македония», все еще разыскивающая шхуну.

Солнце за весь день ни разу не выглянуло из-за облаков, и было очень холодно. К ночи облака сгустились еще больше, ветер окреп, и нам пришлось ужинать, не снимая рукавиц, причем я не мог выпустить из рук рулевого весла и ухитрялся отправлять в рот кусочки пищи только в промежутках между порывами ветра.

Когда стемнело, шлюпку стало так швырять на волнах, что я вынужден был убрать парус и принялся мастерить пловучий якорь. Это была нехитрая штука, о которой я знал из рассказов охотников. Сняв мачту, я завернул ее вместе с шпринтом, гиком и двумя парами запасных весел в парус, накрепко обвязал веревкой и бросил за борт. Конец веревки я закрепил на носу, и пловучий якорь был готов. Мало выступая из воды и почти не испытывая влияния ветра, он тормозил шлюпку и удерживал ее носом к ветру. Когда море покрывается белыми барашками, это наилучший способ, чтобы шлюпку не захлестнуло волной.

— А теперь что? — весело спросила Мод, когда

я справился со своей задачей и снова натянул рукавицы.

— А теперь мы уже не плывем к Японии,— отвечал я.— Мы дрейфуем на юго-восток или на юго-юго-восток со скоростью по крайней мере двух миль в час.

— До утра это составит всего двадцать четыре мили,— заметила она,— да и то, если ветер не утихнет.

— Верно. А всего сто сорок миль, если этот ветер продержится трое суток.

— Не продержится! — бодро заявила Мод.— Он непременно повернет и будет дуть как следует.

— Море — великий предатель.

— А ветер? — возразила она.— Я ведь слышала, как вы пели дифирамбы «бравым пассатам».

— Жаль, что я не захватил секстант и хронометр Ларсена,— мрачно произнес я.— Когда мы сами плывем в одном направлении, ветер сносит нас в другом, а течение, быть может, в третьем, то равнодействующая не поддается точному исчислению. Скоро мы не сможем определить, где находимся, не сделав ошибки в пятьсот миль.

После этого я попросил у Мод прощения и обещал больше не падать духом. Уступив ее уговорам, я ровно в девять оставил ее на вахте до полуночи, но, прежде чем лечь спать, хорошенько закутал в одеяла, а поверх них — в непромокаемый плащ. Спал я лишь урывками. Шлюпку швыряло с гребня на гребень, волны гулко ударялись о дно. Я слышал, как они ревут за бо́ртом, и брызги ежеминутно обдавали мне лицо. И все же, размышлял я, не такая уж это скверная ночь — ничто, по сравнению с тем, что́ мне, ночь за ночью, приходилось переживать на «Призраке», и с тем, что́ нам, быть может, предстоит еще пережить, пока нас будет носить по океану в этом утлом суденышке. Я знал, что обшивка у него всего в три четверти дюйма толщиной. Слой дерева, тоньше дюйма, отделял нас от морской пучины.

И тем не менее, готов утверждать это снова и снова, я не боялся. Я больше уже не испытывал того страха смерти, который когда-то нагонял на меня Волк Ларсен и даже Томас Магридж. Появление в моей жизни Мод Брустер, как видно, переродило меня. Любить, думал я,— ведь это еще лучше и прекраснее, чем быть любимым! Это чувство дает человеку то, ради чего сто́ит

жить и ради чего он готов умереть. В силу любви к другому существу я забывал о себе, и вместе с тем — странный парадокс! — мне никогда так не хотелось жить, как теперь, когда я меньше всего дорожил своей жизнью. Ведь никогда еще жизнь моя не была наполнена таким смыслом, думал я. Пока дремота подкрадывалась ко мне, я лежал и с чувством неизъяснимого довольства вглядывался в темноту, зная, что там на корме приютилась Мод, что она зорко несет свою вахту среди бушующих волн и готова каждую минуту позвать меня на помощь.

Глава двадцать восьмая

Стоит ли рассказывать о всех страданиях, перенесенных нами на нашей маленькой шлюпке, когда нас долгие дни носило и мотало по океанским просторам? Сильный северо-западный ветер дул целые сутки. Потом наступило затишье, но к ночи поднялся ветер с юго-запада, то есть прямо нам в лоб. Тем не менее я втянул плавучий якорь, поставил парус и направил лодку круто к ветру с курсом на юго-юго-восток. Ветер позволял выбирать лишь между этим курсом и курсом на запад-северо-запад, но теплое дыхание юга влекло меня в более теплые моря, и это определило мое решение.

Однако через три часа,— как сейчас помню, ровно в полночь,— когда нас окружал непроницаемый мрак, этот юго-западный ветер так разбушевался, что я вновь был принужден выбросить плавучий якорь.

Рассвет застал меня на корме. Воспаленными от напряжения глазами я всматривался в побелевший вспененный океан, среди которого наша лодка беспомощно взлетала и ныряла, держась на своем плавучем якоре. Мы находились на краю гибели — каждую секунду нас могло захлестнуть волной. Брызги и пена низвергались на нас нескончаемым водопадом, и я должен был безостановочно вычерпывать воду. Одеяла промокли насквозь. Промокло все, и только Мод, в своем плаще, резиновых сапогах и зюйдвестке, была хорошо защищена, хотя руки, лицо и выбившаяся из-под зюйдвестки прядь волос были у нее совершенно мокрые. Время от времени она брала у меня черпак и, не страшась шторма, принималась энергично вычерпывать воду. Все на свете от-

носительно: в сущности это был просто свежий ветер, но для нас, боровшихся за жизнь на нашем жалком суденышке, это был настоящий шторм.

Продрогшие, измученные, весь день сражались мы с разбушевавшимся океаном и свирепым ветром, хлеставшим нам в лицо. Настала ночь, но мы не спали. Опять рассвело, и по-прежнему ветер бил нам в лицо и пенистые валы с ревом неслись навстречу.

На вторую ночь Мод начала засыпать от изнеможения. Я укутал ее плащом и брезентом. Одежда на ней не очень промокла, но девушка закоченела от холода. Я боялся за ее жизнь. И снова занялся день, такой же холодный и безрадостный, с таким же сумрачным небом, яростным ветром и грозным ревом волн.

Двое суток я не смыкал глаз. Я весь промок, продрог до костей и был полумертв от усталости. Все тело у меня ныло от холода и напряжения и при малейшем движении натруженные мускулы давали себя знать,— двигаться же мне приходилось беспрестанно. А нас тем временем все несло и несло на северо-восток — все дальше от берегов Японии, в сторону холодного Берингова моря.

Но мы держались, и шлюпка держалась, хотя ветер дул с неослабевающей силой. К концу третьего дня он еще окреп. Один раз шлюпка так зарылась носом в волну, что ее на четверть залило водой. Я работал черпаком, как одержимый. Вода, заполнившая шлюпку, тянула ее книзу, уменьшала ее пловучесть... Еще одна такая волна — и нас ждала неминуемая гибель. Вычерпав воду, я вынужден был снять с Мод брезент и затянуть им носовую часть шлюпки. Он закрыл собою шлюпку на треть и сослужил нам хорошую службу, трижды спасая нас, когда лодка врезалась носом в волну.

На Мод было жалко смотреть. Она съежилась в комочек на дне лодки, губы ее посинели, на бескровном лице отчетливо были написаны испытываемые ею муки. Но ее глаза, обращенные на меня, все так же светились мужеством и губы произносили ободряющие слова.

В эту ночь шторм, должно быть, бушевал с особенной яростью, но я уже почти ничего не сознавал,— усталость одолела меня, и я заснул на корме.

К утру четвертого дня ветер упал до едва приметного дуновения, волны улеглись, и над нами ярко засияло

солнце. О, благодатное солнце! Мы нежили свои измученные тела в его ласковых лучах и оживали, как букашки после бури. Мы снова начали улыбаться, шутить и бодро смотреть на будущее. А ведь в сущности положение наше было плачевнее прежнего. Мы теперь были еще дальше от Японии, чем в ту ночь, когда покинули «Призрак»; а о том, на какой широте и долготе мы находимся, я мог только гадать, и притом весьма приблизительно. Если мы в течение семидесяти с лишним часов дрейфовали со скоростью двух миль в час, нас должно было снести по крайней мере на сто пятьдесят миль к северо-востоку. Но были ли верны мои подсчеты? А если мы дрейфовали со скоростью четырех миль в час? Тогда нас снесло еще на сто пятьдесят миль дальше от цели.

Итак, где мы находимся, я не знал и не удивился бы, если бы мы вдруг снова увидели «Призрак». Вокруг плавали котики, и я все время ждал, что на горизонте появится промысловая шхуна. Во второй половине дня, когда снова поднялся свежий северо-западный ветер, мы действительно увидели вдали какую-то шхуну, но она тут же скрылась из глаз, и опять мы остались одни среди пустынного моря.

Были дни непроницаемого тумана, когда даже Мод падала духом и с ее губ уже не слетали веселые слова; были дни штиля, когда мы плыли по безмолвному безграничному простору, подавленные величием океана, и дивились тому, что все еще живы и боремся за жизнь, несмотря на всю нашу беспомощность; были дни пурги и снежных шквалов, когда мы промерзали до костей, и были дождливые дни, когда мы наполняли наши бочонки стекавшей с паруса водой.

И все эти дни моя любовь к Мод непрестанно росла. Эта девушка была такой многогранной, такой богатой настроениями — «протеевой», как я называл ее,— натурой. У меня были для нее и другие, еще более ласковые имена, но я ни разу не произнес их вслух. Слова любви трепетали у меня на губах, но я знал, что сейчас не время для признаний. Можно ли, взяв на себя задачу спасти и защитить женщину, просить ее любви? Но сколь ни сложно было — в силу этого и в силу многих других обстоятельств — мое положение, я, думается мне, умел держать себя как должно. Ни взглядом, ни жестом не

выдал я своих чувств. Мы с Мод были добрыми товарищами, и с каждым днем наша дружба крепла.

Больше всего поражало меня в Мод полное отсутствие робости и страха. Ни грозное море, ни утлая лодка, ни штормы, ни страдания, ни наше одиночество, то есть все то, что могло бы устрашить даже физически закаленную женщину, не производило, казалось, никакого впечатления на нее. А ведь она знала жизнь только в ее наиболее изнеживающих, искусственно облегченных формах. Эта девушка представлялась мне всегда как бы сотканной из звездного сияния, росы и туманной дымки... Она казалась мне духом, принявшим телесную оболочку, и воплощением всего, что есть самого нежного, ласкового, доверчивого в женщине. Однако я был не вполне прав. Мод и робела и боялась, но она обладала мужеством. Плоть и муки были и ее уделом, как и всякой женщины, но дух ее был выше плоти и страдала только ее плоть. Она была как бы духом жизни, ее духовной сутью,— всегда безмятежная, с безмятежным взглядом, исполненная веры в высший порядок среди неустойчивого порядка вселенной.

Опять наступила полоса штормов. Дни и ночи ревела буря, рукой титана швыряя наше суденышко по волнам, и океан щерился на нас своей пенистой пастью. Все дальше и дальше относило нас на северо-восток. И вот однажды, когда шторм свирепствовал вовсю, я бросил усталый взгляд в подветренную сторону. Я уже ничего не искал, а скорее, измученный борьбой со стихией, как бы безмолвно молил разъяренные хляби морские унять свой гнев и пощадить нас. Но, взглянув, я не поверил своим глазам. У меня мелькнула мысль, что дни и ночи, проведенные без сна, в непрестанной тревоге, помрачили мой разум. Я перевел взгляд на Мод, и вид ее ясных карих глаз, ее милых мокрых щек и развевающихся волос сказал мне, что рассудок мой цел. Повернувшись снова в подветренную сторону, я снова увидел выступающий далеко в море мыс — черный, высокий и голый, увидел бурный прибой, разбивающийся у его подножья фонтаном белых брызг, и мрачный, неприветливый берег, уходящий на юго-восток и окаймленный грозной полосой бурунов.

— Мод,— воскликнул я,— Мод!

Она повернула голову и тоже увидела землю.

— Неужели это Аляска? — вскричала она.

— Увы, нет! — ответил я и тут же спросил: — Вы умеете плавать?

Она отрицательно покачала головой.

— И я не умею,— сказал я.— Значит, добираться до берега придется не вплавь, а на шлюпке, придется найти какой-нибудь проход между прибрежными скалами. Но время терять нельзя... и присутствия духа тоже.

Я говорил уверенно, но на душе у меня было далеко не спокойно. Мод поняла это и, пристально посмотрев на меня, сказала:

— Я еще не поблагодарила вас за все, что вы сделали для меня, и...

Она запнулась, как бы подбирая слова, чтобы лучше выразить свою благодарность.

— И что же дальше,— спросил я довольно грубо, так как мне совсем не понравилось, что она вдруг вздумала благодарить меня.

— Помогите же мне! — улыбнулась она.

— Помочь вам высказать мне свою признательность перед смертью? И не подумаю. Мы не умрем. Мы высадимся на этот остров и устроимся на нем наилучшим образом еще до темноты.

Однако, несмотря на всю решительность моего тона, я сам не верил ни единому своему слову. Но не страх заставлял меня лгать. Страха за себя я не испытывал, хотя и ждал, что найду смерть в кипящем прибое среди скал, которые быстро надвигались на нас. Нечего было и думать о том, чтобы поднять парус и попытаться отойти от берега: ветер мгновенно опрокинул бы шлюпку и волны захлестнули бы ее; да к тому же и парус вместе с запасными веслами был у нас спущен за корму.

Как я уже сказал, сам я не страшился смерти, которая подстерегала нас где-то там, в каких-нибудь сотнях ярдов, но мысль о том, что должна умереть Мод, приводила меня в ужас. Проклятое воображение уже рисовало мне ее изуродованное тело в кипящем водовороте среди прибрежных скал, и я не мог этого вынести: я заставлял себя думать, что мы благополучно высадимся на берег, и говорил не то, чему верил, а то, чему хотел бы верить.

Вставшая перед моими глазами картина столь страшной гибели ужаснула меня, и на миг мелькнула безумная мысль: схватить Мод в объятия и прыгнуть с нею за борт. Эту мысль сменила другая: когда шлюпка достигнет полосы бурунов, обнять Мод, сказать ей о своей любви и, подхватив ее на руки, броситься в последнюю отчаянную схватку со смертью.

Мы инстинктивно придвинулись друг к другу. Рука Мод в рукавице потянулась к моей. И так, без слов, мы ждали конца. Мы были уже близко от полосы прибоя у западного края мыса, и я напряженно смотрел вперед, в слабой надежде, что случайное течение или сильная волна подхватит и пронесет нас мимо бурунов.

— Мы проскочим! — заявил я с напускной уверенностью, которая не обманула ни Мод, ни меня самого. Но через несколько минут я снова воскликнул:

— Мы проскочим, черт побери!

Я был так взволнован, что выбранился — чуть ли не впервые в жизни.

— Прошу прощенья... — пробормотал я.

— Вот теперь вы убедили меня! — с улыбкой сказала Мод.— Теперь и я верю, что мы проскочим.

За краем мыса уже виден был вдали высокий берег, и нашим глазам постепенно открывалась глубокая бухта. Одновременно с этим до нас долетел какой-то глухой, неумолчный рев. Он перекатывался, как отдаленный гром, и доносился с подветренной стороны сквозь грохот прибоя и вой бури. Мы обогнули мыс, и вся бухта сразу открылась нам — белый, изогнутый полумесяцем песчаный берег, о который разбивался мощный прибой и который был сплошь усеян мириадами котиков. От них-то и исходил долетавший до нас рев.

— Лежбище! — воскликнул я.— Теперь мы и вправду спасены. Тут должна быть охрана и сторожевые суда для защиты животных от охотников. Быть может, на берегу есть даже пост.

Однако, продолжая всматриваться в линию прибоя, разбивавшегося о берег, я вынужден был заметить:

— Не так-то все это просто, конечно, ну да ничего. Если боги смилостивятся над нами, мы обогнем еще один мыс и, может быть, найдем хорошо защищенную бухту, где сможем выйти из шлюпки, даже не замочив ног.

И боги смилостивились. Чуть не врезавшись во второй мыс, мы все же обогнули его, гонимые юго-восточным ветром, и увидели третий, почти на одной линии с первыми двумя. Но какая бухта открылась нам здесь! Она глубоко вдавалась в сушу, и прилив сразу подхватил нашу шлюпку и отнес под укрытие второго мыса. Здесь море было почти спокойно, крупная, но ровная зыбь качала шлюпку, и я втянул пловучий якорь и сел на весла. Берег загибался все дальше на юго-запад, и вдруг внутри этой большой бухты нам открылась еще одна небольшая, хорошо закрытая естественная гавань, где вода стояла тихо, как в пруду, лишь изредка подергиваемая рябью, когда из-за нависшей над песчаным берегом отвесной гряды скал, футах в ста от воды, налетали слабые порывы ветра — отголоски бушевавшего в океане шторма.

Котиков здесь совсем не было видно. Киль лодки врезался в твердую гальку. Я выскочил, протянул Мод руку, и секунду спустя она уже стояла рядом со мною. Но, как только я отпустил ее руку, она поспешно ухватилась за меня. В тот же миг я сам пошатнулся и чуть не упал на песок. Так повлияло на нас прекращение качки. Слишком долго носило нас по морю и швыряло на волнах, и теперь, став на твердую почву, мы были ошеломлены. Нам казалось, что берег тоже должен опускаться и подниматься у нас под ногами, а скалы — качаться, как борта судна. И когда мы, по привычке, приготовились противостоять этим движениям, отсутствие их совершенно нарушило наше чувство равновесия.

— Нет, я должна присесть,— сказала Мод, нервно рассмеявшись, и, взмахнув руками, как пьяная, опустилась на песок.

Втащив лодку повыше, я присоединился к Мод. Так произошла высадка на «Остров Усилий» двух людей, отвыкших от земли и после долгого пребывания на море испытавших «качку» на суше.

Глава двадцать девятая

— Дурак! — воскликнул я, давая выход своей досаде.

Я только что разгрузил шлюпку и перенес все наши вещи туда, где думал устроить стоянку,— подальше от

воды. На берегу валялись выброшенные морем обломки дерева, и вид банки кофе, которую я прихватил из кладовой «Призрака», сразу навел меня на мысль разжечь костер.

— Жалкий идиот! — продолжал я.

— Что вы, что вы!..— проговорила Мод тоном мягкого упрека и пожелала узнать, почему я жалкий идиот.

— Спичек-то нет! — простонал я.— Я не припас ни одной спички, и теперь у нас не будет ни горячего кофе, ни супа, ни чая — вообще ничего горячего!

— А ведь, кажется, Робинзон Крузо добывал огонь трением одной палки о другую? — заметила она.

— Ну да! Я раз двадцать читал рассказы потерпевших кораблекрушение,— они тоже пытались это делать, но без малейшего успеха,— отвечал я.— Знал я еще некоего Винтерса, газетного репортера,— он побывал на Аляске и в Сибири. Мы как-то встретились с ним, и он рассказал мне о своей попытке развести костер с помощью двух палок. Забавная история, и рассказывал он ее неподражаемо. Но его попытка тоже кончилась неудачей. Я помню, как в заключение он изрек, сверкнув своими черными глазами: «Джентльмены! Быть может, жителям тихоокеанских островов это и удается, быть может, малайцам это удается, но даю вам слово, что белому человеку это недоступно».

— Ну что ж. мы ведь до сих пор обходились без огня,— бодро сказала Мод.— И теперь как-нибудь обойдемся, надо полагать.

— Но подумайте, у нас есть кофе! — воскликнул я.— И превосходный кофе! Я же знаю,— я взял его из личных запасов Волка Ларсена. И есть отличные дрова!

Признаюсь, мне ужасно хотелось кофе, а вскоре я узнал, что и Мод питает слабость к этому напитку. К тому же мы так долго были лишены горячей пищи, что, казалось, окоченели изнутри не меньше, чем снаружи. Глоток чего-нибудь горячего пришелся бы нам очень кстати. Но я перестал сетовать и принялся сооружать из паруса палатку для Мод.

Имея в своем распоряжении весла, мачту, шпринт и гик да еще изрядный запас веревок, я считал, что легко справлюсь с этой задачей. Но у меня не было опыта, и мне до всего приходилось доходить своим умом и все время что-то изобретать, так что палатка была готова

лишь к вечеру. А ночью пошел дождь, палатку затопило, и Мод перебралась обратно в шлюпку.

На следующее утро я окопал палатку неглубокой канавой, а часом позже внезапным порывом ветра, налетевшим из-за высокой гряды скал, палатку сорвало и швырнуло на песок в тридцати шагах от нас.

Мод рассмеялась, увидав мое огорченное лицо, а я сказал:

— Как только ветер спадет, я сяду в шлюпку и обследую берег. Тут, верно, есть какой-нибудь пост, а значит, и люди. И корабли не могут не заходить сюда. Эти котики, несомненно, охраняются правительством какой-нибудь страны. Но прежде я хочу все-таки устроить вас поудобнее.

— Я бы предпочла поехать с вами,— сказала Мод.

— Нет, вам лучше остаться. Вы и так уже намучились. Просто чудо, что вы еще живы. А идти на веслах и ставить парус под этим дождем — небольшое удовольствие. Вам нужно отдохнуть, и я прошу вас остаться.

Мне показалось, что чудесные глаза Мод затуманились; она потупилась и отвернулась.

— Я предпочла бы поехать с вами,— повторила она тихо и с мольбой.— Я могла бы...— голос ее дрогнул,— помочь вам, хоть немного. А если с вами что-нибудь случится — подумайте,— я останусь здесь совсем одна!

— Я буду осторожен,— отвечал я.— Далеко не поеду и вернусь к вечеру. Нет, нет, я считаю, что вам следует остаться, отдохнуть как следует и выспаться.

Она подняла голову и заглянула мне в глаза мягким молящим взглядом.

— Пожалуйста, прошу вас! — проговорила она кротко. О, так кротко...

Я призвал на помощь всю свою стойкость и отрицательно покачал головой. Но она продолжала молча заглядывать мне в глаза. Я пытался повторить свой отказ и не нашел слов. Радость вспыхнула в ее взоре, и я понял, что проиграл. Теперь я уже не мог сказать «нет».

После полудня ветер утих, и мы стали готовиться к поездке, решив отправиться в путь на следующее утро. Проникнуть в глубь острова из нашей бухточки было невозможно, так как скалы окружали отлогий песчаный берег отвесной стеной, а по краям бухты поднимались прямо из воды.

С утра день обещал быть пасмурным, но тихим. Встав пораньше, я принялся готовить шлюпку.

— Дурак! Болван! Йэху! [1] — закричал я, решив, что настало время будить Мод. На этот раз, однако, я кричал в притворном отчаянии, а сам, без шапки, весело приплясывал на берегу.

Откинув край палатки, выглянула Мод.

— Что еще случилось! — спросила она сонно, но не без любопытства.

— Кофе! — крикнул я.— Что вы скажете насчет чашки кофе? Горячего, дымящегося кофе?

— Боже мой,— пробормотала она,— как вы напугали меня! И как это жестоко! Я уже приучила себя к мысли, что придется обходиться без кофе, а вы опять дразните меня.

— А вот поглядите, что сейчас произойдет! — отвечал я.

У подножья нависших скал я собрал немного сухих веточек и щепок и приготовил из них растопку, настругав тоненьких лучинок. Затем вырвал листок из своей записной книжки и достал охотничий патрон. Выковырнув ножом пыжи, я высыпал порох на большой плоский камень. Потом осторожно извлек из патрона капсюль и положил его на кучку пороха. Все было готово. Мод внимательно следила за мной, высунувшись из палатки. Подняв с земли камень и держа бумагу наготове, я с силой ударил камнем по капсюлю. Поднялось облачко белого дыма, вспыхнул огонек, и край бумаги загорелся.

Мод восторженно захлопала в ладоши.

— Прометей! — воскликнула она.

Но в эту минуту мне было не до ликования. Чтобы сохранить слабый огонек и придать ему силы, его нужно было всячески беречь и лелеять. Стружку за стружкой, лучинку за лучинкой давал я пожирать огню, пока не затрещали охваченные огнем веточки и щепки. У нас не было ни чайника, ни сковородки — ведь я никак не предполагал, что шлюпку может прибить к какому-то безлюдному острову,— и в ход пошел черпак из шлюпки. Впоследствии, когда мы съели часть консервов, пустые банки недурно заменили нам кухонную утварь.

---

[1] **Йэху** — скотоподобные люди, выведенные Джонатаном Свифтом в его романе «Путешествия Гулливера».

Я вскипятил воду, а Мод взялась за приготовление кофе. И какой же это был вкусный кофе! Я подал к столу говяжью тушонку, разогрев ее с размоченными в воде галетами, и завтрак удался на славу. Прихлебывая горячий черный кофе и обсуждая наши дела, мы засиделись у костра куда дольше, чем могли позволить себе это предприимчивые исследователи необжитых земель.

Я знал, что лежбища в Беринговом море обычно находятся под охраной, и надеялся обнаружить в одной из бухт сторожевой пост. Но Мод, желая, по-видимому, подготовить меня к возможному разочарованию, высказала предположение, что мы открыли новое лежбище. Тем не менее она была в отличном настроении и говорила о нашем довольно плачевном положении в самом веселом тоне.

— Если вы правы,— сказал я,— нужно готовиться к зимовке. Наших запасов нам, конечно, не хватит, но тут выручат котики. Однако осенью они откочуют, так что надо уже сейчас начинать запасаться мясом. Кроме того, нужно будет построить хижины и насобирать побольше дров. Для освещения попытаемся использовать котиковый жир. Словом, если остров окажется необитаемым, хлопот у нас будет по горло. Впрочем, не думаю, чтобы здесь не было людей.

Но она оказалась права. В полветра мы обходили на шлюпке остров, рассматривали в бинокль каждую бухточку и кое-где приставали к берегу, но нигде не обнаружили человеческого жилья. Правда, мы убедились, что люди уже побывали на Острове Усилий. Во второй от нас бухте мы нашли разбитую шлюпку, выброшенную волной на берег. Это была промысловая шлюпка: уключины у нее были оплетены, на носу правого борта имелась стойка для ружья, а на корме я разобрал полустершуюся надпись, выведенную белой масляной краской: «Газель. № 2». Шлюпка лежала здесь давно, так как ее наполовину занесло песком, а растрескавшиеся доски почернели от непогоды. В кормовой части я нашел заржавленный дробовик десятого калибра и матросский нож. Лезвие ножа было обломано почти у рукоятки и тоже изъедено ржавчиной.

— Им удалось выбраться отсюда! — бодро сказал я, хотя сердце у меня сжалось при мысли, что где-нибудь

на берегу мы можем наткнуться на побелевшие человеческие кости.

Мне не хотелось, чтобы настроение Мод было омрачено подобной находкой, поэтому я поспешил оттолкнуть нашу шлюпку от берега и направил ее вокруг северо-восточной оконечности острова. На южном берегу отлогих спусков не было совсем, и, обогнув выступавший в море черный мыс, мы вскоре после полудня закончили объезд острова. Я прикинул, что окружность его составляет примерно двадцать пять миль, а диаметр — от двух до пяти миль. И, по самым скромным подсчетам, на нем было не меньше двухсот тысяч котиков. Возвышенная часть острова находилась у его юго-западной оконечности и постепенно понижалась к северо-востоку, где суша лишь на несколько футов выдавалась из воды. Во всех бухтах, кроме нашей, песчаный берег поднимался полого, переходя на расстоянии полумили от моря в каменистые площадки, кое-где поросшие мхом и другой растительностью, напоминавшей тундру. Сюда и выходили стада котиков; старые самцы стерегли свои гаремы, молодые держались особняком.

Остров Усилий навряд ли заслуживает более подробного описания. Местами скалистый, местами болотистый, повсюду открытый штормовым ветрам, омываемый бурным прибоем и вечно потрясаемый ревом двухсот тысяч морских животных, он представлял собой весьма унылое, безрадостное прибежище. Мод, которая сама готовила меня к возможному разочарованию и весь день сохраняла бодрое, жизнерадостное настроение, теперь, когда мы вернулись в свою бухточку, пала духом. Она мужественно старалась скрыть это от меня, но, разжигая костер, я слышал приглушенные рыдания и знал, что она плачет, уткнувшись в одеяла в своей палатке.

Настал мой черед проявить бодрость. Я старался играть свою роль как можно лучше, и мне это, видимо, удалось, так как вскоре Мод уже снова смеялась и даже распевала. Она рано легла спать, но перед сном спела для меня. Я впервые слышал ее пение и с упоением внимал ему, лежа у костра. Во всем, что она делала, сказывалась артистичность ее натуры, а голос ее, хотя и не сильный, был удивительно нежен и выразителен.

Я по-прежнему спал в лодке и в эту ночь долго лежал без сна. Я глядел на звезды, которых так давно не

было видно, и размышлял. Я понимал, что на мне лежит огромная ответственность, а это было совершенно для меня непривычно. Волк Ларсен оказался прав: прежде я не стоял на своих ногах. Мои адвокаты и поверенные управляли за меня состоянием, доставшимся мне от отца, сам же я не знал никаких забот. Только на «Призраке» научился я отвечать за себя. А теперь, впервые в жизни, должен был нести ответственность за другого человека. И это была величайшая ответственность, какая может выпасть на долю мужчины, ведь я отвечал за судьбу женщины, которая была для меня единственным в мире,— за судьбу «моей малышки», как я любовно называл ее в своих мечтах.

Глава тридцатая

Не мудрено, что мы назвали наш остров Островом Усилий. Две недели трудились мы над возведением хижины. Мод непременно хотела помогать мне, и я чуть не плакал, глядя на ее исцарапанные в кровь руки. Вместе с тем я не мог не гордиться ею. Было поистине что-то героическое в том, как эта изнеженная женщина переносила столь тяжкие лишения и невзгоды и напрягала все свои слабые силы, стараясь выполнять тяжелую работу. Она таскала камни, помогая мне строить хижину, и слушать не хотела, когда я молил ее предоставить это дело мне. Еле-еле удалось мне уговорить ее взять на себя более легкие обязанности — готовить пищу и собирать дрова и мох на зиму.

Стены хижины росли довольно быстро, и все шло как по маслу, пока передо мной не встал вопрос: из чего делать крышу? Без крыши и стены ни к чему! У нас, правда, были запасные весла, и они могли послужить стропилами, но чем их покрыть? Трава для этого не годилась, мох тоже, парус необходимо было сохранить для шлюпки, а брезент уже прохудился.

— Винтерс пользовался шкурами моржей,— заметил я.

— А у нас есть котики,— подсказала Мод.

И на следующий день началась охота. Стрелять я не умел — пришлось учиться. Однако, изведя тридцать патронов на трех котиков, я решил, что наши боеприпа-

сы иссякнут, прежде чем я постигну это искусство. К тому же я уже потратил восемь патронов на разжигание костра, прежде чем догадался сберегать огонь, прикрывая тлеющие угли сырым мхом. Теперь в ящике оставалось не больше сотни патронов.

— Придется бить зверя дубинкой,— заявил я, окончательно убедившись, что стрелок из меня не получится.— Я слышал от охотников, что так делают.

— Как можно! — запротестовала Мод.— Эти животные так красивы! Это же просто зверство. Стрелять еще куда ни шло...

— Нам нужна крыша,— сурово отвечал я.— Зима уже на носу. Или мы, или они — другого выбора нет. Жаль, конечно, что у нас мало патронов, но я думаю, что от удара дубинкой они будут даже меньше страдать, чем от пуль. И уж, конечно, бить их я пойду один.

— Вот в том-то и дело,— взволнованно начала она и вдруг смутилась и замолчала.

— Конечно,— сказал я,— если вы предпочитаете...

— Ну, а я чем буду заниматься? — спросила она мягко, что, как я знал по опыту, означало настойчивость.

— Вы будете собирать дрова и варить обед,— не раздумывая долго, отвечал я.

Она покачала головой.

— Нет, вам нельзя идти одному, это слишком опасно. Знаю, знаю,— поспешно продолжала она, заметив, что я собираюсь возражать.— Я слабая женщина, пусть так. Но может статься, что именно моя маленькая помощь и спасет вас от беды.

— Помощь? Ведь их надо бить дубинкой,— напомнил я.

— Конечно, это будете делать вы. А я, верно, буду визжать и отворачиваться, как только...

— Как только появится опасность? — пошутил я.

— Это уж позвольте мне решать самой — когда отворачиваться, а когда нет,— с величественным видом отрезала она.

Разумеется, дело кончилось тем, что на следующее утро Мод отправилась со мной. Сев на весла, я привел шлюпку в соседнюю бухту. Вода вокруг нас кишела котиками, и на берегу их были тысячи; они ревели так, что нам приходилось кричать, чтобы услышать друг друга.

— Я знаю, что их бьют дубинками,— сказал я, стараясь приободриться и с сомнением поглядывая на огромного самца, приподнявшегося на ластах примерно в тридцати футах от берега и смотревшего прямо на меня.— Весь вопрос в том, как это делается?

— Давайте лучше наберем для крыши травы,— сказала Мод.

Она была напугана не меньше меня, да и не мудрено было испугаться, увидав вблизи эти сверкающие клыки и пасти, похожие на собачьи.

— А я всегда думал, что они боятся людей,— заметил я.— Впрочем, с чего я взял, что они не боятся? — добавил я, продолжая грести вдоль пляжа.— Быть может, стоит мне только смело выйти на берег, как они обратятся в бегство и покажут такую прыть, что я еще, пожалуй, и не догоню их.

И все же я медлил.

— Мне рассказывали, как один человек забрел на гнездовье диких гусей,— сказала Мод.— Они убили его.

— Гуси?

— Да, гуси. Я слышала об этом от своего брата, когда была маленькой.

— Но я же знаю, что котиков бьют дубинками! — настаивал я.

— А я думаю, что из травы крыша получится ничуть не хуже,— сказала Мод.

Сама того не желая, она только подзадорила меня. Не мог же я показать себя трусом.

— Была не была! — воскликнул я и, табаня одним веслом, начал причаливать к берегу.

Выпрыгнув из шлюпки, я смело пошел на гривастого секача, окруженного своими многочисленными самками. Я прихватил с собой обыкновенную дубинку, какой гребцы добивают раненых котиков, вытащенных из воды охотниками. Она была всего в полтора фута длиной, и я в своем неведении даже не подозревал, что при набегах на лежбища применяются дубинки длиною в четыре-пять футов. Самки расползались при моем приближении; расстояние между мной и секачом все уменьшалось. Он сердито приподнялся на ластах. Я был от него уже футах в двенадцати и продолжал идти вперед, ожидая, что он вот-вот пустится от меня наутек.

Сделав еще несколько шагов, я испугался: а вдруг

он не побежит? Ну что ж, тогда я стукну его дубинкой,— решил я. Со страху я даже позабыл, что моя цель — убить зверя, а не обратить его в бегство. Но в эту минуту он фыркнул, взревел и бросился на меня. Глаза его сверкали, пасть была широко разинута, и в ней зловеще белели клыки. Без ложного стыда должен признаться, что в бегство обратился не он, а я. Он преследовал меня неуклюже, но весьма проворно и был всего в двух шагах, когда я прыгнул в шлюпку. Я оттолкнулся от берега веслом, но он успел вцепиться в него зубами. Крепкое дерево хрустнуло и раскололось, как яичная скорлупа. Мы с Мод были ошеломлены. А секач нырнул под шлюпку и принялся с силой трясти ее, ухватившись зубами за киль.

— Боже мой! — вскричала Мод.— Лучше вернемся.

Я покачал головой.

— То, что делают другие, могу сделать и я, а я знаю наверное, что котиков бьют дубинками. Но секачей придется оставить в покое.

— Лучше бы вам их всех оставить в покое! — сказала Мод.

— Только не вздумайте говорить: «Пожалуйста, прошу вас!» — воскликнул я и, боюсь, довольно сердито.

Она промолчала, но я понял, что мой тон задел ее.

— Простите! — сказал, или, вернее, прокричал я, чтобы покрыть стоявший над лежбищем рев.— Если вы будете настаивать, мы, конечно, вернемся, но, честно говоря, я бы этого не хотел.

— Только не вздумайте говорить: «Вот что значит брать с собой женщину!» — сказала она с обворожительной лукавой улыбкой, и я понял, что прощен.

Проплыв еще немного вдоль берега, чтобы собраться с духом, я снова причалил и вышел из шлюпки.

— Будьте осторожны! — крикнула мне вслед Мод.

Я кивнул ей и предпринял фланговую атаку на ближайший гарем. Все шло хорошо, пока я, подобравшись к одной из самок, лежавшей в стороне, не сделал попытку ударить ее по голове. Я промахнулся, а она зафыркала и проворно поползла прочь. Я подбежал ближе, замахнулся вторично, но угодил не в голову, а в плечо.

— Берегитесь! — услышал я отчаянный крик Мод.

Увлеченный охотой, я не глядел по сторонам и, обернувшись, увидел, что меня атакует сам владыка гарема.

Преследуемый по пятам, я снова бросился к шлюпке. Но на этот раз Мод уже не предлагала мне отказаться от моей затеи.

— Я думаю, вам лучше не трогать гаремы, а заняться одинокими котиками,— сказала она.— Эти как-то безобиднее. Помнится, я даже где-то читала про это. У доктора Джордана как будто. Это молодые самцы, недостаточно возмужавшие, чтобы иметь свои гаремы. Джордан, кажется, называет их «холостяками». Нужно только найти, где у них лежбище, и тогда...

— В вас, я вижу, пробудился охотничий инстинкт! — рассмеялся я.

Она мило вспыхнула.

— Я, так же как и вы, не люблю признавать себя побежденной, хотя мне и очень не по душе, что вы будете убивать этих красивых безобидных созданий.

— Красивых! — усмехнулся я.— Что-то я не заметил ничего красивого в этих чудовищах, которые гнались за мной, оскалив клыки.

— Все зависит от точки зрения,— рассмеялась она.— Вам не хватает перспективы. К наблюдаемому предмету не рекомендуется подходить слишком близко...

— Вот именно! — воскликнул я. — Что мне нужно — так это дубинку подлиннее. Кстати, можно воспользоваться сломанным веслом.

— Я припоминаю...— сказала она.— Капитан Ларсен рассказывал, как охотятся на лежбищах. Загоняют небольшую часть стада подальше от берега и там убивают.

— Ну, у меня нет особого желания загонять «небольшую часть стада»,— возразил я.

— Есть еще «холостяки»,— сказала она.— Они держатся особняком. Доктор Джордан говорит, что между гаремами остаются дорожки, и пока «холостяки» не сходят с этих дорожек, повелители гаремов не трогают их.

— Вот как раз плывет один из них,— указал я на молодого «холостяка», подплывавшего к берегу.— Будем наблюдать за ним, и, если он выйдет из воды, я пойду следом.

Котик выбрался на берег в свободном пространстве между двумя гаремами, повелители которых грозно заворчали, но не тронули его, и стал медленно удаляться, пробираясь по «дорожке».

— Ну, попытаемся! — бодро сказал я, выскакивая из шлюпки, но, признаюсь, сердце у меня ушло в пятки при мысли о том, что мне придется пройти сквозь все это громадное стадо.

— Не мешало бы закрепить шлюпку,— сказала Мод.

Она уже стояла на берегу рядом со мной, и я с изумлением посмотрел на нее.

Она решительно кивнула.

— Ну да, я пойду с вами. Втащите шлюпку повыше на берег и вооружите меня какой-нибудь дубинкой.

— Давайте лучше вернемся назад,— уныло проговорил я.— Обойдемся в конце концов и травой.

— Вы же знаете, что трава не годится,— последовал ответ.— Может быть, мне пойти вперед?

Я пожал плечами, но в глубине души был восхищен ее смелостью и горд за нее. Я дал ей сломанное весло, а сам взял другое. Не без страха двинулись мы вперед. Мод испуганно вскрикнула, когда какая-то любопытная самка потянулась носом к ее ноге, да и я не раз ускорял шаги по той же причине. Из обоих гаремов доносилось предостерегающее ворчанье, но других признаков враждебности мы не замечали. Это лежбище еще не видало охотников, и поэтому котики здесь были не напуганы и довольно добродушны.

В гуще стада шум стоял неимоверный. От него голова шла кругом. Я приостановился и ободряюще улыбнулся Мод. Мне удалось быстрее преодолеть свою боязнь, она же все еще не могла побороть страха и, подойдя ко мне ближе, крикнула:

— Я боюсь, ужасно боюсь!

А я не боялся. Мне еще было не по себе, однако мирное поведение котиков значительно умерило мою тревогу. Но Мод вся дрожала.

— Я боюсь и не боюсь,— лепетала она трясущимися губами.— Это мое жалкое тело боится, а не я.

— Ничего, ничего! — ободрял я ее, инстинктивно обняв за плечи в стремлении защитить.

Никогда не забуду, какой прилив мужества я тогда ощутил. Изначальные инстинкты заговорили во мне, и я почувствовал себя мужчиной, защитником слабых, борющимся самцом. Но драгоценнее всего было сознание, что я защищаю любимое существо. Мод опиралась на меня, нежная и хрупкая, как цветок, и дрожь ее утиха-

ла, а я чувствовал, как крепнут мои силы. Я готов был сразиться с самым свирепым самцом из стада, и если бы в ту минуту он набросился на меня, я встретил бы его бестрепетно и наверняка одолел бы.

— Все в порядке,— проговорила Мод, с благодарностью подняв на меня глаза.— Пойдемте дальше!

И сознание, что она почерпнула силы во мне и полагается на меня, наполнило мое сердце ликованием. Сквозь все наслоения цивилизации во мне все отчетливее звучало что-то унаследованное от моих далеких и забытых предков, живших на заре человечества, бивших зверя и спавших под открытым небом. А ведь мне, пожалуй, следует благодарить за это Волка Ларсена, подумал я, пробиваясь вместе с Мод по дорожке между гаремами.

Углубившись на четверть мили от берега, мы дошли до лежбища «холостяков» — молодых самцов с гладкой лоснящейся шерстью,— которые в одиночестве копили здесь силы в ожидании того дня, когда они с боем проложат себе дорогу в ряды счастливцев.

Теперь у меня все сразу пошло на лад. Можно было подумать, что я всю жизнь только тем и занимался, что бил котиков. Крича, угрожающе размахивая дубинкой и даже подталкивая ею более медлительных, я быстро отогнал в сторону десятка два «холостяков». Когда какой-либо из них пытался прорваться назад к морю, я преграждал ему путь. Мод принимала в этом самое деятельное участие и помогала мне, крича и размахивая сломанным веслом. Я заметил, однако, что наиболее тщедушным и неповоротливым она позволяла ускользнуть. Но я видел также, что, когда какой-нибудь особенно воинственно настроенный зверь делал попытку прорваться, глаза у нее вспыхивали и она ловко ударяла его дубинкой.

— А ведь это увлекает! — воскликнула она, останавливаясь в изнеможении, чтобы передохнуть.— Но я, кажется, должна присесть.

Пока она отдыхала, я отогнал маленькое стадо, в котором, по мягкосердечию Мод, осталось около двенадцати голов, шагов на сто дальше. Когда она присоединилась ко мне, я уже кончил бой и начал свежевать туши. Час спустя, нагруженные шкурами, мы гордо шествовали назад по дорожке между гаремами и дважды

еще спускались к морю, сгибаясь под тяжестью своей ноши, после чего я решил, что на крышу нам теперь шкур хватит. Я поднял парус, вывел шлюпку из бухты, лег на другой галс и ввел ее в нашу бухточку.

— Точно в родной дом возвращаемся! — проговорила Мод, когда шлюпка врезалась в берег.

Ее слова взволновали меня,— они прозвучали так естественно и вместе с тем интимно,— и я сказал:

— А мне уже кажется, что я никогда и не жил другой жизнью. Мир книг и книжников припоминается мне сейчас так смутно, словно это был сон, а на самом деле я всю жизнь только и делал, что охотился и совершал набеги на лежбища зверей. И словно вы тоже всегда участвовали в этой жизни. Вы...— я чуть не произнес: «моя жена, моя подруга», но вовремя спохватился и закончил: — отлично переносите трудности.

Но чуткое ухо Мод уловило фальшь в моем голосе. Она поняла, что я думал о чем-то другом, и бросила на меня быстрый взгляд.

— Это не то. Вы хотели сказать...

— ...что американская миссис Мейнелл ведет жизнь дикарки, и притом довольно успешно,— непринужденно отвечал я.

— О! — протянула она, но я мог бы поклясться, что вид у нее был разочарованный.

Слова эти — «моя жена, моя подруга» — звучали в моей душе весь день и еще много дней. Но никогда не звучали они так настойчиво, как в тот вечер, когда я, сидя у очага, наблюдал, как Мод снимает мох с углей, раздувает огонь и готовит ужин. Верно, крепка была моя связь с моим первобытным предком, если эти древние слова, прозвучавшие впервые в глубине веков, так захватили и взволновали меня. А они звучали во мне все громче и громче, и, засыпая, я повторял их про себя.

Глава тридцать первая

— Да, от нее будет попахивать,— сказал я,— зато она сохранит в хижине тепло и укроет вас от дождя и снега.

Мы стояли и рассматривали крышу из котиковых шкур, которая была, наконец, готова.

— Она неказиста, но своей цели послужит, а это главное,— продолжал я, жаждая услышать похвалу из уст Мод.

Она захлопала в ладоши и объявила, что страшно довольна.

— Но ведь внутри совсем темно,— добавила она секунду спустя и невольно передернула плечами.

— Почему же вы не предложили сделать окно, когда мы складывали стены? — сказал я.— Хижина строилась для вас, и вы могли бы подумать о том, что вам нужен свет.

— Но я как-то не привыкла задумываться над тем, что кажется очевидным,— засмеялась она в ответ.— А кроме того, в стене ведь можно пробить дыру в любое время.

— Совершенно верно. Вот об этом я не подумал,— отозвался я, глубокомысленно покачивая головой.— Ну, а вы позаботились уже заказать оконные стекла? Позвоните в магазин — Рэд-44-51, если не ошибаюсь,— и скажите, какой сорт и размер вам нужен.

— Это значит?..— начала она.

— Это значит, что окна не будет.

Темно и неприглядно было в этой хижине. В цивилизованных условиях такое сооружение могло бы послужить разве лишь свиным хлевом, но нам, познавшим все тяготы скитаний на шлюпке, оно казалось весьма уютным пристанищем. Отпраздновав новоселье при свете пенькового фитиля, плававшего в вытопленном котиковом жире, мы занялись заготовлением мяса на зиму и постройкой второй хижины. Охота казалась нам теперь простым делом. С утра мы выезжали на шлюпке, а к полудню возвращались с грузом котиковых туш. Затем, пока я трудился над постройкой хижины, Мод вытапливала жир и поддерживала огонь в очаге, над которым коптилось мясо. Я слышал о том, как коптят говядину в центральных штатах, и мы делали так же: нарезали мясо котиков длинными тонкими ломтями, подвешивали их над костром, и они превосходно коптились.

Складывать вторую хижину было легче, так как я пристраивал ее к первой и для нее требовалось только три стены. Но и на это надо было употребить много упорного, тяжелого труда. Мы с Мод работали весь день

дотемна, не щадя сил, а с наступлением ночи еле добирались до своих постелей и засыпали как убитые. И все же Мод уверяла меня, что никогда в жизни не чувствовала себя такой здоровой и сильной. Про себя я мог сказать то же самое, но Мод была хрупкая, как цветок, и я все время боялся, что ее здоровье не выдержит такого напряжения. Сколько раз видел я, как она в полном изнеможении ложилась навзничь на песок, раскинув руки, чтобы лучше отдохнуть, а потом вскакивала и трудилась с прежним упорством, и не переставал дивиться, откуда только берутся у нее силы.

— Ну, нам еще надоест отдыхать зимой,— отвечала она на все мои уговоры поберечь себя.— Да мы будем изнывать от безделья и радоваться любой работе!

В тот вечер, когда и над моей хижиной появилась крыша, мы вторично отпраздновали новоселье. Третий день яростно бушевал шторм: он шел с юго-востока, постепенно перемещаясь к северо-западу, и сейчас дул на нас прямо с моря. Прибой грохотал на отлогом берегу внешней бухты, и даже в нашем маленьком глубоком заливчике гуляли изрядные волны. Скалистый хребет острова не защищал нас от ветра, который так ревел и завывал вокруг хижины, что я опасался за ее стены. Крыша, натянутая, казалось мне, туго, как барабан, прогибалась и ходила ходуном при каждом порыве ветра; в стенах, плотно, как полагала Мод, проконопаченных мхом, открылись бесчисленные щели. Но внутри ярко горела плошка с котиковым жиром, и нам было тепло и уютно.

Это был удивительно приятный вечер, и мы с Мод единогласно решили, что ни одно из наших светских мероприятий на Острове Усилий еще не проходило столь успешно. На душе у нас было спокойно. Мы не только примирились с мыслью о предстоящей нам суровой зиме, но и подготовились к ней. Котики могли теперь в любой день отправляться в свое таинственное путешествие на юг — что нам до того! Да и бури нас не страшили. Мы не сомневались, что нам будет сухо и тепло под нашим кровом, а у нас к тому же имелись еще роскошные, мягкие тюфяки, изготовленные из мха. Это было изобретение Мод, и она сама ревностно собирала для них мох. Мне предстояло сегодня впервые за много

ночей спать на тюфяке, и я знал, что сон мой будет еще слаще от того, что тюфяк этот сделан руками Мод.

Направляясь к себе в хижину, Мод обернулась ко мне и неожиданно произнесла следующие загадочные слова:

— Что-то должно произойти! Вернее, уже происходит. Я чувствую. Что-то приближается сюда, к нам. Вот в эту самую минуту. Я не знаю, что это, но оно идет сюда.

— Хорошее или плохое? — спросил я.

Она покачала головой.

— Не знаю, но оно где-то там.

И она указала в ту сторону, откуда ветер рвался к нам с моря.

— Там море и шторм,— рассмеялся я,— и не позавидуешь тому, кто вздумает высадиться на этот берег в такую ночь.

— Вы не боитесь? — спросил я, провожая ее до двери.

Вместо ответа она смело и прямо посмотрела мне в глаза.

— А как вы себя чувствуете? Вполне хорошо?

— Никогда не чувствовала себя лучше,— отвечала она.

Мы поговорили еще немного, и она ушла.

— Спокойной ночи, Мод! — крикнул я ей вслед.

— Спокойной ночи, Хэмфри! — откликнулась она.

Не сговариваясь, мы назвали друг друга по имени, и это вышло совсем просто и естественно. Я знал, что в эту минуту я мог бы обнять ее и привлечь к себе. В привычной для нас обоих обстановке я бы, несомненно, так и поступил. Но здесь наши отношения не могли перейти известной грани, и я остался один в своей маленькой хижине, согретый сознанием, что между мною и Мод возникли какие-то новые узы, какое-то новое молчаливое взаимопонимание.

Глава тридцать вторая

Мое пробуждение сопровождалось странным гнетущим ощущением беспокойства. Словно мне чего-то недоставало, словно исчезло что-то привычное. Но это ощу-

щение скоро прошло, и я понял, что ничто не изменилось,— не было только ветра. Когда я засыпал, нервы у меня были напряжены, как бывает всегда при длительном воздействии на них звука или движения, и, пробудясь, я в первое мгновение все еще находился в этом состоянии напряжения, стараясь противостоять силе, которая уже перестала действовать.

Впервые за долгие месяцы я провел ночь под кровлей, и мне хотелось понежиться еще под сухими одеялами, не ощущая на лице ни тумана, ни морских брызг. Я лежал, размышляя над тем, как странно подействовало на меня прекращение ветра, и испытывая блаженство от сознания, что я покоюсь на тюфяке, сделанном руками Мод. Одевшись и выглянув наружу, я услышал шум прибоя, который все еще бился о берег и свидетельствовал о недавно пронесшемся шторме. День был яркий и солнечный. Я основательно заспался и теперь с внезапным приливом энергии шагнул за порог. Я был исполнен решимости наверстать упущенное время, как и подобало обитателю Острова Усилий.

Но, выйдя из хижины, я остановился как вкопанный. Я не мог поверить своим глазам; то что я увидел, ошеломило меня. На берегу, в каких-нибудь пятидесяти футах от хижины, уткнувшись носом в песок, лежал лишенный мачт черный корпус судна. Мачты и гики, перепутавшись с вантами и разодранными парусами, свисали с его борта. Я был поражен и глядел во все глаза. Вот он — камбуз, который мы сами построили, а вот и знакомый уступ юта и невысокая палуба рубки, едва возвышающаяся над бортом. Это был «Призрак».

Какой каприз судьбы занес его именно сюда, в этот крохотный уголок земли? Что за чудовищное совпадение? Я оглянулся на черную, неприступную стену за моей спиной, и безысходное отчаяние охватило меня. Бежать было некуда, абсолютно некуда. Я подумал о Мод, спящей в хижине, построенной нашими руками, вспомнил, как она сказала: «Спокойной ночи, Хэмфри», и слова «моя жена, моя подруга» вновь зазвенели в моем мозгу, но теперь — увы! — они звучали погребальным звоном. У меня потемнело в глазах. Быть может, это продолжалось лишь долю секунды,— не знаю. Когда я очнулся, передо мною по-прежнему чернел корпус шхуны; ее расколотый бушприт торчал над песчаным

берегом, а обломанные части рангоута со скрипом терлись о борт при каждом всплеске волны. Я понял, что надо что-то предпринять. Надо было немедленно что-то предпринять!

Внезапно меня поразило, что на шхуне не заметно никаких признаков жизни. Это было странно. Видимо, команда, измученная борьбой со штормом и перенесенным кораблекрушением, все еще спит. У меня мелькнула мысль, что мы с Мод можем спастись, если успеем сесть на шлюпку и обогнуть мыс, прежде чем на шхуне кто-нибудь проснется. Надо разбудить Мод и тотчас двинуться в путь! Я уже готов был постучаться к ней, но тут же вспомнил, как ничтожно мал наш островок. Нам негде будет укрыться на нем. Нет, у нас не было выбора — только безбрежный, суровый океан. Я подумал о наших уютных маленьких хижинах, о наших запасах мяса и жира, мха и дров и понял, что мы не выдержим путешествия по океану зимой в бурную штормовую погоду.

В нерешительности, с поднятой рукой, я застыл у двери Мод. Нет, это невозможно, совершенно невозможно! Безумная мысль пронеслась в моем мозгу — ворваться к Мод и убить ее во сне. И сейчас же возникла другая: на шхуне все спят; что мешает мне проникнуть туда — прямо в каюту к Волку Ларсену — и убить его? А там... Там видно будет. Главное — убрать его с дороги, после чего можно будет подумать и об остальном. Все равно, что бы ни случилось потом, хуже, чем сейчас, не будет.

Нож висел у меня на поясе. Я вернулся в хижину за дробовиком, проверил, заряжен ли он, и направился к шхуне. Не без труда, промокнув по пояс, взобрался я на борт. Люк матросского кубрика был открыт. Я прислушался, но снизу не доносилось ни звука — я не услышал даже дыхания спящих людей. Неожиданная мысль поразила меня: неужели команда бросила корабль? Я снова напряженно прислушался. Нет, ни звука. Я начал осторожно спускаться по трапу. Кубрик был пуст, и в нем стоял затхлый запах покинутого жилья. Кругом в беспорядке валялась рваная одежда, старые резиновые сапоги, дырявые клеенчатые куртки — весь тот негодный хлам, который скопляется в кубриках за долгое плавание.

Я поднялся на палубу, не сомневаясь больше в том, что команда покинула шхуну второпях. Надежда вновь ожила в моей груди, и я уже спокойнее огляделся кругом. Я заметил, что на борту нет ни одной шлюпки. В кубрике охотников моим глазам предстала та же картина, что и у матросов. Охотники, видимо, собирали свои вещи в такой же спешке. «Призрак» был брошен. Теперь он принадлежал Мод и мне. Я подумал о судовых запасах, о кладовой под кают-компанией, и у меня явилась мысль сделать Мод сюрприз — раздобыть что-нибудь вкусное к завтраку.

После пережитого волнения я ощутил вдруг необычайный прилив сил, а при мысли о том, что страшное дело, которое привело меня сюда, стало теперь ненужным, развеселился, как мальчишка. Перепрыгивая через ступеньку, я поднялся по трапу, думая только о том, что нужно успеть приготовить завтрак, пока Мод спит, если я хочу, чтобы мой сюрприз удался на славу. Огибая камбуз, я с удовлетворением вспомнил о замечательной кухонной посуде, которую я там найду. Я взбежал на ют и увидел... Волка Ларсена! От неожиданности я пробежал с разгона еще несколько шагов, грохоча башмаками, прежде чем смог остановиться. Ларсен стоял на трапе кают-компании,— над люком возвышались только его голова и плечи,— и в упор смотрел на меня. Обеими руками он упирался о полуоткрытую крышку люка и стоял совершенно неподвижно. Стоял и смотрел на меня.

Я задрожал. Снова, как прежде, томительно засосало под ложечкой. Я ухватился рукой за край рубки, ища опоры. Губы у меня сразу пересохли, и я несколько раз провел по ним языком. Я не сводил глаз с Волка Ларсена, и оба мы не произносили ни слова. Что-то зловещее было в его молчании и в этой полной неподвижности. Весь мой прежний страх перед ним вернулся ко мне с удесятеренной силой. И так мы стояли и смотрели друг на друга.

Я чувствовал, что надо действовать, но прежняя беспомощность овладела мной, и я ждал, что́ сделает он. Секунды летели, и вдруг все происходящее напомнило мне о том, как я, подойдя к гривастому секачу, позабыл от страха, что должен убить его, и только помышлял, как бы обратить его в бегство. Но ведь и сюда я при-

шел не за тем, чтобы ждать, что предпримет Волк Ларсен, а действовать.

Я взвел оба курка и вскинул двустволку к плечу. Если б он попытался спуститься вниз, если бы он только шелохнулся, я, без сомнения, застрелил бы его. Но он стоял совершенно неподвижно и смотрел на меня. Дрожащими руками сжимая двустволку и целясь в него, я успел заметить, как осунулось его лицо. Какие-то тяжелые потрясения оставили на нем свой след. Щеки впали, на лбу залегли морщины, а глаза производили странное впечатление. Казалось, его глазные нервы и мышцы были не в порядке и глаза смотрели напряженно и слегка косили. И выражение их было тоже какое-то странное.

Я глядел на него, и мозг мой лихорадочно работал. Тысячи мыслей проносились у меня в голове, но я не мог нажать на спусковой крючок. Я опустил двустволку и двинулся к углу рубки, стараясь собраться с духом и снова — с более близкого расстояния — попытаться выстрелить в него. Я вскинул двустволку к плечу. Я находился теперь в каких-нибудь двух шагах от Волка Ларсена. Ему не было спасения. Я больше не колебался. Промахнуться я не мог, как бы плохо я ни стрелял. Но я не мог заставить себя спустить курок.

— Ну? — нетерпеливо промолвил он.

Тщетно пытался я нажать на спуск, тщетно пытался что-нибудь сказать.

— Почему вы не стреляете? — спросил он.

Я откашлялся, но не смог выговорить ни слова.

— Хэмп, — медленно произнес Ларсен, — ничего у вас не выйдет! Не потому, чтобы вы боялись, но вы бессильны. Ваша насквозь условная мораль сильнее вас. Вы — раб предрассудков, которыми напичканы люди вашего круга и ваши книги. Вам вбивали их в голову чуть ли не с колыбели, и, вопреки всей вашей философии и моим урокам, они не позволяют вам убить безоружного человека, который не оказывает вам сопротивления.

— Знаю, — хрипло отозвался я.

— А мне, — и это вы тоже знаете, — убить безоружного так же просто, как выкурить сигару, — продолжал он. — Вы знаете меня и знаете, чего я стою, если подходить ко мне с вашей меркой. Вы называли меня змеей, тигром, акулой, чудовищем, Калибаном. Но вы — жал-

кая марионетка, механически повторяющая чужие слова, и вы не можете убить меня, как убили бы змею или акулу, не можете только потому, что у меня есть руки и ноги и тело мое имеет некоторое сходство с вашим. Эх! Я ожидал от вас большего, Хэмп!

Он поднялся по трапу и подошел ко мне.

— Опустите ружье. Я хочу задать вам несколько вопросов. Я еще не успел осмотреться. Что это за место? Как стоит «Призрак»? Почему вы так вымокли? Где Мод?.. Виноват, мисс Брустер... Или, быть может, следует спросить — где миссис Ван-Вейден?

Я пятился от него, чуть не плача от своего бессилия, оттого что не мог застрелить его, но все же был не настолько глуп, чтобы опустить ружье. Мне отчаянно хотелось, чтобы он сделал попытку напасть на меня — попытался ударить меня или схватить за горло, — тогда я нашел бы в себе силы выстрелить в него.

— Это Остров Усилий,— ответил я на его вопрос.

— Никогда не слыхал о таком острове.

— По крайней мере мы так называем его.

— Мы? — переспросил он. — Кто это мы?

— Мисс Брустер и я. А «Призрак», как вы сами видите, лежит, зарывшись носом в песок.

— Здесь есть котики,— сказал он.— Они разбудили меня своим ревом, а то я бы еще спал. Я слышал их и вчера, когда нас прибило сюда. Я сразу понял тогда, что попал на подветренный берег. Здесь лежбище — как раз то, что я ищу уже много лет. Спасибо моему братцу,— благодаря ему я наткнулся на это богатство. Это же клад! Каковы координаты острова?

— Не имею ни малейшего представления, — отвечал я. — Но вы сами должны знать их достаточно точно. Какие координаты вы определяли в последний раз?

Он как-то странно улыбнулся и ничего не ответил.

— А где же команда? — спросил я. — Как это случилось, что вы остались один?

Я ожидал, что он отклонит и этот вопрос, но, к моему удивлению, он сразу ответил:

— Мой брат поймал меня меньше чем через двое суток, впрочем не по моей вине. Взял меня на абордаж, когда на палубе не было никого, кроме вахтенных. Охотники тут же предали меня. Он предложил им бóльшую долю в доходах по окончании охоты, чем они имели

на «Призраке». Я слышал, как он предлагал им это — при мне, без малейшего стеснения. Словом, вся команда перешла к нему, чего и следовало ожидать. В один миг спустили шлюпки и махнули за борт, а я остался на своей шхуне один, как на необитаемом острове. На этот раз Смерть Ларсен взял верх, ну, да это дело семейное.

— Но как же вы потеряли мачты?

— Подойдите и осмотрите вон те талрепы, — сказал он, указывая туда, где должны были находиться грот-ванты.

— Перерезаны ножом! — воскликнул я.

— Но не до конца, — усмехнулся он. — Тут тонкая работа! Посмотрите-ка внимательнее.

Я осмотрел талрепы еще раз. Они были надрезаны так, чтобы держать ванты лишь до первого сильного натяжения.

— Это дело рук кока! — со смехом сказал Волк Ларсен. — Знаю наверняка, хотя и не накрыл его. Все-таки ему удалось немного поквитаться со мной.

— Молодец Магридж! — воскликнул я.

— Примерно то же самое сказал и я, когда мачты полетели за борт, но, разумеется, мне было не так весело, как вам.

— Что же вы предпринимали, когда все это происходило? — спросил я.

— Все, что от меня зависело, можете быть уверены. Но при сложившихся обстоятельствах — не очень-то много...

Я снова стал рассматривать работу Томаса Магриджа.

— Я, пожалуй, присяду, погреюсь на солнышке, — услышал я голос Волка Ларсена.

Едва уловимая нотка физической слабости прозвучала в этих словах, и это было так странно, что я быстро обернулся к нему. Он нервно проводил рукой по лицу, словно сметая с него паутину. Я был озадачен. Все это так мало вязалось с его обликом.

— Как ваши головные боли? — спросил я.

— Мучают по временам,— отвечал он.— Кажется, и сейчас начинается.

Он прилег на палубу. Повернувшись на бок, он подложил руку под голову, а другой рукой прикрыл глаза от солнца. Я стоял и с недоумением смотрел на него.

— Вот вам удобный случай, Хэмп! — сказал он.

— Не понимаю,— солгал я, хотя прекрасно понял, что он хотел сказать.

— Ну ладно,— тихо, словно сквозь дремоту, проговорил он.— Я весь сейчас в ваших руках, что вам, собственно, и нужно.

— Ничего подобного,— возразил я.— Мне нужно, чтобы вы были не в моих руках, а за тысячу миль отсюда.

Ларсен усмехнулся и больше не прибавил ни слова. Он даже не шелохнулся, когда я прошел мимо него и спустился в кают-компанию. Подняв крышку люка, я остановился в нерешительности, глядя в глубь темной кладовой. Я колебался — спускаться ли? А что, если Ларсен только притворяется? Попадешься здесь, как крыса в ловушку! Я тихонько поднялся по трапу и выглянул на палубу. Ларсен лежал все в том же положении, в каком я его оставил. Я снова спустился в кают-компанию, но, прежде чем спрыгнуть в кладовую, сбросил туда крышку люка. По крайней мере ловушка не захлопнется. Но это была излишняя предосторожность. Захватив с собой джема, галет, мясных консервов — словом, все, что можно было сразу унести, я выбрался назад в кают-компанию и закрыл за собой люк.

Выйдя на палубу, я увидел, что Волк Ларсен так и не пошевельнулся. Внезапно меня озарила новая мысль. Я прокрался в каюту и завладел его револьверами. Другого оружия я нигде не нашел, хотя тщательно обшарил и остальные три каюты и спустился еще раз в кубрик охотников и в матросский кубрик. Я даже забрал из камбуза все кухонные ножи. Потом я вспомнил о большом складном ноже, который капитан всегда носил при себе. Я подошел к Ларсену и заговорил с ним — сперва вполголоса, потом громко. Он не шелохнулся. Тогда я осторожно вытащил нож у него из кармана, после чего вздохнул с облегчением. У него не оставалось теперь никакого оружия, и он не мог напасть на меня с расстояния, я же был хорошо вооружен и сумел бы оказать ему сопротивление, если бы он попытался схватить меня за горло своими страшными ручищами.

Присоединив к моей добыче кофейник и сковороду и захватив из буфета кают-компании кое-какую посу-

ду, я оставил Волка Ларсена на залитой солнцем палубе и спустился на берег.

Мод еще спала. Кухню на зиму мы не успели построить, и я поспешил разжечь костер и принялся готовить завтрак. Дело у меня подходило к концу, когда я услышал, что Мод встала и ходит по хижине, занимаясь своим туалетом. Когда же она появилась на пороге, у меня уже все было готово, и я наливал кофе в чашки.

— Это нечестно! — приветствовала она меня.— Мы же договорились, что стряпать буду я...

— Один раз не в счет,— оправдывался я.

— Но обещайте, что это не повторится! — улыбнулась она.— Конечно, если вам не надоела моя жалкая стряпня.

К моему удовольствию, Мод ни разу не взглянула на берег, а я так удачно отвлекал ее внимание своей болтовней, что она машинально ела сушеный картофель, который я размочил и поджарил на сковородке, прихлебывала кофе из фарфоровой чашки и намазывала джемом галеты. Но долго это продолжаться не могло. Я увидел, как на ее лице внезапно изобразилось удивление. Фарфоровая тарелка, с которой она ела, бросилась ей в глаза. Она окинула взглядом все, что было приготовлено к завтраку, глаза ее перебежали с предмета на предмет. Потом она посмотрела на меня и медленно обернулась к берегу.

— Хэмфри! — с трудом произнесла она.

Невыразимый ужас снова, как прежде, отразился в ее глазах.

— Неужели... он?..— упавшим голосом проговорила она.

Я кивнул головой.

Глава тридцать третья

Весь день мы ждали, что Волк Ларсен спустится на берег. Это были тревожные, мучительные часы. Мы с Мод поминутно бросали взгляды в сторону «Призрака». Но Волк Ларсен не появлялся. Он даже ни разу не вышел на палубу.

— Верно, у него опять приступ головной боли,— сказал я.— Когда я уходил оттуда, он лежал на юте. Он может пролежать так всю ночь. Пойду взгляну.

Она умоляюще посмотрела на меня.

— Не бойтесь ничего,— заверил я ее.— Я возьму с собой револьверы. Я ведь говорил вам, что забрал все оружие, какое только было на борту.

— А его руки! Его страшные, чудовищные руки! О Хэмфри,— воскликнула она,— я так боюсь его! Не ходите, пожалуйста, не ходите!

Она с мольбой положила свою руку на мою, и сердце у меня забилось. Думаю, что все мои чувства можно было в этот миг прочесть в моих глазах. Милая, любимая моя! Как чисто по-женски уговаривала она меня и льнула ко мне!.. Она была для меня солнечным лучом и живительной росой, источником, из которого я черпал мужество и силы. Неудержимое желание обнять ее,— как я уже сделал однажды посреди стада котиков,— охватило меня, но я сдержался.

— Я не буду рисковать,— сказал я.— Только загляну на палубу и посмотрю, что он там делает.

Она взволнованно сжала мою руку и отпустила меня.

Но на палубе, где я оставил Волка Ларсена, его не оказалось. Он, очевидно, спустился к себе в каюту. В эту ночь мы с Мод установили дежурство, так как нельзя было предвидеть, что может выкинуть Волк Ларсен. Он был способен на все.

Мы прождали день и другой, но Ларсен не показывался.

— Эти головные боли... припадки...— сказала Мод на четвертый день.— Быть может, он болен, тяжело болен. Быть может, умер.

Она ждала от меня ответа, но я молчал, и она добавила:

— Или умирает...

— Тем лучше,— сказал я.

— Но подумайте, Хэмфри. Ведь он тоже человек. И умирает совсем один.

— Очень возможно...— проворчал я.

— Да, возможно,— продолжала она.— Конечно, мы ничего не знаем наверное. Но если он действительно умирает, ужасно бросить его так. Я бы никогда этого не простила себе. Мы должны что-то сделать.

— Да, возможно,— повторил я.

Я ждал, улыбаясь про себя, и думал: как это по-женски — проявлять беспокойство даже о Волке Ларсене! Куда девалось ее беспокойство за меня! А ведь еще недавно она так испугалась, когда я хотел только заглянуть на палубу.

Мод разгадала смысл моего молчания — она была достаточно умна и чутка. А прямота ее равнялась ее уму.

— Вы должны подняться на борт, Хэмфри, и узнать, в чем там дело,— сказала она.— А если вам хочется посмеяться надо мной, что ж, вы имеете на это право. Я заранее прощаю вас.

Я послушно встал и направился к берегу.

— Только будьте осторожны! — крикнула она мне вслед.

Я помахал ей рукой с полубака и соскочил на палубу. Подойдя к трапу в кают-компанию, я окликнул Волка Ларсена. Он ответил мне. Когда он начал подниматься по трапу, я взвел курок револьвера, и все время, пока мы разговаривали, открыто держал револьвер в руке, но Ларсен не обращал на это никакого внимания. Внешне он не изменился за эти дни, но был мрачен и молчалив. Вряд ли можно назвать беседой те несколько слов, которыми мы обменялись. Я не спросил его, почему он не сходит на берег, и он не спросил, почему я не показывался на шхуне. Он сказал, что головная боль у него прошла, и я, не вступая в дальнейшие разговоры, ушел.

Мод выслушала мое сообщение и облегченно вздохнула, а когда над камбузом показался дымок, это, видимо, окончательно ее успокоило. Дымок вился над камбузом и последующие дни, а порой и сам Волк Ларсен ненадолго появлялся на юте. Но это было все. Он не делал попыток спуститься на берег,— нам это было известно, так как мы следили за ним и продолжали дежурить по ночам. Мы ждали, что он что-нибудь предпримет, откроет, так сказать, свою игру. Его бездействие сбивало нас с толку и вызывало тревогу.

Так прошла неделя. Все наши мысли были теперь сосредоточены на Волке Ларсене. Его присутствие угнетало нас и мешало нам заниматься нашими обычными делами.

Но к концу недели дымок перестал виться над кам-

бузом, и Волк Ларсен больше не появлялся на юте. Я видел, что Мод снова начинает беспокоиться, но из робости, а может быть, и из гордости, не повторяет своей просьбы. А в чем в сущности мог я упрекнуть ее? Она была женщиной и к тому же глубоко альтруистической натурой. Признаться, мне самому было как-то не по себе, когда я думал о том, что этот человек, которого я пытался убить, быть может умирает здесь, возле нас, брошенный всеми. Он оказался прав. Нравственные правила, привитые мне в моем кругу, были сильнее меня. То, что у него такие же руки и ноги, как у меня, и тело имеет некоторое сходство с моим, накладывало на меня обязательства, которыми я не мог пренебречь.

Поэтому я не стал ждать, когда Мод вторично пошлет меня на шхуну. У нас осталось мало сгущенного молока и джема, заявил я,— надо подняться на борт. Я видел, что Мод колеблется. Она даже пробормотала, что все это не так уж нам необходимо и мне незачем ходить туда. Однако подобно тому, как раньше она сумела разгадать, что таится за моим молчанием, так и теперь она сразу поняла истинный смысл моих слов, поняла, что я иду туда не за молоком и джемом, а ради нее,— иду, чтобы избавить ее от беспокойства, которое она не сумела от меня скрыть.

Поднявшись на судно, я снял башмаки и в одних носках бесшумно прокрался на корму. На этот раз я не стал окликать Волка Ларсена. Осторожно спустившись по трапу, я обнаружил, что в кают-компании никого нет. Дверь в каюту капитана была закрыта. Я уже хотел было постучать, но передумал, решив сперва заняться тем, что якобы и привело меня сюда. Стараясь поменьше шуметь, я поднял крышку люка и отставил ее в сторону. Товары судовой лавки находились в той же кладовой, и мне захотелось заодно запастись и бельем.

Когда я выбрался из кладовой, в каюте Волка Ларсена раздался шум. Я замер и прислушался. Звякнула дверная ручка. Я инстинктивно отпрянул в сторону. Притаившись за столом, я выхватил револьвер и взвел курок. Дверь распахнулась, и показался Волк Ларсен. Никогда не видел я такого отчаяния, какое было написано на его лице — на лице сильного, неукротимого

Волка Ларсена. Он стонал, как женщина, и потрясал сжатыми кулаками над головой. Потом провел ладонью по глазам, словно сметая с них невидимую паутину.

— Господи, господи! — снова хрипло простонал он и в беспредельном отчаянии потряс кулаками над головой.

Это было страшно. Я задрожал, по спине у меня пробежали мурашки, и холодный пот выступил на лбу. Вряд ли есть на свете зрелище, более ужасное, чем вид сильного человека в минуту крайней слабости и упадка духа.

Но огромным усилием воли Волк Ларсен взял себя в руки. Поистине это стоило ему колоссального усилия. Все тело его сотрясалось от напряжения. Казалось, его вот-вот хватит удар. Лицо его страшно исказилось — видно было, как он старается овладеть собой. Потом силы снова оставили его. Снова сжатые кулаки поднялись над головой, он застонал, судорожно вздохнул раз, другой, и из груди его вырвались рыдания. Наконец ему удалось овладеть собой. Я опять увидел прежнего Волка Ларсена, хотя какая-то слабость и нерешительность все еще проскальзывали в его движениях. Энергично, как всегда, он шагнул к трапу, но все же в его походке чувствовалась эта слабость и нерешительность.

Признаться, тут уж я испугался — незакрытый люк находился как раз на его пути и выдавал мое присутствие. Но вместе с тем мне стало досадно, что он может поймать меня в такой трусливой позе — скорчившимся позади стола,— и я решил, пока не поздно, появиться перед ним, что тут же и сделал, бессознательно приняв вызывающую позу. Но Волк Ларсен не замечал ни меня, ни открытого люка. Прежде чем я успел понять, в чем дело, и что-либо предпринять, он уже занес ногу над люком и готов был ступить в пустоту. Однако, не ощутив под ногой твердой опоры, он мгновенно преобразился. Да, это был уже прежний Волк Ларсен. Вторая нога еще не успела оторваться от пола, как он одним могучим прыжком перенес свое начавшее падать тело через люк. Широко раскинув руки, он плашмя — грудью и животом — упал на пол по ту сторону люка и тут же, подтянув ноги, откатился в сторону, прямо

в сложенные мною около крышки люка продукты и белье.

Я увидел по его лицу, что он все понял. Но прежде, чем я успел что-нибудь сообразить, он уже надвинул на люк крышку. Тут, наконец, понял все и я. Он думал, что поймал меня в кладовой. Он был слеп — слеп, как летучая мышь! Я следил за ним, затаив дыхание, страшась, как бы он не услышал меня. Он быстро подошел к своей каюте. Я видел, что он не сразу нащупал дверную ручку. Надо было пользоваться случаем, и я быстро, на цыпочках, проскользнул через кают-компанию и поднялся по трапу. Ларсен вернулся, таща за собой тяжелый морской сундук, и надвинул его на крышку люка. Не удовольствовавшись этим, он приволок второй сундук и взгромоздил его на первый. Затем подобрал с пола мой джем и белье и положил на стол. Когда он направился к трапу, я отступил в сторону и тихонько перекатился через палубу рубки.

Ларсен остановился на трапе, опираясь руками о крышку люка. Он стоял неподвижно и пристально, не мигая, смотрел куда-то в одну точку. Я находился прямо перед ним, футах в пяти, не больше. Мне стало жутко. Я чувствовал себя каким-то призраком-невидимкой. Я помахал рукой, но не привлек его внимания. Однако, когда тень от моей руки упала на его лицо, я сразу заметил, что он это почувствовал. Лицо его напряглось; он явно пытался понять и проанализировать неожиданно возникшее ощущение. Он понимал, что это какое-то воздействие извне, какое-то изменение в окружающей среде, воспринятое его чувствами. Я замер с поднятой рукой; тень остановилась. Ларсен начал медленно поворачивать голову то в одну сторону, то в другую, наклонять и поднимать ее, заставляя тень двигаться по его лицу и проверяя свои ощущения.

Я следил за ним и был в свою очередь поглощен желанием выяснить, каким образом удается ему ощутить такую невесомую вещь, как тень. Если б у него были повреждены только глазные яблоки или если б его зрительные нервы были поражены не полностью, все объяснялось бы просто. Но он явно был слеп. Значит, он ощущал разницу в температуре, когда тень падала на его лицо. Или — почем знать? — это было пре-

словутое шестое чувство, сообщавшее ему о присутствии постороннего предмета?

Отказавшись, как видно, от попытки определить, откуда падает тень, он поднялся на палубу и пошел на бак поразительно уверенно и быстро. И все же было заметно, что идет слепой. Теперь-то я это ясно видел.

Он нашел на палубе мои башмаки и унес их с собой в камбуз; мне было и смешно и досадно. Я еще остался посмотреть, как он разводит огонь и варит себе пищу. Потом снова прокрался в кают-компанию, забрал джем и белье, проскользнул мимо камбуза, спустился на берег и босиком отправился к Мод — дать отчет о своей вылазке.

Глава тридцать четвертая

— Какое несчастье, что «Призрак» потерял мачты. А то мы могли бы уплыть на нем отсюда. Как вы думаете, Хэмфри?

Я взволнованно вскочил на ноги.

— Надо подумать, надо подумать! — вскричал я и зашагал взад и вперед.

Глаза Мод расширились, она с надеждой следила за мной. Она так верила в меня! Мысль об этом придавала мне силы. Я вспомнил слова Мишле: «Для мужчины женщина то же, чем была земля для своего легендарного сына: стоило ему пасть ниц и прикоснуться губами к ее груди, как силы возвращались к нему». Только теперь по-настоящему понял я глубокий смысл этих слов. Нет, мало сказать «понял» — я ощутил это всем своим существом! Мод для меня была тем, о чем говорил Мишле: неисчерпаемым источником силы и мужества. Взглянуть на нее, подумать о ней было для меня достаточно, чтобы почувствовать новый прилив сил.

— Надо попытаться, надо попытаться,— рассуждал я вслух.— То, что делали другие, могу сделать и я. А если даже никто этого раньше не делал, все равно я сделаю.

— Что именно? Ради бога, не томите меня,— требовала объяснения Мод.— Что вы можете сделать?

— Не я, а мы,— поправился я.— Как что? Ясно — установить на «Призраке» мачты и уплыть отсюда.

— Хемфри! — воскликнула она.

Я был так горд своим замыслом, словно уже привел его в исполнение.

— Но как же это осуществить? — спросила она.

— Пока не знаю,— отвечал я.— Знаю только одно — я сейчас способен совершить все, что захочу.

Я горделиво улыбнулся ей, чрезмерно горделиво, должно быть, потому что она опустила глаза и некоторое время молчала.

— Но вы забываете, что существует еще капитан Ларсен,— сказала она.

— Слепой и беспомощный! — не задумываясь, отвечал я, отметая его в сторону, как нечто совсем не существенное.

— А его страшные руки! А как он прыгнул через люк — вы же сами рассказывали!

— Но я рассказывал еще и о том, как мне удалось выбраться из кают-компании и удрать от него,— весело возразил я.

— Босиком, без башмаков!

— Ну да, башмакам не удалось удрать от него без помощи моих ног!

Мы рассмеялись, а потом стали уже всерьез обсуждать план установки мачт на «Призраке» и возвращения в цивилизованный мир. У меня еще со школьной скамьи сохранились кое-какие, правда довольно смутные, познания по части физики, а за последние месяцы я приобрел некоторый практический опыт в использовании механических приспособлений для подъема тяжестей. Однако когда мы подошли к «Призраку», чтобы основательно осмотреть его, то один вид этих огромных мачт, покачивавшихся на волнах, признаюсь, чуть не поверг меня в отчаяние. С чего начать? Если бы держалась хоть одна мачта, чтобы мы могли прикрепить к ней блоки! Так ведь нет! У меня было такое ощущение, словно я задумал поднять сам себя за волосы. Я понимал законы рычагов, но где же было взять точку опоры?

Грот-мачта была длиной футов в шестьдесят — шестьдесят пять и у основания, там, где она обломи-

лась, имела пятнадцать дюймов в диаметре. Весила она, по моим примерным подсчетам, никак не менее трех тысяч фунтов. Фок-мачта была еще толще и весила верных три с половиной тысячи фунтов. Как же подступиться к этому делу?

Мод безмолвно стояла возле меня, а я уже разрабатывал в уме приспособление, которое моряки называют «временной стрелой». Но, хотя стрела давно известна морякам, я изобрел ее заново на Острове Усилий. Связав концы двух стеньг, подняв и укрепив их на палубе наподобие перевернутой буквы «V» и привязав к ним блок, я мог получить необходимую мне точку опоры. А к первому блоку можно будет, если потребуется, присоединить и второй. Кроме того, в нашем распоряжении был еще брашпиль!

Мод видела, что я уже нашел решение, и с горячим одобрением взглянула на меня.

— Что вы собираетесь делать? — спросила она.

— Обрубать снасти! — отвечал я, указывая на перепутавшиеся снасти, висевшие за бортом.

Мне самому понравились эти слова — такие звучные и решительные. «Обрубать снасти!» Ну кто бы мог еще полгода назад услышать такую подлинно матросскую фразу из уст Хэмфри Ван-Вейдена!

Вероятно, и в голосе моем и в позе было нечто мелодраматическое, так как Мод улыбнулась. Она мгновенно подмечала все нелепое и смешное, безошибочно улавливала малейший оттенок фальши, преувеличения или бахвальства. Это находило отражение и в ее творчестве и придавало ему особую ценность. Серьезный критик, обладающий чувством юмора и силой выражения, всегда заставит себя слушать. И она умела это делать. Ее способность подмечать смешное была не чем иным, как свойственным всякому художнику чувством меры.

— Я припоминаю это выражение, оно попадалось мне в книгах,— с улыбкой обронила она.

Но чувство меры достаточно развито и у меня, и я сконфузился. У горделивого повелителя стихий вид в эту минуту был, вероятно, самый жалкий.

Мод с живостью протянула мне руку.

— Не обижайтесь! — сказала она.

— Нет, вы правы,— не без усилия отвечал я.— Это хороший урок. Слишком много во мне мальчишеского. Но это все пустяки. А только нам придется все же обрубать снасти. Если вы сядете вместе со мной в шлюпку, мы подойдем к шхуне и попытаемся распутать этот клубок.

— «В зубы нож — и марсовые лезут снасти обрубать»,— процитировала Мод, и до конца дня мы весело трудились.

Ее задача заключалась в том, чтобы удерживать шлюпку на месте, пока я возился с перепутавшимися снастями. И что там творилось! Фалы, ванты, шкоты, ниралы, леера, штаги — все это полоскалось в воде, и волны все больше и больше переплетали и перепутывали их. Я старался обрубать не больше, чем было необходимо, и мне приходилось то протаскивать длинные концы между гиками и мачтами, то отвязывать фалы и ванты и укладывать их бухтой на дне лодки, то, наоборот, разматывать их, чтобы пропустить сквозь обнаружившийся узел. От этой работы я скоро промок до нитки.

Паруса тоже пришлось кое-где разрезать; я с великим трудом справлялся с тяжелой намокшей парусиной, но все же до наступления ночи сумел вытащить все паруса из воды и разложить их на берегу для просушки. Когда пришло время кончать работу и идти ужинать, мы с Мод уже совершенно выбились из сил, но успели сделать немало, хотя с виду это и не было заметно.

На следующее утро мы спустились в трюм шхуны, чтобы очистить степсы от шпоров мачт. Мод очень ловко принялась помогать мне. Но лишь только взялись мы за дело, как на стук моего топора отозвался Волк Ларсен.

— Эй там, в трюме! — долетело к нам с палубы через открытый люк.

При звуке этого голоса Мод инстинктивно придвинулась ко мне, как бы ища защиты, и пока мы с Ларсеном переговаривались, она стояла рядом, держа меня за руку.

— Эй там, на палубе! — крикнул я в ответ.— Доброе утро!

— Что вы делаете в трюме? — спросил Волк Ларсен.— Хотите затопить мою шхуну?

— Напротив, хочу привести ее в порядок,— отвечал я.

— Какого дьявола вы там приводите в порядок? — озадаченно спросил он.

— Подготавливаю кое-что для установки мачт,— отвечал я как ни в чем не бывало, словно поставить мачты было для меня сущим пустяком.

— Похоже, что вы и впрямь твердо стали на ноги, Хэмп! — услышали мы его голос, после чего он некоторое время молчал.

— Но послушайте, Хэмп,— окликнул он меня снова.— Вы не можете этого сделать.

— Почему же не могу? — возразил я.— Не только могу, но уже делаю.

— Но это моя шхуна, моя частная собственность. Что, если я не разрешу вам?

— Вы забываете,— отвечал я,— что вы теперь уже не самый большой кусок закваски. Это было раньше, тогда вы могли, по вашему выражению, сожрать меня. Но за последнее время вы сократились в размерах, и сейчас я могу сожрать вас. Закваска перестоялась.

Он рассмеялся резким, неприятным смехом.

— Ловко вы обратили против меня мою философию! Но смотрите, не ошибитесь, недооценив меня. Предупреждаю вас для вашего же блага!

— С каких это пор вы стали филантропом? — осведомился я.— Согласитесь, что, предупреждая меня для моего же блага, вы проявляете непоследовательность.

Он будто и не заметил моего сарказма и сказал:

— А если я возьму да захлопну люк? Сейчас вы уж меня не проведете, как в тот раз, в кладовой.

— Волк Ларсен,— решительно сказал я, впервые называя его так, как привык называть за глаза.— Я не способен застрелить человека, если он беспомощен и не оказывает сопротивления. Вы сами убедили меня в этом — к нашему взаимному удовлетворению. Но предупреждаю вас, и не столько для вашего блага, сколько для своего собственного, что при первой вашей попытке чем-нибудь повредить мне, я застрелю вас. Я и сейчас могу сделать это. А теперь, если вам так хочется, можете попробовать закрыть люк.

— Так или иначе, я запрещаю вам, решительно запрещаю хозяйничать на моей шхуне!

— Да что с вами! — укорил я его.— Вы все твердите, что это ваш корабль,— так, словно это дает вам какие-то моральные права. Однако вы никогда не считались с правами других. Почему же вы думаете, что я буду считаться с вашими?

Я подошел к люку, чтобы увидеть его лицо. Это было совсем не то лицо, которое я видел в последний раз, когда втайне наблюдал за ним,— сейчас оно было лишено всякого выражения, и вызываемое им неприятное ощущение еще усиливалось устремленным в одну точку взглядом широко открытых немигающих глаз.

— И даже самый жалкий червяк, даже Хэмп, может смотреть на него с презрением!..— насмешливо произнес он, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Как поживаете, мисс Брустер? — помолчав, неожиданно проговорил он.

Я вздрогнул. Мод не издала ни звука, даже не шевельнулась. Неужели у него еще сохранились остатки зрения? Или оно снова возвращалось к нему?

— Здравствуйте, капитан Ларсен,— отвечала Мод.— Как вы узнали, что я здесь?

— Услышал ваше дыхание. А Хэмп делает успехи, как вы считаете?

— Не могу судить,— отвечала она, улыбнувшись мне.— Я никогда не знала его другим.

— Жаль, что вы не видали его раньше!

— Я принимал лекарство под названием «Волк Ларсен», и в довольно больших дозах,— пробормотал я.— До и после еды.

— Я еще раз повторяю, Хэмп,— угрожающе проговорил он,— оставьте мою шхуну в покое!

— Да разве вам самому не хочется выбраться отсюда? — удивленно спросил я.

— Нет,— отвечал он,— я хочу умереть здесь.

— Ну, а мы не хотим! — решительно заявил я и снова застучал топором.

Глава тридцать пятая

На другой день, расчистив степсы и подготовив все необходимое, мы принялись втаскивать на борт обе стеньги, из которых я намеревался соорудить временную стрелу. Грот-стеньга имела в длину более тридцати футов, фор-стеньга была немного короче. Задача предстояла нелегкая. Взяв ходовой конец тяжелых талей на брашпиль, а другим концом прикрепив их к основанию грот-стеньги, я начал вращать рукоятку брашпиля. Мод следила за тем, чтобы трос ровно ложился на барабан, а сходящий конец укладывала в бухту.

Нас поразило, с какой легкостью пошла вверх стеньга. Брашпиль был усовершенствованной системы и давал огромный выигрыш в силе. Но, разумеется, выигрывая в силе, мы теряли в расстоянии. Во сколько раз брашпиль увеличивал мои силы, во столько же раз увеличивалась и длина троса, который я должен был выбрать. Тали медленно ползли через борт, и чем выше поднималась из воды стеньга, тем труднее становилось вертеть рукоятку.

Но когда шпор стеньги поравнялся с планширом, дело застопорилось.

— Как я об этом не подумал! — вырвалось у меня.— Теперь придется начинать все сызнова.

— А почему не прикрепить тали поближе к середине стеньги? — спросила Мод.

— С этого мне и следовало начать! — отвечал я, крайне недовольный собой.

Потравив тали, я спустил стеньгу обратно. Потом прикрепил тали примерно на расстоянии трети ее длины от шпора. Проработав час, с небольшими перерывами на отдых, я снова поднял стеньгу, но она опять застряла на полдороге. Шпор стеньги на восемь футов торчал над планширом, но вытащить ее всю на борт по-прежнему было невозможно. Я сел и стал размышлять над этой задачей. Впрочем, довольно скоро я с торжествующим видом вскочил на ноги.

— Знаю теперь, что делать! — воскликнул я.— Надо было прикрепить тали у центра тяжести. Ну, ничего! Это послужит нам наукой, когда мы будем поднимать на борт все остальное.

Снова пришлось спустить стеньгу в воду и начать

все сначала. Но на этот раз я неправильно рассчитал положение центра тяжести, и когда стал тянуть наверх, вместо шпора стеньги пошла ее верхушка. Мод была в отчаянии, но я засмеялся и сказал, что сойдет и так.

Показав ей, как держать рукоятку и как, по команде, потравить тали, я ухватился обеими руками за стеньгу и попытался перевалить ее через борт. Мне показалось, что цель уже достигнута, и я велел Мод травить, но тут стеньга вдруг перевесилась и — как ни старался я ее удержать — свалилась за борт. Тогда я снова взялся за рукоятку и вернул стеньгу в прежнее положение. У меня появилась новая мысль. Я вспомнил о хват-талях, небольшом подъемном приспособлении с двушкивным и одношкивным блоками.

В ту минуту, когда я уже наладил хват-тали, на палубе у противоположного борта появился Волк Ларсен. Мы поздоровались и больше не обменялись ни словом. Он не мог видеть, что мы делаем, но, усевшись в стороне, на слух следил за ходом работы.

Еще раз напомнив Мод, чтобы она потравила трос брашпилем, как только я подам команду, я взялся за хват-тали и принялся тянуть. Стеньга начала медленно наклоняться и скоро легла, покачиваясь, поперек планшира. И тут, к своему удивлению, я обнаружил, что травить незачем,— в сущности требовалось совершенно обратное. Закрепив хват-тали, я перешел к брашпилю и начал вытягивать стеньгу дюйм за дюймом, пока она вся не перевалилась через планшир и не упала на палубу.

Я посмотрел на часы. Был уже полдень.

У меня ломило спину, и я чувствовал себя смертельно усталым и голодным. И за целое утро нам удалось поднять на палубу одну только стеньгу.

Только тут я по-настоящему понял, как огромна предстоявшая нам работа. Зато я уже кое-чему научился. После обеда дело будет лучше спориться, решил я. И не ошибся.

В час дня, отдохнув и основательно подкрепившись, мы вернулись на шхуну. Меньше чем через час грот-стеньга уже лежала на палубе, и я взялся за сооружение стрелы. Связав верхушки обеих стеньг так, что более длинная выступала несколько дальше, я прикрепил

в месте соединения двушкивный блок гафель-гарделя. В сочетании с одношкивным блоком и самим гафель-гарделем это дало мне подъемные тали. Чтобы шпоры стрелы не разъехались в стороны, я прибил к палубе толстые планки. Когда все было готово, я привязал к верхушке стрелы трос и взял его на брашпиль. Я все больше и больше проникался верой в этот брашпиль — ведь благодаря ему мои силы неизмеримо возрастали. Как уже повелось, Мод следила за тросом, а я вертел рукоятку. Стрела поднялась.

Но тут я обнаружил, что забыл закрепить стрелу оттяжками. Пришлось взбираться на верхушку стрелы, что я и проделал дважды. Наконец оттяжки были прикреплены и стрела расчалена к носу, к корме и к бортам. Начинало смеркаться. Волк Ларсен, который все время сидел в отдалении и в полном молчании прислушивался к нашей работе, ушел в камбуз и занялся приготовлением ужина. У меня так разломило поясницу, что я не мог ни согнуться, ни разогнуться, но зато с гордостью смотрел на дело своих рук. Результаты были налицо. Как ребенок, получивший новую игрушку, я сгорал от нетерпения — мне до смерти хотелось поднять что-нибудь своей стрелой.

— Жа́ль, что темнеет,— сказал я.— Уж очень хочется поглядеть, как она будет действовать.

— Не будьте таким ненасытным, Хэмфри!— пожурила меня Мод.— Не забудьте, завтра опять предстоит работа. А ведь вы еле стоите на ногах.

— А вы? — с участием поспешил спросить я.— Вы, должно быть страшно устали, Мод! Как вы работали! Это же поистине геройство. Я горжусь вами.

— А я вами и подавно. И с бо́льшим основанием,— отвечала она и посмотрела мне прямо в глаза. Сердце у меня сладко защемило — ее глаза так ласково лучились, и я уловил в них какое-то новое выражение. Я не понял его, но необъяснимый восторг охватил меня. Мод опустила глаза. А когда она снова подняла их — они смеялись.

— Если б только наши знакомые могли видеть нас сейчас! — сказала она.— Посмотрите, на что мы стали похожи! Вы когда-нибудь задумывались над этим?

— О да, и не раз, я же вижу вас перед собой,— отвечал я, думая о том, что́ мог означать этот огонек в ее

глазах и почему она так внезапно перевела разговор на другую тему.

— Помилуйте! — воскликнула она.— На что ж я похожа?

— Боюсь, что на огородное пугало,— отвечал я.— Посмотрите только на свою юбку: подол в грязи, повсюду дыры! А блузка-то вся в пятнах! Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы сказать, что вы готовили пищу над костром и вытапливали котиковый жир. А головной убор один чего стоит! И это та самая женщина, которая написала «Вынужденный поцелуй»!

Она сделала мне глубокий, церемонный реверанс и начала в свою очередь:

— Что касается вас, сэр...

Минут пять мы поддразнивали друг друга, но под этими шутками чувствовалось что-то другое, серьезное, и я невольно связывал это с новым выражением, промелькнувшим в глазах Мод. Что это было? Неужели наши глаза говорили помимо воли? Я знал, что мои глаза уже выдавали меня не раз, хотя я и приказывал им молчать. Неужели Мод все же прочла в них призыв? И неужели ее глаза отозвались на него? Что значил этот теплый мерцающий огонек и то неуловимое, что я почувствовал в них и что нельзя определить словами? Но нет, это было невозможно, этого не могло быть! Я ведь не был искушен в толковании красноречивых взглядов, я — Хэмфри Ван-Вейден, книгочий и затворник, влюбившийся нежданно-негаданно. И для меня любить и ждать, стараться заслужить любовь было уже блаженством.

Мы сошли на берег, продолжая подшучивать друг над другом, а я все думал свою думу, пока очередные дела не отвлекли меня.

— Какая, право, досада! Работаешь целый день не покладая рук, а потом нельзя даже спокойно поспать ночью! — посетовал я после ужина.

— Но ведь он же слеп. Какая опасность может нам грозить?

— Я боюсь его и не верю ему. А теперь, когда он ослеп,— и подавно. Беспомощность только сильнее озлобляет его. Впрочем, я знаю, что надо делать. Завтра с утра завезу небольшой якорь и стяну шхуну с берега. Вечером мы будем возвращаться на шлюпке домой,

а мистера Ларсена оставлять пленником на шхуне. Сегодня уж отдежурим еще одну ночь, в последний раз всегда как-то легче.

Наутро мы поднялись спозаранок, и когда рассвело, наш завтрак уж подходил к концу.

— Ой, Хэмфри! — с отчаянием воскликнула вдруг Мод.

Я взглянул на нее. Она смотрела на «Призрак». Поглядев туда же, я не заметил ничего необычного. Мод перевела глаза на меня, и я ответил ей недоумевающим взглядом.

— Стрела!..— дрожащим голосом проговорила Мод.

О стреле-то я и позабыл! Я взглянул снова — и не увидел ее на прежнем месте.

— Если только он...— свирепо пробормотал я.

Она успокаивающе коснулась моей руки.

— Вам придется начать сызнова.

— О, не беспокойтесь, я, конечно, бешусь понапрасну! Я ведь и мухи не обижу,— с горечью улыбнулся я.— И хуже всего то, что он это знает. Вы правы: если он уничтожил стрелу, я ничего ему не сделаю и начну все сызнова.

— Но теперь уж я буду дежурить на шхуне,— вырвалось у меня минуту спустя,— и если только он еще раз попытается что-нибудь сделать...

— Но я боюсь оставаться одна ночью на берегу! — очнувшись от своих безрадостных мыслей, услышал я голос Мод.— Если б можно было уговорить его помочь нам... Мы могли бы тогда тоже жить на шхуне — ведь это куда удобнее.

— Так оно и будет,— довольно свирепо заявил я, вне себя от того, что моя драгоценная стрела уничтожена.— Я хочу сказать, что мы с вами будем жить на шхуне, а понравится это Ларсену или нет, мне все равно.

Успокоившись, я рассмеялся:

— Ведь это же сущее ребячество с его стороны. И глупо, конечно, что я злюсь.

Но, когда мы взобрались на борт шхуны и увидели учиненный Волком Ларсеном разгром, сердце у меня заныло. Стрела исчезла бесследно. Правая и левая оттяжки были перерублены, гафель-гардели разрезаны на куски. Ларсен знал, что я не умею сплеснивать концы.

Недоброе предчувствие охватило меня. Я бросился к брашпилю. Да, он был выведен из строя. Волк Ларсен сломал его. Мы с Мод обменялись унылым взглядом. Потом я подбежал к борту. Освобожденные мною от обрывков снастей мачты, гики и гафели исчезли. Ларсен нащупал удерживавшие их тросы и отвязал их, чтобы течение унесло весь рангоут в море.

Слезы стояли на глазах у Мод, и я понял, что она плачет от огорчения за меня. Я и сам готов был заплакать. Прощай, мечта об оснащении «Призрака»! Волк Ларсен потрудился на славу! Я сел на комингс люка и, подперев голову руками, предался черной меланхолии.

— Он заслуживает смерти! — воскликнул я.— Но, да простит мне бог, у меня не хватит мужества стать его палачом!

Мод подошла ко мне и, погладив меня по голове, словно ребенка, сказала:

— Успокойтесь, успокойтесь! Все будет хорошо. Мы взялись за правое дело и своего добьемся.

Я вспомнил Мишле и прижался к Мод головой. И в самом деле, через минуту силы вернулись ко мне. Эта женщина была для меня неиссякаемым источником силы. В конце концов стоит ли придавать значение тому, что произошло? Простая задержка, отсрочка. Отлив не мог унести мачты далеко, а ветра не было. Придется только еще повозиться, чтобы найти их и отбуксировать обратно. Но это было для нас уроком. Теперь я знал, чего ожидать от Волка Ларсена. А ведь он мог нанести нам еще больший урон, уничтожив нашу работу, когда она была бы ближе к концу.

— Вон он идет! — шепнула мне Мод.

Я поднял голову. Волк Ларсен медленно шел по юту вдоль левого борта.

— Не обращайте на него внимания! — шепнул я.— Он вышел посмотреть, как все это на нас подействовало. Делайте вид, будто ничего не произошло. Откажем ему хоть в этом удовольствии! Снимите туфли и возьмите их в руки.

И вот у нас началась игра в жмурки со слепым. Когда он пошел к нам вдоль левого борта, мы проскользнули у правого и стали наблюдать за ним с юта: он повернул и пошел следом за нами на корму.

Но он все же обнаружил наше присутствие, потому что уверено произнес: «Доброе утро!» и стал ждать ответа. Затем он направился на корму, а мы перебрались на нос.

— Да ведь я же знаю, что вы на борту! — крикнул он, и я видел, как он напряженно прислушивается.

Он напоминал мне огромного филина, который, испустив свой зловещий крик, слушает, не зашевелится ли вспугнутая добыча. Но мы не шевелились и двигались только тогда, когда двигался он. Так мы и бегали по палубе, взявшись за руки,— словно двое детей, за которыми гонится великан-людоед,— пока Волк Ларсен, явно раздосадованный, не скрылся у себя в каюте. Мы давились со смеху и весело переглядывались, обуваясь и перелезая через борт в шлюпку. И, глядя в ясные карие глаза Мод, я забыл все причиненное нам зло и знал одно — что я люблю ее и что с ней найду в себе силы пробиться обратно в мир.

Глава тридцать шестая

Два дня мы с Мод бороздили на шлюпке море, объезжая остров в поисках пропавшего рангоута. Только на третий день мы нашли его — весь целиком и даже нашу стрелу. Но, увы, в самом опасном месте — там, где волны с бешеным ревом разбивались о суровый юго-западный мыс. И как же мы работали! Уже смеркалось, когда мы, совершенно обессиленные, причалили к нашей бухточке, таща на буксире грот-мачту. Стоял мертвый штиль, и нам пришлось грести весь долгий путь.

Еще день изнурительной и опасной работы — и к грот-мачте прибавились обе стеньги. На третий день я, доведенный до отчаяния такой проволочкой, связал вместе фокмачту, оба гика и оба гафеля наподобие плота. Ветер был попутный, и я надеялся отбуксировать груз под парусом. Но вскоре ветер повернул, а затем и вовсе стих, и мы шли на веслах со скоростью черепахи. Поневоле можно было пасть духом: я что было мочи налегал на весла, но шлюпка почти не двигалась с места из-за тяжелого груза за кормой.

Спускалась ночь, и, в довершение всех бед, подул ветер с берега. Мы уже не только не продвигались

вперед, но нас стало сносить в открытое море. Я греб из последних сил, пока не выдохся. Бедняжка Мод, которая тоже выбивалась из сил, стараясь мне помочь и не слушая моих уговоров, в изнеможении прилегла на корму. Я больше не мог грести. Натруженные, распухшие руки уже не держали весла. Плечи ломило, и хотя в полдень я основательно поел, после такой работы у меня голова кружилась от голода.

Я убрал весла и нагнулся над буксирным тросом. Но Мод схватила меня за руку.

— Что вы хотите делать? — спросила она с тревогой.

— Отдать буксир,— отвечал я, отвязывая трос.

Ее пальцы сжали мою руку.

— Нет, нет, не надо! — воскликнула она.

— Да ведь мы все равно ничего не можем сделать! — отвечал я.— Уже ночь, и нас относит от берега.

— Но подумайте, Хэмфри! Если мы не уплывем на «Призраке», нам на долгие годы, быть может на всю жизнь, придется остаться на этом острове. Раз его до сих пор не открыли, значит, может быть, никогда и не откроют.

— Вы забыли о лодке, которую мы нашли на берегу,— напомнил я.

— Это промысловая шлюпка,— отвечала она,— и вы, конечно, понимаете, Хэмфри, что если бы люди с нее спаслись, они вернулись бы, чтобы составить себе состояние на этом лежбище. Они погибли, вы сами это знаете.

Я молчал, все еще колеблясь.

— А кроме того,— запинаясь, добавила она,— это был ваш план, и я хочу, чтобы вам удалось его осуществить.

Это придало мне решимости. То, что она сказала, было очень лестно для меня, но из великодушия я все еще упрямился.

— Лучше уж прожить несколько лет на этом острове, чем погибнуть в океане этой ночью или завтра,— сказал я.— Мы не подготовлены к плаванию в открытом море. У нас нет ни пищи, ни воды, ни одеял — ничего! Да вы и одной ночи не выдержите без одеяла. Я знаю ваши силы. Вы и так уже дрожите.

— Это нервы,— отвечала она.— Я боюсь, что вы не послушаетесь меня и отвяжете мачты.

— О, пожалуйста, прошу вас, Хэмфри, не надо! — взмолилась она через минуту.

Это решило дело. Она знала, какую власть имеют надо мной эти слова. Мы мучительно дрогли всю ночь. Порой я начинал дремать, но холод был так жесток, что я тут же просыпался. Как Мод могла это вынести, было выше моего понимания. Я так устал, что у меня уже не хватало сил двигаться, чтобы хоть немного согреться, но все же время от времени я растирал Мод руки и ноги, стараясь восстановить в них кровообращение. Под утро у нее начались судороги от холода. Я снова принялся растирать ей руки и ноги; судороги прошли, но я увидел, что она совсем окоченела. Я испугался. Посадив ее на весла, я заставил ее грести, но она так ослабела, что после каждого взмаха веслами едва не теряла сознания.

Забрезжило, и в предрассветной дымке мы долго искали глазами наш остров. Наконец, мы увидели его — крошечное темное пятнышко, милях в пятнадцати от нас, на самом горизонте. Я осмотрел море в бинокль. Вдали, на юго-западе, я заметил на воде темную полосу; она явно придвигалась к нам.

— Попутный ветер! — закричал я хрипло, и мой голос показался мне чужим.

Мод хотела что-то сказать и не смогла вымолвить ни слова. Губы ее посинели от холода, глаза ввалились, но как мужественно смотрели на меня эти ясные карие глаза! Как жалобно и все же мужественно!

Снова принялся я растирать ей руки, поднимать и опускать их, пока она не почувствовала, что может двигать ими. Потом я заставил ее встать и сделать несколько шагов между средней банкой и кормой, хотя она, верно, упала бы, если бы я не поддерживал ее. Я заставил ее даже попрыгать.

— Ах вы, храбрая маленькая женщина! — сказал я, увидев, что лицо ее снова оживает.— Знаете ли вы, какая вы храбрая?

— Никогда я не была храброй,— отвечала она,— пока не узнала вас. Это вы сделали меня храброй!

— Ну, и я не был храбр, пока не узнал вас,— сказал я.

Она бросила на меня быстрый взгляд, и я снова уловил этот теплый трепетный огонек в ее глазах... и еще что-то. Но это длилось всего одно мгновение. Мод улыбнулась.

— Вас-то просто обстоятельства изменили,— сказала она.

Но я знал, что это не так, и, быть может, она сама понимала это.

Тут налетел ветер, попутный и свежий, и скоро шлюпка уже прокладывала себе дорогу по высокой волне прямо к острову.

После полудня мы миновали юго-западный мыс. Теперь уже не только голод мучил нас — мы изнемогали от жажды. Губы у нас пересохли и потрескались, и мы тщетно пытались смочить их языком. А затем ветер начал спадать и к ночи стих совсем. Я снова сел на весла. но едва мог грести. В два часа утра нос шлюпки врезался в прибрежный песок нашей маленькой бухточки, и я, шатаясь, выбрался на берег и привязал шлюпку. Мод не стояла на ногах от усталости. Я хотел понести ее, но у меня не хватило сил. Я упал вместе с нею на песок и, когда отдышался, взял ее подмышки и волоком потащил к хижине.

На следующий день мы не работали. Мы проспали до трех часов дня, по крайней мере я. Когда я проснулся, Мод уже стряпала обед. Ее способность быстро восстанавливать силы была поразительна. Это хрупкое, как стебелек цветка, тело обладало изумительной выносливостью. Как ни мало было у нее сил, она цепко держалась за жизнь.

— Вы ведь знаете, что я предприняла путешествие в Японию для укрепления здоровья,— сказала она, когда мы, пообедав, сидели у костра, наслаждаясь покоем.— Я никогда не отличалась крепким здоровьем. Врачи рекомендовали мне путешествие по морю, ну я и выбрала самое продолжительное.

— Не знали вы, что выбирали! — рассмеялся я.

— Что ж, это очень изменило меня, и, надеюсь,— к лучшему,— заметила она.— Я теперь стала крепче, сильнее. И во всяком случае больше знаю жизнь.

Короткий осенний день быстро шел на убыль. Мы разговорились о страшной, необъяснимой слепоте, поразившей Волка Ларсена. Я сказал, что, видимо, дело его

плохо, если он заявил, что хочет остаться и умереть на Острове Усилий. Когда такой сильный, так любящий жизнь человек готовится к смерти, ясно, что тут кроется нечто большее, чем слепота. А эти ужасные головные боли! Потолковав, мы решили, что он, очевидно, страдает какой-то болезнью мозговых сосудов и во время приступов испытает нечеловеческую боль.

Я заметил, что, чем больше говорили мы о тяжелом состоянии Волка Ларсена, тем сильнее прорывалось у Мод сострадание к нему, но это было так трогательно и так по-женски, что лишь сильнее привлекало меня к ней. К тому же всякая фальшивая сентиментальность была ей совершенно чужда. Мод вполне соглашалась со мной, что нам необходимо применить к Волку Ларсену самые суровые меры, если мы хотим уплыть с этого острова, и только мысль о том, что я могу оказаться вынужденным лишить его жизни, чтобы спасти свою (она сказала «нашу») жизнь, пугала ее.

На следующий день мы позавтракали на рассвете и сразу же принялись за работу. В носовом трюме, где хранился судовой инвентарь, я нашел верп и ценой больших усилий вытащил его на палубу и спустил в шлюпку. Сложив бухтой на корме шлюпки длинный трос, я завез якорь подальше от берега и бросил его. Ветра не было, стоял высокий прилив, и шхуна была на плову. Отдав швартовы, я начал верповать вручную, так как брашпиль был испорчен. Скоро шхуна подошла почти к самому верпу. Он, конечно, был слишком мал, чтобы удержать судно даже при легком бризе, поэтому я отдал большой якорь правого борта, дав побольше слабины. После обеда я взялся восстанавливать брашпиль.

Целых три дня провозился я с этим брашпилем, хотя любой механик, вероятно, исправил бы его за три часа. Но я в этом ровно ничего не смыслил, и мне приходилось овладевать знаниями, которые являются азбукой для специалиста; да к тому же я должен был еще учиться пользоваться инструментами. Однако к концу третьего дня брашпиль с грехом пополам начал действовать. Он работал далеко не так хорошо, как до поломки, но все же делал свое дело, а без него моя задача была бы невыполнима.

Полдня ушло у меня на то, чтобы поднять на борт обе стеньги, поставить стрелу и закрепить ее оттяжками, как и в первый раз. В эту ночь я улегся спать прямо на палубе около стрелы. Мод отказалась ночевать одна на берегу и устроилась в матросском кубрике. Днем Волк Ларсен опять сидел на палубе, прислушиваясь к тому, что мы делаем, и беседовал с нами на посторонние темы. Никто из нас ни словом не обмолвился о произведенных им разрушениях, и он больше не требовал, чтобы я оставил его шхуну в покое. Но я по-прежнему боялся его — слепого, беспомощного и все время настороженно прислушивающегося. Работая, я старался держаться подальше, чтобы он не мог вцепиться в меня своей мертвой хваткой.

В эту ночь, заснув возле нашей драгоценной стрелы, я очнулся от звука шагов. Была звездная ночь, и я увидал темную фигуру Волка Ларсена, движущуюся по палубе. Я вылез из-под одеяла и неслышно подкрался к нему. Вооружившись плотничьим скобелем, взятым из ящика с инструментами, он собирался перерезать им гафель-гардели, которыми я снова оснастил стрелу. Нащупав веревки, он убедился, что я оставил их ненатянутыми. Тут скобелем ничего нельзя было сделать, и он натянул гафель-градели и закрепил их. Он уже готов был перепилить их скобелем, когда я произнес негромко:

— На вашем месте я бы не стал этого делать.

Он услышал, как я взвел курок револьвера, и засмеялся.

— Хэлло, Хэмп! — сказал он.— Я ведь все время знал, что вы здесь. Моих ушей вы не обманете.

— Лжете, Волк Ларсен,— сказал я, не повышая голоса.— Но у меня руки чешутся пристрелить вас, так что делайте свое дело, режьте.

— У вас всегда есть эта возможность,— насмешливо сказал он.

— Делайте свое дело! — угрожающе повторил я.

— Предпочитаю доставить вам разочарование,— со смехом пробормотал он, повернулся на каблуках и ушел на корму.

Наутро я рассказал Мод об этом ночном происшествии, и она заявила:

— Что-то нужно предпринять, Хэмфри! Оставаясь на свободе, он может сделать все что угодно. Он спосо-

бен затопить шхуну, поджечь ее. Неизвестно, что́ он выкинет. Его нужно посадить под замок.

— Но как? — спросил я, беспомощно пожав плечами.— Подойти к нему близко я не решаюсь и в то же время не могу заставить себя выстрелить в него, пока его сопротивление остается пассивным. И он знает это.

— Должен же быть какой-то способ,— возразила Мод.— Дайте мне подумать.

— Способ есть,— мрачно заявил я.

Она с надеждой поглядела на меня.

Я поднял охотничью дубинку.

— Убить его она не убьет,— сказал я,— а прежде, чем он придет в себя, я успею связать его по рукам и ногам.— Но Мод с содроганием покачала головой.

— Нет, только не это! Нужно найти какой-нибудь менее зверский способ. Подождем еще.

Ждать нам пришлось недолго — дело решилось само собой. Утром после нескольких неудачных попыток я, наконец, определил центр тяжести фок-мачты и закрепил несколько выше его подъемные тали. Мод направляла трос на брашпиле и складывала в бухту сбегавший конец. Будь брашпиль в исправности, наша задача была бы несложной, а так мне приходилось со всей силой налегать на рукоятку, чтобы поднять мачту хотя бы на один дюйм. То и дело я присаживался отдохнуть. По правде говоря, я больше отдыхал, чем работал. Когда, невзирая на все мои усилия, рукоятка не поддавалась, Мод, держа конец одной рукой, ухитрялась еще помогать мне, налегая на рукоятку своим хрупким телом.

Через час оба блока сошлись у вершины стрелы. Дальше поднимать было некуда, а мачта все еще не перевалилась через борт. Основанием своим она легла на планшир левого борта, в то время как верхушка ее нависла над водой далеко за правым бортом. Стрела оказалась коротка, и вся моя работа свелась к нулю. Но я уже не приходил в отчаяние, как прежде. Я начинал обретать все бо́льшую веру в себя и в потенциальную силу брашпилей, стрел и подъемных талей. Способ поднять мачту, несомненно, существовал, и мне оставалось только найти его.

Пока я размышлял над этой задачей, на ют вышел Волк Ларсен.

Нам сразу бросилось в глаза, что с ним творится что-то неладное. Во всех его движениях еще сильнее чувствовалась какая-то нерешительность, расслабленность. Проходя вдоль рубки, он несколько раз споткнулся, а поравнявшись с краем юта, сильно пошатнулся, поднял руку уже знакомым мне жестом,— словно смахивая паутину с лица,— и вдруг загремел по ступенькам вниз. Широко расставив руки в поисках опоры, он, шатаясь, пошел по палубе и остановился, покачиваясь из стороны в сторону, у люка кубрика охотников. Потом ноги у него подкосились, и он рухнул на палубу.

— Припадок! — шепнул я Мод.

Она кивнула мне, и я снова прочел сострадание в ее взгляде.

Мы подошли к Волку Ларсену. Он, казалось, был без памяти и дышал судорожно, прерывисто. Мод сейчас же взялась за дело — приподняла ему голову, чтобы предотвратить прилив крови,и послала меня в каюту за подушкой. Я прихватил и одеяла, и мы постарались устроить больного поудобнее. Я нащупал его пульс. Он бился ровно — не часто и не слишком слабо, словом совершенно нормально. Это удивило меня и показалось мне подозрительным.

— А что, если он притворяется? — спросил я, не выпуская его руки.

Мод покачала головой и посмотрела на меня с упреком. И в ту же секунду рука Волка Ларсена выскользнула из-под моих пальцев и, словно стальными тисками, сдавила мое запястье. Я дико вскрикнул от неожиданности испуга. Злорадная гримаса исказила его лицо, и больше я уже ничего не видел,— другой рукой он обхватил меня и притянул к себе.

Он отпустил мое запястье, но при этом так сдавил меня, обхватив за спину, что я не мог шевельнуться. Свободной рукой он схватил меня за горло, и в это мгновение я испытал весь ужас и всю горечь ожидания смерти — смерти по собственной вине. Как я мог подойти так близко к его страшным ручищам? Вдруг я ощутил прикосновение других рук — Мод тщетно пыталась оторвать от моего горла душившую меня лапу. Поняв, что это бесполезно, она отчаянно закричала, и у меня похолодело сердце. Мне был знаком этот душераз-

дирающий вопль, полный ужаса и отчаяния. Так кричали женщины, когда шел ко дну «Мартинес».

Лицо мое было прижато к груди Волка Ларсена, и я ничего не мог видеть, но слышал, как Мод побежала куда-то по палубе. Все произошло с молниеносной быстротой, но мне показалось, что протекла вечность. Сознание мое еще не успело померкнуть, когда я услышал, что Мод бегом возвращается обратно, и в то же мгновение почувствовал, как тело Волка Ларсена подалось назад и обмякло. Дыхание с шумом вырывалось из его груди, на которую я налегал всей своей тяжестью. Раздался сдавленный стон; был ли то возглас бессилия, или его просто исторгло удушье — не знаю, но пальцы, вцепившиеся мне в горло, разжались. Я глотнул воздух. Пальцы дрогнули и снова сдавили мне горло. Но даже его чудовищная сила воли уже не могла преодолеть упадка сил. Воля сдавала. Ларсен терял сознание.

Шаги Мод звучали у меня над самым ухом. Пальцы Ларсена в последний раз стиснули мое горло и разжались совсем. Я откатился в сторону. Лежа на спине, я хватал воздух ртом и моргал от солнечного света, бившего мне прямо в лицо. Я отыскал глазами Мод; она была бледна, но внешне спокойна и смотрела на меня со смешанным выражением тревоги и облегчения. Я увидел у нее в руке тяжелую охотничью дубинку. Заметив мой взгляд, Мод выронила дубинку, словно она жгла ей руку, у меня же сердце исполнилось ликованием. Вот она — моя подруга, готовая биться вместе со мной и за меня, как бились бок о бок со своими мужчинами женщины каменного века! Условности, которым она подчинялась всю жизнь, были забыты, и голос инстинкта, не задушенный до конца изнеживающим влиянием цивилизации, властно заговорил в ней.

— Родная моя! — воскликнул я, с трудом поднимаясь на ноги.

В следующую секунду она была в моих объятиях и судорожно всхлипывала, припав к моему плечу. Прижимая ее к себе, я смотрел на ее пышные каштановые волосы; они сверкали на солнце, словно драгоценные камни, и затмевали в моих глазах все сокровища земных царей. Я нагнулся и нежно поцеловал их, так нежно, что она и не заметила.

Но я тут же заставил себя трезво взглянуть на вещи. Естественно, что Мод, как истая женщина, после пережитой опасности проливала слезы облегчения в объятиях своего защитника, чья жизнь в свою очередь была под угрозой. Будь я ей отцом или братом, положение ничуть бы не изменилось. К тому же сейчас было не время и не место для любовных признаний, и я хотел прежде заслужить право говорить ей о своей любви. Поэтому я только нежно поцеловал еще раз ее волосы, чувствуя, что она высвобождается из моих объятий.

— Вот теперь припадок непритворный,— сказал я.— После одного из таких припадков он и потерял зрение. Сегодня он сперва притворялся и, быть может, этим и вызвал приступ.

Мод уже начала поправлять ему подушку.

— Постойте,— сказал я.— Сейчас он беспомощен и таким должен оставаться и впредь. Теперь мы займем кают-компанию, а Волка Ларсена поместим в кубрике охотников.

Я взял его подмышки и потащил к трапу, а Мод по моей просьбе принесла веревку. Обвязав его веревкой под мышками, я спустил его по ступенькам в кубрик. У меня не хватало сил положить его на койку, но с помощью Мод мне удалось сперва приподнять верхнюю часть его туловища, а потом я закинул на койку и его ноги.

Но этим нельзя было ограничиться. Я вспомнил, что у Волка Ларсена в каюте хранятся наручники, которыми он пользовался вместо старинных тяжелых судовых кандалов, когда ему нужно было заковать провинившегося матроса. Мы разыскали эти наручники и сковали Ларсена по рукам и ногам. После этого, впервые за много дней, я вздохнул свободно. Выйдя на палубу, я испытал чувство необычайного облегчения — у меня словно гора с плеч свалилась. Я чувствовал также, что все пережитое нами нынче еще больше сблизило меня с Мод, и, направляясь вместе с ней к стреле, на которой теперь уже висела фок-мачта, мысленно спрашивал себя, ощущает ли Мод эту близость так, как я.

Глава тридцать седьмая

Мы тут же перебрались на шхуну и заняли свои прежние каюты. Пищу мы теперь готовили себе в камбузе. Волк Ларсен попал в заточение как нельзя более вовремя. Последние дни в этих широтах стояло, как видно, бабье лето, и теперь оно внезапно пришло к концу, сменившись дождливой и бурной погодой. Но мы на шхуне чувствовали себя вполне уютно, а стрела с подвешенной к ней фок-мачтой придавала всему деловой вид и окрыляла нас надеждой на отплытие.

Теперь, когда нам удалось заковать Волка Ларсена в наручники, это оказалось уже ненужным. Второй припадок, подобно первому, вызвал серьезное нарушение жизненных функций. Мод обратила на это внимание, когда пошла под вечер накормить нашего пленника. Он был в сознании, и она заговорила с ним, но не добилась ответа. Он лежал на левом боку и, казалось, очень страдал от боли. Левое ухо его было прижато к подушке. Потом беспокойным движением он повернул голову вправо, и левое ухо его открылось. Только тут он услышал слова Мод, что-то ответил ей, а она бросилась ко мне рассказать о своем наблюдении.

Прижав подушку к левому уху Ларсена, я спросил его, слышит ли он меня, но ответа не получил. Убрав подушку, я повторил свой вопрос, и он тотчас ответил.

— А вы знаете, что вы оглохли на правое ухо? — спросил я.

— Да,— отвечал он тихо, но твердо.— Хуже того, у меня поражена вся правая сторона тела. Она словно уснула. Не могу пошевелить ни рукой, ни ногой.

— Опять притворяетесь? — сердито спросил я.

Он отрицательно покачал головой, и странная, кривая усмешка перекосила его рот. Усмешка была кривой потому, что двигалась только левая сторона рта,— правая оставалась совершенно неподвижной.

— Это был последний выход Волка на охоту,— сказал он.— У меня паралич, я больше не встану на ноги... О, только та нога поражена, не обе,— добавил он, словно догадавшись, что я бросил подозрительный взгляд на его левую ногу, которую он в эту минуту согнул в колене, приподняв одеяло.

— Да, не повезло мне! — продолжал он.— Я хотел

сперва разделаться с вами, Хэмп. Думал, что́ на это у меня еще хватит пороху.

— Но почему? — спросил я, охваченный ужасом и любопытством.

Его жесткий рот опять покривился в усмешке, и он сказал:

— Да просто, чтобы чувствовать, что я живу и действую, чтобы до конца быть самым большим куском закваски и сожрать вас!.. Но умереть так...

Он пожал плечами, вернее хотел это сделать, — и двинул одним только левым плечом. Как и его усмешка, это движение получилось странно однобоким.

— Но чем же вы сами объясняете то, что случилось с вами? Где гнездится болезнь?

— В мозгу, — тотчас отвечал он. — Это все от моих проклятых головных болей.

— Они были только симптомом болезни, — сказал я.

Он кивнул.

— Все это непонятно. Я ни разу в жизни не болел. Но вот какая-то дрянь завелась в мозгу. Рак или другая какая-нибудь опухоль, но она пожирает и разрушает все, поражает нервные центры и поедает их — клетку за клеткой... судя по боли, которую я терплю.

— И двигательные центры поражены тоже, — заметил я.

— По-видимому. И все проклятье в том, что я обречен лежать вот так, в полном сознании, с неповрежденным умом, и отдавать концы — один за другим, постепенно порывая всякую связь с миром. Я уже потерял зрение; слух и осязание покидают меня, и если так пойдет дальше, скоро я лишусь речи. И все равно буду пребывать здесь, на этой земле, живой, полный жажды действия, но бессильный.

— Когда вы говорите, что будете пребывать здесь, то подразумеваете, надо полагать, вашу душу, — сказал я.

— Чушь! — возмутился он. — Я подразумеваю только, что высшие нервные центры еще не поражены болезнью. У меня сохранилась память, я могу мыслить и рассуждать. Когда это исчезнет, исчезну и я. Меня не будет. Душа?!

Он насмешливо рассмеялся и лег левым ухом на

подушку, давая понять, что не желает продолжать разговор.

Мы с Мод принялись за работу, подавленные страшной судьбой, постигшей этого человека. Насколько тяжкой была его участь, нам еще предстояло вскоре убедиться. Казалось, это было грозным возмездием за его дела. Мы были настроены торжественно и серьезно и переговаривались друг с другом вполголоса.

— Можете снять наручники, — сказал нам Волк Ларсен вечером, когда мы стояли у его койки, обсуждая, как нам с ним быть. — Это совершенно безопасно — я ведь паралитик. Теперь остается только ждать пролежней.

Он опять криво усмехнулся, и глаза Мод расширились от ужаса; она невольно отвернулась.

— А вы знаете, что улыбка у вас кривая? — спросил я его, думая о том, что ей придется ухаживать за ним, и желая избавить ее от этого неприятного зрелища.

— В таком случае я перестану улыбаться, — хладнокровно заявил он. — Я и сам думал сегодня, что не все ладно. Правая щека словно окаменела. Да, уже три дня, как начали появляться эти признаки, — правая сторона временами как бы засыпала — то нога, то рука.

— Значит, улыбка у меня кривая? — спросил он, помолчав. — Ну что ж, отныне прошу считать, что я улыбаюсь внутренне, в душе, если вам угодно, в душе! Учтите, что я и сейчас улыбаюсь.

И несколько минут он лежал молча, довольный своей мрачной выдумкой.

Характер его ничуть не изменился. Это был все тот же неукротимый, страшный Волк Ларсен, заключенный, как в темнице, в своей омертвевшей плоти, которая была когда-то такой великолепной и несокрушимой. Теперь она превратилась в оковы и замкнула его душу в молчание и мрак, отгородив его от мира, который был для него ареной столь бурной деятельности. Никогда больше не придется ему спрягать на все лады глагол «делать». «Быть» — вот все, что ему осталось. А ведь именно так он и определял понятие «смерти» — «быть», то есть существовать, но вне движения; замышлять, но не исполнять; думать, рассуждать и в этом оставаться таким же живым, как вчера, но плотью — мертвым, безнадежно мертвым.

А мы с Мод, хоть я и снял с него наручники, никак не могли привыкнуть к его новому состоянию. Наше сознание отказывалось принять его. Для нас он оставался полным скрытых возможностей. Нам казалось, что в любую минуту он может вырваться из оков плоти, подняться над нею и сотворить что-то ужасное. Столько натерпелись мы от этого человека, что даже теперь ни на секунду не могли избавиться от внутреннего беспокойства.

Мне удалось разрешить задачу, вставшую передо мной, когда стрела оказалась слишком короткой. Изготовив новые хват-тали, я перетянул нижний конец фок-мачты через планшир, а затем опустил мачту на палубу, после чего при помощи стрелы поднял на борт грота-гик. Он был длиной в сорок футов, и этого оказалось достаточно, чтобы поднять и установить мачту. При помощи вспомогательных талей, которые я прикрепил к стреле, я поднял гик почти в вертикальное положение, а потом упер его пяткой в палубу и закрепил толстыми колодками. Обыкновенный блок, который был у меня на стреле, я прикрепил к ноку гика. Таким образом, взяв ходовой конец талей на брашпиль, я мог по желанию поднимать и опускать нок гика, причем пятка его оставалась неподвижной, и при помощи оттяжек придавать ему наклон вправо или влево. К ноку гика я прикрепил также и подъемные тали, а когда все приспособление было закончено, поразился сам, как много оно мне дало.

Два дня ушло у меня на то, чтобы справиться с этим делом, и только на третий день утром я смог приподнять фок-мачту над палубой и принялся обтесывать ее нижний конец, чтобы придать ему нужную форму — соответственно степсу в трюме. Плотником я оказался и вовсе никудышным. Я пилил, рубил и обтесывал неподатливое дерево, пока в конце концов оно не приобрело такой вид, словно его обгрызла какая-то гигантская крыса. Но того, что мне было нужно я все же достиг.

— Годится, уверен, что годится! — воскликнул я.

— Вы знаете, что доктор Джордан считает пробным камнем для всякой истины? — спросила Мод.

Я покачал головой и перестал извлекать залетевшие мне за ворот стружки.

— Пробным камнем является вопрос: «Можем ли мы

заставить эту истину служить нам? Можем ли мы доверить ей свою жизнь?»

— Он ваш любимец, — заметил я.

— Когда я разрушила свой старый пантеон, выбросила из него Наполеона, Цезаря и еще кое-кого и принялась создавать себе новый,— серьезно отвечала она,— то первое место занял в нем доктор Джордан.

— Герой, вполне современный!

— То, что он принадлежит современности, только делает его более великим,— сказала она.— Разве могут герои старого мира сравниться с нашими?

Я кивнул. У нас с Мод было так много общего, что между нами редко возникали споры. Мы с ней сходились в главном — в нашем мировоззрении, в отношении к жизни.

— Для двух критиков мы поразительно легко находим общий язык, — рассмеялся я.

— Для корабельного мастера и подмастерья — тоже, — пошутила она.

Мы не часто шутили и смеялись в те дни — слишком были поглощены нашим тяжелым, упорным трудом и пришиблены страшным зрелищем постепенного умирания Волка Ларсена.

У него повторился удар. Он потерял речь, вернее начал терять ее. Теперь он владел ею лишь по временам. По его собственному выражению, у него, как на фондовой бирже, «телеграфный аппарат» был то включен, то выключен. Когда «аппарат» был включен, Ларсен разговаривал, как обычно, только более медленно и как-то затрудненно. А потом речь внезапно покидала его, — порой прежде, чем он успевал закончить фразу, — и ему часами приходилось ждать, пока прерванный контакт не восстановится. Он жаловался на сильную головную боль и заранее придумал особую форму связи на случай, если совершенно лишится речи: один нажим пальцев обозначал «да», а два нажима — «нет». И сказал он нам об этом как раз вовремя, так как в тот же вечер окончательно потерял речь. С тех пор на наши вопросы он отвечал нажимом пальцев, а когда ему самому хотелось что-нибудь сказать, довольно разборчиво царапал левой рукой на листке бумаги.

Наступила жестокая зима. Шторм следовал за штормом — со снегом, с дождем, с ледяной крупой. Котики

отправились в свое дальнее путешествие на юг, и лежбище опустело. Я работал не покладая рук. В любую непогоду, невзирая на ветер, который особенно мешал работе, я оставался на палубе с рассвета и дотемна, и дело заметно шло на лад.

В свое время я допустил ошибку, когда установил стрелу, не прикрепив к ней оттяжки, и тогда мне пришлось взбираться на нее. Теперь я извлек из этого урок и заранее прикрепил снасти — штаги, гафель-гардель и дирик-фал — к верхушке фок-мачты. Но, как всегда, я потратил на эту работу больше времени, чем предполагал,— у меня ушло на нее целых два дня. А ведь еще столько дела было впереди! Паруса, например, в сущности необходимо было изготовить заново.

Пока я трудился над оснасткой фок-мачты, Мод сшивала паруса, причем в любую минуту с готовностью бросала свое занятие и спешила мне на помощь, если я не мог справиться один. Парусина была твердая и тяжелая, а Мод пользовалась настоящим матросским гардаманом и трехгранной парусной иглой. Руки у нее очень скоро покрылись волдырями, но она стойко продолжала свою работу,— а ведь ей приходилось еще стряпать и ухаживать за больным!

— Долой суеверия! — сказал я в пятницу утром.— Будем ставить мачту сегодня!

Все подготовительные работы были закончены. Взяв тали гика на брашпиль, я поднял мачту так, что она отделилась от палубы. Затем, закрепив эти тали, я взял на брашпиль тали стрелы, прикрепленные к ноку гика, и несколькими поворотами рукоятки привел мачту в вертикальное положение над палубой.

Мод — как только я освободил ее от обязанности держать сходящий с барабана конец — захлопала в ладоши и закричала:

— Годится! Годится! Мы доверим ей свою жизнь!

Но лицо ее тут же омрачилось.

— А ведь мачта не над отверстием,— сказала она.— Неужели вам придется опять начинать все сызнова?

Я снисходительно улыбнулся и, подправив одну из оттяжек гика и подтянув другую, подвел мачту к центру палубы. И все-таки она висела еще не точно над отверстием. Лицо Мод опять вытянулось, а я снова снисходительно улыбнулся и, маневрируя талями гика и

стрелы, подтянул мачту прямо к отверстию в палубе. После этого я подробно объяснил Мод, как опускать мачту, а сам спустился в трюм к степсу, установленному на дне шхуны.

Я крикнул Мод, чтобы она начинала травить. Мачта пошла вниз легко и точно — прямо к четырехугольному отверстию степса. Однако при спуске она немного повернулась вокруг своей оси, и стороны четырехугольного шпора перестали совпадать со сторонами степса. Но я тут же сообразил, что надо сделать. Крикнув Мод, чтобы она перестала травить, я поднялся на палубу и стопорным узлом прикрепил к мачте хват-тали. Потом снова спустился в трюм, сказав Мод, чтобы она по моей команде тянула хват-тали. При свете фонаря я увидел, как мачта медленно поворачивается и стороны шпора становятся параллельно сторонам степса. Мод закрепила тали и вернулась к брашпилю. Медленно опускаясь, мачта проходила последние несколько дюймов, но тут снова начала поворачиваться. Однако Мод опять выправила ее хват-талями и продолжала травить брашпилем. Квадраты совпали, мачта вошла в степс.

Я громко закричал, и Мод бросилась ко мне. При желтом свете фонаря мы жадно любовались плодами своих трудов. Потом взглянули друг на друга, и руки наши невольно сплелись. Боюсь, что на глазах у нас выступили слезы радости.

— В конце концов это было не так уж трудно,— заметил я.— Вся трудность заключалась в подготовке.

— А все чудо — в осуществлении,— подхватила Мод.— Мне даже не верится, что эта огромная мачта поднята и стоит на своем месте, что вы вытянули ее из воды, пронесли по воздуху и опустили здесь, в ее гнездо. Труд титана!

— «И многое другое изобрели они»,— весело начал я, но тут же умолк и втянул носом воздух.

Я бросил взгляд на фонарь. Нет, он не коптил. Я снова понюхал воздух.

— Что-то горит! — уверенно сказала Мод.

Мы оба бросились к трапу, но я обогнал ее и первым выскочил на палубу. Из люка кубрика валил густой дым.

— Волк еще жив! — пробормотал я и прыгнул вниз.

В тесном помещении дым стоял плотной стеной, и я мог продвигаться только ощупью. Образ прежнего Волка Ларсена все еще так действовал на мое воображение, что я бы, кажется, не удивился, если бы этот беспомощный великан вдруг схватил меня за горло и начал душить. Желание броситься обратно вверх по трапу чуть не возобладало во мне, но я тут же вспомнил о Мод. На мгновение я увидел ее перед собой — такой, какою только что видел в трюме при тусклом свете фонаря,— увидел ее карие глаза, в которых сверкали слезы радости, и понял, что не могу обратиться в бегство. Задыхаясь от дыма, я добрался до койки Волка Ларсена и нащупал его руку. Он лежал неподвижно, но слегка пошевелился, когда я прикоснулся к нему. Я ощупал его одеяло снаружи и изнутри, но ничего не обнаружил. Откуда же этот дым, который слепит меня, душит, заставляет кашлять и ловить воздух ртом? На мгновение я совсем потерял голову и, как безумный, заметался по кубрику. Налетев с размаху на стол, я пришел в себя и немного успокоился. Я сообразил, что если парализованный человек и мог устроить пожар, то только в непосредственной близости от себя.

Я вернулся к койке Волка Ларсена и столкнулся с Мод. Не знаю, сколько времени она пробыла в этом дыму.

— Ступайте наверх! — решительно приказал я.

— Но, Хэмфри...— возразила было она каким-то чужим, сиплым голосом.

— Нет уж, пожалуйста, прошу вас! — резко крикнул я.

Она послушно отошла от койки, но тут я испугался: а вдруг она не найдет выхода. Я бросился за ней — у трапа ее не было. Может быть, она уже поднялась? Я стоял в нерешительности и внезапно услышал ее слабый возглас:

— О Хэмфри, я заблудилась!

Я нашел Мод у задней переборки, по которой она беспомощно шарила руками, и вытащил ее наверх. Чистый воздух показался мне нектаром. Мод была в полуобморочном состоянии, но я оставил ее на палубе, а сам опять кинулся вниз.

Источник дыма надо было искать возле Волка Ларсена — в этом я был убежден и потому направился пря-

мо к его койке. Когда я снова стал ощупывать одеяло, что-то горячее упало сверху мне на руку и обожгло ее. Я быстро отдернул руку, и мне все стало ясно. Сквозь щель в досках верхней койки Волк Ларсен поджег лежавший на ней тюфяк,— для этого он еще достаточно владел левой рукой. Подожженная снизу и лишенная доступа воздуха, волглая солома матраца медленно тлела.

Я стал стаскивать матрац с койки, и он распался у меня в руках на куски. Солома вспыхнула ярким пламенем. Я затушил остатки соломы, тлевшие на койке, и бросился на палубу глотнуть свежего воздуха.

Притащив несколько ведер воды, я загасил тюфяк, горевший на полу кубрика. Минут через десять дым почти рассеялся, и я позволил Мод сойти вниз. Волк Ларсен лежал без сознания, но свежий воздух быстро привел его в чувство. Мы все еще хлопотали возле него, как вдруг он знаком попросил дать ему карандаш и бумагу.

«Прошу не мешать мне,— написал он.— Я улыбаюсь».

«Как видите, я все еще кусок закваски!» — приписал он немного погодя.

— Могу только радоваться, что кусок этот не слишком велик,— сказал я вслух.

«Благодарю,— написал он.— Но вы подумали о том, что, прежде чем исчезнуть совсем, он должен еще значительно уменьшиться?»

«А я еще здесь, Хэмп,— написал он в заключение.— И мысли у меня работают так ясно, как никогда. Ничто не отвлекает их. Полная сосредоточенность. Я весь здесь, даже мало сказать — здесь...»

Слова эти показались мне вестью из могильного мрака, ибо тело этого человека стало его усыпальницей. И где-то в этом страшном склепе все еще трепетал и жил его дух. И так предстояло ему жить и трепетать, пока не оборвется последняя нить, связующая его с внешним миром. А там, кто знает, как долго суждено ему было еще жить и трепетать?

Глава тридцать восьмая

«Кажется, левая сторона тоже отнимается,— написал Волк Ларсен на другое утро после своей попытки поджечь корабль.— Онемение усиливается. Едва шевелю рукою. И говорите теперь погромче. Отдаю последние концы».

— Вы чувствуете боль? — спросил я.

Мне пришлось повторить вопрос более громко, и только тогда он ответил:

«Временами».

Его левая рука медленно, с трудом царапала по бумаге, и разобрать его каракули было нелегко. Они напоминали ответы духов, которые преподносят вам на спиритических сеансах, где вы платите доллар за вход.

«Но я еще здесь, я еще весь здесь»,— все медленнее и неразборчивее выводила его рука.

Карандаш выпал у него из пальцев, и пришлось вложить его снова.

«Когда боли нет, я наслаждаюсь тишиной и покоем. Никогда еще мои мысли не были так ясны. Я могу размышлять о жизни и смерти, как иог».

— И о бессмертии? — громко спросила Мод, наклоняясь к его уху.

Три раза он безуспешно пытался нацарапать что-то, но карандаш вываливался из его руки. Напрасно пробовали мы вложить его обратно,— пальцы уже не могли удержать карандаша. Тогда Мод сама прижала его пальцы к карандашу и держала так, пока его рука медленно, столь медленно, что на каждую букву уходила минута, вывела крупными буквами: «Ч У Ш Ь».

Это было последнее слово Волка Ларсена, оставшегося неисправимым скептиком до конца дней своих. «Чушь!» Пальцы перестали двигаться. Тело чуть дрогнуло и замерло. Мод выпустила его руку, отчего пальцы его слегка разжались и карандаш выпал.

— Вы слышите меня? — крикнул я, взяв его за руку и ожидая утвердительного нажима пальцев. Но они не двигались. Рука была мертва.

— Он пошевелил губами,— сказала Мод.

Я повторил вопрос. Губы шевельнулись снова. Мод коснулась их кончиками пальцев, и я еще раз повторил вопрос.

— «Да»,— объявила Мод.

Мы вопросительно посмотрели друг на друга.

— Какая от этого польза? — пробормотал я.— Что мы можем сказать ему?

— О, спросите его...

Она остановилась в нерешительности.

— Спросите его о чем-нибудь, на что он должен ответить «нет»,— подсказал я.— Тогда мы будем знать наверняка.

— Вы хотите есть? — крикнула она.

Губы шевельнулись, и Мод объявила:

— «Да».

— Хотите мяса? — спросила она затем.

— «Нет»,— прочла она по его губам.

— А бульона?

— Да, он хочет бульона,— тихо сказала она, подняв на меня глаза.— Пока у него сохраняется слух, мы можем общаться с ним. А потом...

Она посмотрела на меня каким-то странным взглядом. Губы у нее задрожали и на глазах навернулись слезы. Она вдруг покачнулась, и я едва успел подхватить ее.

— О Хемфри! — воскликнула она.— Когда все это кончится? Я так измучена, так измучена!

Она уткнулась лицом мне в плечо, рыдания сотрясали ее тело. Она была как перышко в моих объятиях, такая тоненькая, хрупкая. «Нервы не выдержали,— подумал я.— А что я буду делать без ее помощи?»

Но я успокаивал и ободрял ее, пока она мужественным усилием воли не взяла себя в руки; крепость ее духа была под стать ее физической выносливости.

— Как мне только не совестно,— сказала она. И через минуту добавила с лукавой улыбкой, которую я так обожал: — Но я ведь всего-навсего малышка!

Услышав это слово, я вздрогнул, как от электрического тока. Ведь это было то дорогое мне, заветное слово, которым выражал я втайне мою нежность и любовь к ней.

— Почему вы назвали себя так? — взволнованно вырвалось у меня. Она взглянула на меня с удивлением.

— Как «так»? — спросила она.

— «Малышка».

— А вы не называли меня так?

— Да,— отвечал я.— Называл про себя. Это мое собственное словечко.

— Значит, вы разговаривали во сне,— улыбнулась она.

И снова я уловил в ее глазах этот теплый, трепетный огонек. О, я знаю, что мои глаза говорили в эту минуту красноречивее всяких слов. Меня неудержимо влекло к ней. Помимо воли, я склонился к ней, как дерево под ветром. Как близки были мы в эту минуту! Но она тряхнула головой, словно отгоняя какую-то мысль или грезу, и сказала:

— Я помню это слово с тех пор, как помню себя. Так мой отец называл мою маму.

— Все равно оно мое,— упрямо повторил я.

— Вы, может быть, тоже называли так свою маму?

— Нет,— отвечал я; и больше она не задавала вопросов, но я готов был поклясться, что в ее глазах, когда она смотрела на меня, вспыхивали насмешливые и задорные искорки.

После того как фок-мачта стала на свое место, работа наша быстро пошла на лад. Я сам удивился тому, как легко и просто удалось нам установить грот-мачту в степс. Мы сделали это при помощи подъемной стрелы, укрепленной на фок-мачте. Еще через несколько дней все штаги и ванты были на месте и обтянуты. Для команды из двух человек топселя представляют только лишнюю обузу и даже опасность, и поэтому я уложил стеньги на палубу и крепко принайтовил их.

Еще два дня провозились мы с парусами. Их было всего три: кливер, фок и грот. Залатанные, укороченные, неправильной формы, они казались уродливым убранством на такой стройной шхуне, как «Призрак».

— Но они будут служить! — радостно воскликнула Мод.

— Мы заставим их служить нам и доверим им свою жизнь!

Прямо скажу: из всех новых профессий, которыми я понемногу овладевал, меньше всего удалось мне блеснуть в роли парусника. Управлять парусами, казалось, было мне куда легче, нежели сшивать их,— во всяком случае я не сомневался, что сумею привести шхуну в какой-нибудь из северных портов Японии. Я уже давно

начал изучать кораблевождение с помощью учебников, которые отыскались на шхуне, а кроме того, в моем распоряжении был звездный планшет Волка Ларсена,— а ведь, по его словам, им мог пользоваться даже ребенок.

Что касается самого изобретателя планшета, то состояние его всю эту неделю оставалось почти без перемен, только глухота усилилась да еще слабее стали движения губ. Но в тот день, когда мачты «Призрака» оделись в паруса, Ларсен последний раз уловил какой-то звук извне и в последний раз пошевелил губами. Я спросил его: «Вы еще здесь?» — и губы его ответили: «Да».

Порвалась последняя нить. Его плоть стала для него могилой, ибо в этом полумертвом теле все еще обитала душа. Да, этот свирепый дух, который мы успели так хорошо узнать, продолжал гореть среди окружающего его безмолвия и мрака. Его плоть уже не принадлежала ему — он не мог ее ощущать. Его телесная оболочка уже не существовала для него, как не существовал для него и внешний мир. Он сознавал теперь лишь себя и бездонную глубину покоя и мрака.

Глава тридцать девятая

Настал день отплытия. Больше ничего не задерживало нас на Острове Усилий. Куцые мачты «Призрака» стояли на местах, неся на себе уродливые паруса. Все, что выходило из моих рук, не отличалось красотой, но держалось крепко. Я знал, что эти мачты и паруса еще послужат нам, и поглядывал на них с безотчетным сознанием своей силы.

«Я сам сделал это! Сам! Своими руками!» — хотелось крикнуть мне.

Не раз уже случалось, что Мод высказывала вслух мои мысли или я угадывал, о чем думает она; на этот раз, когда мы готовились поднять грот, она сказала:

— Подумать только, Хэмфри, что все это сделали вы, своими руками!

— Здесь, мне кажется, потрудилась еще пара рук,— отвечал я.— Две крошечные ручки. Только не говорите, пожалуйста, что это выражение вашего отца!

Она рассмеялась, покачала головой и принялась разглядывать свои руки.

— Мне ни за что не отмыть их теперь,— жалобно проговорила она.— И кожа так обветрилась и загрубела — уже, должно быть, навеки.

— В таком случае эта обветренная кожа и въевшаяся во все поры грязь всегда будет делать вам честь,— сказал я, взяв ее руки в свои. Я, верно, не удержался бы и, несмотря на все мои торжественные решения, расцеловал эти дорогие руки, если бы она поспешно не отняла их.

Наши товарищеские отношения теперь все чаще находились под угрозой. Я долго и успешно смирял свою любовь, но она начинала брать надо мной верх. Она сломила мою волю и своенравно подчинила себе мои глаза и, отчасти, мой язык и даже губы, ибо в эту самую минуту мне неудержимо хотелось расцеловать эти маленькие ручки, которые трудились вместе со мной так преданно и упорно. Я терял голову. Все мое существо рвалось к Мод, и все во мне громко кричало о моей любви. Любовь налетела, подобно урагану, и я уже не в силах был ей противиться. И Мод видела это. Она не могла не видеть этого, потому так поспешно и выдернула она свои руки из моих. И все же что-то заставило ее — прежде чем она отвела глаза — бросить на меня быстрый и пытливый взгляд...

При помощи хват-талей я взял гардель и дирик-фал на брашпиль и теперь мог одновременно поднять передний и задний углы грота. Парус полз вверх довольно неуклюже, но быстро, а вскоре и фок расправился и затрепетал на ветру.

— В такой маленькой бухточке мы ни за что не успеем поднять якорь,— сказал я.— Прежде чем нам это удастся, шхуну разобьет о скалы.

— Что же делать? — спросила Мод.

— Вытравить цепь совсем,— отвечал я.— Пока я буду травить, вам придется стать к брашпилю. А как только я покончу с якорем, так побегу к штурвалу, а вы поднимете кливер.

Десятки раз я изучал и подробно разрабатывал этот маневр снятия с якоря. Я знал, что при помощи брашпиля Мод сумеет поднять кливер — самый необходимый сейчас парус. Свежий ветер задувал в бухту, и, хотя

волнение еще не поднялось, нужно было действовать быстро, чтобы благополучно вывести шхуну в море.

Я выбил болт из скобы, и якорная цепь загрохотала в клюзе, падая в воду. Я бросился на ют и положил руль под ветер. Паруса затрепетали, наполнились ветром, шхуна накренилась и ожила. Кливер пополз вверх. Когда и он забрал ветер, нос «Призрака» стало сносить, и мне пришлось еще положить руля, чтобы удержаться на курсе.

Я придумал особый автоматический кливер-шкот, который сам переносил кливер, когда это требовалось, так что Мод не надо было заботиться об этом. Но я уже положил руля круто на ветер, прежде чем Мод закончила поднимать кливер. Момент был напряженный: шхуну несло прямо к берегу, который находился от нас на расстоянии броска камня. Но, сильно накренившись, «Призрак» повернул и послушно привелся к ветру. Я услышал столь приятное для моего слуха громкое хлопанье и трепетанье парусов и рифштертов, и шхуна забрала ветер уже на другом галсе.

Мод закончила свое дело и, поднявшись на ют, стала рядом со мной. Щеки ее разрумянились от работы, ветер развевал светло-каштановые волосы, выбившиеся из-под зюйдвестки, широко раскрытые глаза горели от волнения, а ноздри вздрагивали, жадно вбирая рвавшийся нам навстречу соленый морской ветер. Ее карие глаза были как у испуганной лани. Затаив дыхание, она встревоженно и зорко смотрела вперед. Губы ее приоткрылись. «Призрак» несся прямо на отвесную скалу у выхода из внутренней бухты, но в последнюю минуту привелся к ветру и вышел на безопасное место.

Моя работа старшим помощником во время промыслового плавания пошла мне впрок. Я благополучно обогнул мыс первой бухты и направил шхуну вдоль берега второй. Еще один поворот на другой галс, и «Призрак» взял курс в открытое море. Мощное дыхание океана овеяло шхуну, и она плавно закачалась на высокой волне. С утра погода была пасмурная и облачная, но тут солнце проглянуло сквозь тучи, как бы в предзнаменование нашего счастливого плавания, и осветило изогнутый дугою берег, где мы воевали с владыками гаремов и били «холостяков». Весь Остров Усилий ярко засиял в лучах солнца. Даже мрачный юго-западный

мыс уже не казался таким мрачным; на влажных от прибоя прибрежных скалах играли солнечные блики.

— Я всегда буду испытывать гордость, вспоминая о нем,— сказал я Мод.

Она откинула назад голову,— что-то царственное было в этом движении.

— Милый, милый Остров Усилий,— сказала она.— Я всегда буду любить его.

— И я тоже,— быстро проговорил я.

Мы читали в душе друг у друга, как в раскрытой книге. Еще миг — и взгляды наши должны были встретиться, но, сделав над собой усилие, мы отвели глаза.

Наступило неловкое молчание, и я первым прервал его:

— Поглядите, какие тучи собираются на горизонте с наветренной стороны. Помните, еще вчера вечером я говорил вам, что барометр падает.

— И солнце скрылось...— сказала она. Глаза ее были устремлены на наш остров, где мы доказали судьбе, что умеем постоять за себя, и где прекраснейшие узы дружбы и товарищества накрепко связали нас друг с другом.

— Ну что ж: потрави шкоты, и курс на Японию? — весело крикнул я.— Как это: «Попутный ветер, потравленный шкот!..»

Закрепив штурвал, я спрыгнул с юта, дал слабину на фока и грота-шкоты, выбрал тали гиков и поставил паруса так, чтобы принять добрый попутный ветер.

Ветер был свежий, даже слишком свежий, но я решил идти под всеми парусами, пока это не станет опасно. К сожалению, при попутном ветре нельзя закрепить штурвал, и поэтому мне предстояла бессменная вахта до утра. Мод требовала, чтобы я позволил ей сменить меня, но вскоре сама убедилась, что ей будет не под силу держать курс при такой высокой волне, даже если б она и сумела в столь короткий срок овладеть этой премудростью. Открытие это чрезвычайно огорчило ее, но вскоре она утешилась, свертывая в бухты тали, фалы и подбирая концы, валявшиеся на палубе. Да к тому же ей ведь нужно было еще готовить еду, стелить постели, ухаживать за Волком Ларсеном. Свой трудовой день она закончила генеральной уборкой кают-компании и кубрика.

Всю ночь я бессменно простоял у штурвала. Ветер понемногу крепчал, и волнение усиливалось. В пять утра Мод принесла мне горячего кофе и лепешку, которую испекла сама, а в семь часов плотный горячий завтрак придал мне новые силы.

Целый день ветер крепчал и крепчал. Казалось, он был преисполнен упрямой решимости дуть и дуть безостановочно и все сильнее и сильнее. «Призрак» мчался вперед, пеня волны и глотая мили, и я был уверен, что теперь мы делаем не меньше одиннадцати узлов. Мне до смерти жаль было терять такой ход, но к вечеру я изнемог. Хоть я и очень закалился и окреп, но тридцатичасовая вахта за рулем была пределом моей выносливости. Мод уговаривала меня положить шхуну в дрейф, да я и сам понимал, что, если ветер и волнение за ночь еще усилятся, мне будет уже не под силу сделать это. Поэтому, когда на море пали сумерки, я с чувством досады и вместе с тем облегчения начал приводить «Призрак» к ветру.

Однако я никак не предполагал, что взять рифы у трех парусов столь неимоверно трудное дело для одного человека. Пока шхуна шла бакштаг, я не мог ощутить всей силы ветра и, только начав приводиться, почувствовал с испугом, если не сказать с отчаянием, всю его свирепую мощь. Ветер парализовал каждое мое усилие, рвал парус у меня из рук и мгновенно сводил на нет все, чего мне удавалось достигнуть ценою упорной, ожесточенной борьбы с ним. К восьми часам я успел взять лишь второй риф у фока. К одиннадцати часам дело не подвинулось ни на иоту. Я только в кровь ободрал себе все пальцы и обломал ногти до самого мяса. От боли и изнеможения я тихонько плакал в темноте, прячась от Мод.

Совсем придя в отчаяние, я отказался от попыток взять рифы у грота и решил попробовать лечь в дрейф под одним зарифленным фоком. Три часа ушло у меня на то, чтобы закрепить спущенный грот и кливер, а в два часа ночи, еле живой, едва не теряя сознания от усталости, я понял, что попытка удалась, и с трудом поверил своим глазам. Зарифленный фок делал свое дело, и шхуна держалась круто к ветру, не проявляя стремления повернуть бортом к волне.

Я был страшно голоден, но Мод тщетно старалась заставить меня что-нибудь съесть: я засыпал с куском во рту, а не то так даже не успев донести его до рта. Потом вдруг вздрагивал и просыпался в смятении и видел, что рука моя с вилкой еще висит в воздухе. Я был так беспомощен и слаб, что Мод приходилось поддерживать меня, чтобы я не свалился со стула при первом же крене судна.

Не помню, как добрался я из камбуза до своей каюты. Верно, я был похож на лунатика, когда Мод вела меня туда. Очнулся я уже на своей койке и заметил, что башмаки с меня сняты. Сколько прошло времени, я не знал. В каюте было темно. Все тело у меня ломило, и я с трудом мог пошевелиться, а прикосновение одеяла к моим израненным пальцам причиняло нестерпимую боль.

Я решил, что утро еще не настало, и, закрыв глаза, мгновенно снова погрузился в сон. Я не знал, что проспал почти сутки и что уже опять наступил вечер.

Я проснулся вторично, оттого что сон мой стал неспокоен. Чиркнув спичкой, я посмотрел на часы. Они показывали полночь. А я ушел с палубы в три часа ночи. В первую минуту это меня озадачило, но я тут же сообразил, в чем дело. Немудрено, что сон мой стал беспокоен, ведь я проспал двадцать один час! Я еще полежал, прислушиваясь, как завывает ветер и волны бьют о борт, а потом повернулся на бок и мирно проспал до утра.

Я встал в семь часов и, не обнаружив Мод в кают-компании, решил, что она в камбузе готовит завтрак. Выйдя на палубу, я убедился, что «Призрак» отлично держится под своим маленьким парусом. В камбузе топилась плита и кипел чайник, но Мод не было и там.

Я нашел ее в кубрике у койки Волка Ларсена. Я вгляделся в него и подумал: вот человек, который в полном расцвете сил потерпел крушение и оказался погребенным заживо. Что-то новое почудилось мне в смягчившихся чертах его застывшего лица. Мод посмотрела на меня, и я понял.

— Его жизнь угасла во время шторма,— сказал я.

— Но она не окончена для него,— отвечала Мод с глубоким убеждением.

— Сила его была чрезмерна.

—Да,— сказала Мод.— Но теперь она уже не обременяет его. Дух его свободен.

— Да, теперь дух его свободен,— повторил я и, взяв ее за руку, увел на палубу.

За ночь шторм заметно утих. Но он затихал так же постепенно, как и нарастал, и утром, когда я поднял на палубу приготовленное к погребению тело Волка Ларсена, был еще довольно сильный ветер и большие волны. Вода поминутно заливала палубу и стекала в шпигаты. Внезапный порыв ветра накренил шхуну, и она зарылась в воду по планшир подветренного борта. Ветер истошно выл в снастях. Мы с Мод стояли по колено в воде. Я обнажил голову.

— Я помню только часть похоронной службы,— сказал я.— Она гласит: «И тело да будет предано морю».

Мод взглянула на меня удивленно и негодующе. Но передо мною воскресла сцена, свидетелем которой я был когда-то, и это воспоминание властно побуждало меня отдать последний долг Волку Ларсену именно так, как он отдал его в тот памятный день своему помощнику. Я приподнял крышку люка, и завернутое в брезент тело соскользнуло ногами вперед в море. Привязанный к нему груз потянул его вниз. Оно исчезло.

— Прощай, Люцифер, гордый дух! — прошептала Мод так тихо, что ее слова затонули в реве ветра, и я разгадал их лишь по движению ее губ.

Держась за планшир, мы пробирались на ют, и я случайно бросил взгляд на подветренную сторону. В эту минуту «Призрак» взмыл на высокую волну, и я совершенно отчетливо увидел милях в двух-трех от нас небольшой пароход. Ныряя и снова взлетая на гребни волн, он шел прямо на нас. Он был окрашен в черный цвет, и мне сразу припомнились рассказы охотников об их браконьерских похождениях. Я понял, что это таможенное судно Соединенных Штатов. Я показал на него Мод и поспешил проводить ее на ют, где меньше заливало водой. Оставив Мод там, я кинулся было вниз к сигнальному шкафу, но тут же вспомнил, что при оснащении «Призрака» не позаботился о сигнальном фале.

— Нам незачем поднимать сигнал бедствия,— сказала Мод.— Они все поймут, увидев нас!

— Мы спасены,— спокойно и торжественно сказал

я. Я ликовал, радость меня душила... И вдруг я прибавил: — Мы спасены — и вот я не знаю, радоваться мне или нет?

Я посмотрел на Мод. Теперь мы больше не боялись встретиться взглядами. Нас властно толкнуло друг к другу, и уже не помню как, но Мод очутилась в моих объятиях.

— Нужно ли говорить? — спросил я.

Она ответила:

— Не нужно... Но услышать это было бы так приятно...

Губы ее слились с моими. Не знаю почему, но перед моими глазами вдруг встала кают-компания «Призрака», и мне вспомнилось, как Мод однажды прикоснулась кончиками пальцев к моим губам, шепча: «Успокойтесь, успокойтесь!»

— Жена моя, моя единственная! — сказал я, нежно гладя ее плечо, как делают это все влюбленные, хотя никто их этому не учил.— Моя малышка!

— Муж мой! — сказала она, на мгновение подняв на меня глаза и тут же опустив затрепетавшие ресницы, и с тихим счастливым вздохом прильнула к моей груди.

Я посмотрел на таможенный пароход. Он был совсем близко. С него уже спускали шлюпку.

— Еще поцелуй, любовь моя! — прошептал я.— Еще один поцелуй, прежде чем они подойдут...

— И спасут нас от нас самих,— докончила она с пленительной улыбкой, исполненной нового, еще не знакомого мне лукавства — лукавства любви.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДЖЕК ЛОНДОН

МОРСКОЙ ВОЛК

Редактор *А. Столова*
Обл. художника *О. Дажина*
Художественный редактор *А. Святченко*
Технический редактор *Т. Курмаева*
Корректоры *С. Шварц, И. Лагунова*

Сдано в набор 24/XII 1968 г. Подписано к печати 31/III 1969 г. Формат бумаги $84 \times 108^1/_{32}$. Печатных листов 15,12. Уч.-изд. листов 15,26. Тираж 400 000 (III завод—100 001—400 000). Цена 59 коп. Заказ № 102.
Бумага типографская № 3.

Издательство «Лумина» Кишинев, ул. Горького, 24.

Киевская книжная фабрика Комитета по печати при Совете Министров УССР, ул. Воровского, 24.

50 коп.

ЛУМИНА · 1969